НОВЫЙ МИР

во времена Хрущева



ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА



ДНЕВНИКИ
МЕМУАРЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ «ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ОСНОВАНА В 1987 ГОДУ

Владимир ЛАКШИН

НОВЫЙ МИР

Дневник и попутное
(1953-1964)

Москва
Издательство «Книжная палата»
1991

ББК 84.Р7
Л248

Художник
Б. Ушацкий
На обложке использовано фото
А. Устинова

Л $\frac{4702010201-013}{008(01)-91}$ Без объявл.

ISBN 5-7000-0201-9

ПИСЬМА САМОМУ СЕБЕ

Предисловие

Когда в середине 50-х годов в моих студенческих зеленых блокнотах появились первые подневные записи, я не чувствовал за своей спиной близкой традиции.

После писем, потерявших обстоятельность и откровенность из-за привычных опасений перлюстрации, дневник был самым непопулярным жанром домашней литературы. В 30—40-е годы, как известно, сколько-нибудь понимавшие жизнь люди дневников не вели — на другой день после ареста они оказались бы на столе у следователя. Рассказы о тетрадях, предавших своих хозяев, не однажды были выслушаны мною.

Елена Сергеевна Булгакова вспоминала, как дорожил Булгаков своим московским дневником начала 20-х годов. Он был конфискован у него при обыске в 1926 году. Булгаков долго добивался, чтобы ему вернули рукописи, искал заступничества у Горького, угрожал громким общественным скандалом, а когда наконец получил из рук следователя с Лубянки свои заветные тетради, сжег их в печи. Больше он никогда не вел дневников, хотя понуждал делать это Елену Сергеевну, иногда диктовал их ей, стоя у окна. Говорил, что важны все подробности: кто был в гостях, как одеты, что ели...

Незадолго перед войной добрый знакомый Булгакова Николай Семенович Ангарский (Клестов), издатель альманаха «Недра», почувствовав груз лет или занемогши, запечатал свои многолетние дневники в большой конверт и отнес их в Ленинскую библиотеку со строгой надписью: «Вскрыть через 50 лет после моей смерти». «И что же вы думаете? — рассказывала Елена Сергеевна.— Не прошло и 50 минут после его ухода, печати были сорваны, пакет вскрыт, а еще через несколько дней за ним пришли...»

Самое прискорбное, что обычно, по решении судьбы арестанта, дневников его никто не собирался хранить даже в следственном деле, и они уходили в небо с черной сажей из трубы Лубянки, как рассказал в «ГУЛАГе» о судьбе своих фронтовых записей Солженицын.

Но мы принадлежали все же к другому поколению. Страх задел нас, но еще не въелся в печень. И в преддверии XX съезда, а особенно после февраля 1956 года, когда стал известен секретный доклад Хрущева о культе Сталина, возникло ощущение, что мы становимся свидетелями небывалых событий. Привычно поскрипывавшее в медлительном качании колесо истории вдруг сделало первый видимый нам оборот и закрутилось, сверкая спицами, обещая и нас, молодых, втянуть в свой обод, суля движение, перемены — жизнь.

Тогда-то и начал я, еще с большими перерывами и непостоянством, делать записи, не адресуя их никому и не преследуя никакой видимой цели.

Вести дневник с бо́льшей регулярностью я стал на исходе 50-х годов. Подхлестнуло меня то обстоятельство, что, волею случая, я рано оказался среди людей литературы, начал встречаться с А. Т. Твардовским, регулярно сотрудничать в «Новом мире». В этот журнал я пришел двадцатилетним студентом-филологом, а с лета 1962 года был одним из его редакторов.

Наверное, некая тяга отмечать события дня объяснялась и профессиональной выучкой историка литературы. Со студенческих лет я восхищался дневниками Толстого как школой искренности и нравственной штудировки. Но я не готовил себя к великому поприщу, запросы мои были куда скромнее. Просто по своим филологическим занятиям я помнил, как дорог иногда случайно отмеченный современником факт, беглый штрих или дата и сколь многое кануло в Лету неописанным, незапечатленным. Передо мною были воодушевляющие примеры литературной добродетели — трехтомный «Дневник» петербургского профессора и цензора А. В. Никитенко, головоломный домашний «журнал» историка М. П. Погодина, чьи каракули с записями о Пушкине, Гоголе, Островском я разбирал в рукописном отделе «Ленинки». А дневник пианиста Гольденвейзера с записями бесед с Толстым? А наш яснополянский Эккерман — врач Д. П. Маковицкий, незаметно для Льва Николаевича делавший заметки (груда плотных листков и карандаш всегда лежали в правом кармане его пиджака) и потом ежевечерне заполнявший тетради их подробной расшифровкой?

Разумеется, я и в мыслях не имел соперничать в основательности, тщательности с этими выдающимися регистраторами своей литературной современности. Писал для одного себя, не собираясь делиться ни с кем и, во всяком случае, не предполагая, что эти записи могут увидеть свет еще при моей жизни. Было, пожалуй, лишь смутное желание оставить достоверные свидетельства людям, которые в будущем имели бы охоту и досуг копаться в наших литературных буднях.

На свой дневник я не смотрел как на притязание писательства или литературный жанр, но пользу его для пишущего довольно скоро ощутил. Дело в том, что, когда была исписана одна и другая тетрадь, я однажды перечитал их и сделал обескураживающее открытие: глупая иллюзия думать, что все, происходившее на твоих глазах, навсегда остается капиталом твоей памяти,— стоит, мол, лишь окликнуть былое, и оно явится в живой конкретности лиц, реплик и обстановки. На деле то, что не фиксировалось на бумаге, начинало стираться в сознании или невольно трансформироваться уже два-три года спустя под влиянием книг, разговоров. Дневник напоминал мне порой то, что я начисто забыл, и поправлял то, что я помнил неточно. Мало-помалу я втянулся в эту не лишенную притягательности игру с недавним собственным прошлым.

И все же — обидно в этом признаться — к дневнику я часто понуждал себя: писал далеко не каждый день, с большими перерывами; не успевал записывать по свежему следу и забывал отметить потом, иногда просто ленился открыть тетрадь.

Есть и другая причина хронологических провалов в этих записях. Конечно, мы дышали свободнее, чем люди старшего поколения. Но, сказать по совести, 60—70-е годы отнюдь не были временем безмятежной

уверенности, что тебя завтра не поволокут на цугундер. Там, где речь заходила о политической современности, мои записи неполны, беглы, и не из-за недостатка интереса к этим темам. Думали и говорили мы между собою откровеннее. Сохранявшаяся инерция страха — причина иных пробелов и недоговоренностей.

Беспокойство не было беспочвенным: прошли обыски с изъятием архива у нескольких моих друзей, объявленных «диссидентами», да и моя квартира не осталась нетронутой: однажды, едва я отправился в дальнюю поездку, в нее забрались странные «воры», которые почти ничего не взяли, но шарили за картинами, на книжных полках и вскрыли ящики письменного стола.

Вот почему случались недели и месяцы, когда я уносил бумаги из дома, прятал их за городом, в надежных местах, боясь, что они могут исчезнуть. Записывал конспект событий в маленьких блокнотах и на отдельных листках, рассчитывая переписать позднее, и частенько забывал об этом за наворотом событий.

Так возникла эта пунктирная хроника, главным образом хроника журнальной жизни, как она виделась одному из ее участников. Разумеется, это не история журнала за некий период, а лишь канва такой истории.

В нашем отечестве журнал, в особенности журнал «толстый», литературно-художественный, всегда стоял на перекрестье литературы и политики. Но в пору издания «Нового мира» Твардовского этот ежемесячник стал особенно мощным магнитом для людей, жаждавших правды, стремившихся широко и свободно мыслить, проклинавших сталинский террор и мечтавших о новых путях для страны. Их было не так уж мало, таких людей, преданных читателей «Нового мира», среди разных слоев населения, в столицах и глухой провинции. Но на другом полюсе общественных пристрастий находились в избытке и такие, кого «Новый мир» огорчал, задевал, заставлял негодовать — от рядовых отставников-сталинистов, обывателей, неспособных расстаться со сказкой о мудром и справедливом вожде, который вел их в рай, до людей, занимавших кабинеты на высоких этажах власти.

Острая закулисная борьба, шедшая вокруг журнала в 1958—1970 годах, лишь отчасти, лицемерно и смазанно отражалась в статьях газет, резолюциях Союза писателей, открытой полемике. Часто не были видны (и даже намеренно затушевывались) истинные причины, корни, питавшие всем видимые верхушки событий. В пору, когда деятельность Главлита была окутана темной тайной, а вся система руководства искусством основывалась на устных «указаниях» и безраздельной власти телефонного права, имело резон запечатлевать разговоры и «веяния», идущие сверху: официальные тексты и даже конфиденциальные бумаги могли промолчать о главном. В треугольнике между Пушкинской площадью, где помещалась редакция, Китайским проездом — резиденцией Главлита, и Старой площадью, где находился идеологический аппарат ЦК, то и дело возникало поле высокого напряжения.

Едва после полудня приезжал в редакцию Твардовский, как мы, его «соредакторы», по его же старомодно-уважительному определению, скликались в его кабинет — и начиналось вольное обсуждение новостей, статей газет, отголосков совещаний и пленумов, писательских

собраний, аппаратных перемещений — ведь все это непосредственно сказывалось на температуре общественного организма, а стало быть, и на наших делах — активности авторов, новом пригнетении или временном ослаблении цензурного пресса. К этим темам, так сказать общедоступным, присоединялся обмен неофициальной информацией, сведениями и даже слухами, в которых никогда не было недостатка. Обычный фон дня в редакции «крамольного» журнала составляли и посетители из разных, иногда отдаленных мест, и почта, объем которой все рос. Это помогало Твардовскому и нам лучше чувствовать живое дыхание огромной страны, страдавшей от унижений и бедности, но начавшей пробуждаться, мыслившей и неравнодушной.

Сердцевиной рабочего дня в «Новом мире» были, конечно, встречи с писателями, обсуждение новых рукописей, тем для статей, литературные разговоры. Увидеться и поговорить с Твардовским наши авторы, разумеется, считали для себя особой честью и удовольствием. Но и во всех других комнатах редакции никогда не было пусто. Писатели заходили сюда и просто так, как в клуб, «на огонек», обменяться новостями, «освежить ум в беседе». Все это оставляло след в дневнике.

Думаю, не случайно заметное место в моих старых записях занимают оценки имен и сочинений, еще не печатавшихся у нас тогда, ходивших в рукописях и книгах, передававшихся из-под полы. Мы впервые читали Кафку и Камю, имена которых почти рифмовались в яростной полемике тех лет с «модернизмом», узнавали В. Набокова и Дж. Оруэлла, впервые нам тогда открывшихся. В отношении культурного наследства мы были, надо признать, далеко не так богаты, как молодые люди следующих поколений. Ахматова и Пастернак жили рядом, но мы (говорю, во всяком случае, о себе) не сознавали вполне их значения. Образование людей моей генерации остановилось на русской классике — это была гранитная опора, скальный нравственный и художественный грунт, но дальше зиял разрыв традиции, слабо восполняемый современной литературой. Однако неизбежность возрождения искусственно вытравленных из памяти понятий и имен осознавалась именно тогда. «Новый мир» два года вел борьбу за публикацию «Театрального романа» Булгакова, печатал автобиографию Бориса Пастернака «Люди и положения», фрагменты книги Ивана Шмелева «Лето господне», статьи Твардовского о Бунине и Е. Дороша о Сергии Радонежском, стихотворные циклы Цветаевой и Ахматовой. Начиналось размораживание общественно-литературного сознания, просыпалась утраченная культурная память...

Хрущевский период нашей общественной истории ознаменован прерванным на полпути порывом к демократии, к отказу от преступлений и догм сталинщины. «Новый мир» Твардовского был одним из стойких форпостов интеллигенции, поддержавшей Хрущева в его пусть не всегда последовательных попытках реформации государственного социализма в сторону демократии и личной свободы. Беда заключалась в том, что значение гласности, как рычага, реформирующего общество, Хрущев так и не понял: для него были привычнее аппаратные методы управления и принцип личного авторитета. Со всем богатым запасом природного здравого смысла, несомненным талантом натуры и искренним желанием добра он все же оставался чем-то вроде Санчо Пансы — губернатора

острова. Мужественно сказав на XX съезде о кровавых преступлениях Сталина, он, поддаваясь политической конъюнктуре, спустя месяц-другой мог грозно заявлять, что «нашего Сталина» мы не отдадим никому; осознав рабское положение колхозников, работавших за «палочки» в трудовой книжке, вернув к жизни принцип материальной заинтересованности, он стал силком повсеместно внедрять кукурузу; вернул крестьянам паспорта, но разорил налогами приусадебные хозяйства и т. п.

В этих обстоятельствах журнал не просто плыл по благоприятствовавшему ему политическому течению. Он шел и против течения, когда Хрущев и его окружение лавировали, отступали, делая ощутимые уступки сталинистам-консерваторам или сползая к методам вульгарной демократии, с палкой, всегда готовой опуститься на ученых и интеллектуалов. Вот почему журнал Твардовского, едва сознав себя как общественно-литературную силу, то и дело оказывался в осаде, в изоляции, под угрозой разгона и административных репрессий. Для него были придуманы или к нему применены опасные термины-клейма: «дегероизация», «абстрактный гуманизм», «очернительство», «ревизионизм».

Я назвал книгу: «„Новый мир" во времена Хрущева». Но ее вполне можно было озаглавить иначе: «„Новый мир" при Твардовском». Твардовский по праву — ключевая в литературной жизни фигура времени и главный герой моих записей.

Когда я познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским, мне было 23 года. Это был первый крупный писатель, которого я увидел вблизи. И понятно, что смотрел я на него с юношеским восторгом, который прорывался даже сквозь привычный для молодости скепсис. Примечательнее другое: чувство огромного уважения и восхищения сохранилось и позднее, когда я узнал Твардовского довольно коротко, едва ли не ежедневно встречаясь с ним — по делу и без дела, по службе и просто так.

Не стану утверждать, что я вовсе был лишен критического взгляда на Твардовского (читатель это заметит), но все же в главном это было неколебимое уважение и искренняя преданность. В конкретных симпатиях и оценках мы, случалось, расходились, но во всем существенном его взгляды на жизнь и искусство я воспринял как близко родственные себе и дорожил его школой, в которой учился без принуждения.

Твардовского всегда отличала поразительная верность природе вещей, точный вкус и ошеломляющее чутье правды. Но в противоборствах времени характер Твардовского-редактора еще креп и мужал. Окончательно уходила былая робость перед авторитетами и хоругвями, в какие он смолоду верил, и складывался во многом новый род его убеждений. При большой самобытной силе его натуры все это, несомненно, отпечатывалось на журнале, воздействовало на авторов и сотрудников. Но нельзя исключать и обратного влияния. Журнал, как организм, как живое существо, вбиравшее в себя токи времени, сильно и освежающе действовал на Твардовского. Читатель увидит, как он менялся, становился внутренне свободнее год от году.

Дневник тех лет связан и с еще одним именем — Александра Солженицына. Первую половину 60-х годов можно было бы назвать «солженицынским» периодом в жизни журнала, в равной мере как эту же полосу

в развитии писателя Солженицына — «новомировским» периодом его деятельности. И дело не только в том, что немногочисленные публикации Солженицына в журнале (ровным счетом четыре) привлекли горячее читательское внимание. Солженицын пришел на готовую мечту Твардовского, что кто-то должен рассказать сполна о трагедии сталинских лагерей. Его повесть «Один день Ивана Денисовича» как бы подтверждала, что для талантливой литературы нет «запретных зон». Но автор «Ивана Денисовича» не просто открыл в литературе тему репрессий, а задал новый уровень художественной правды, напомнил и о моральной ответственности писателя. Новомировские прозаики — К. Воробьев, Семин, Залыгин, Быков, Абрамов, Айтматов, Можаев — каждый по-своему и непохоже пережили его влияние. Заражаясь примером Солженицына и в чем-то отталкиваясь от него, они пошли в пробитый им в снежном насте след.

Последним толчком к тому, чтобы привести в порядок и опубликовать эти записи, послужили не всегда корректные литературные дебаты 1987—1990 годов, касавшиеся, в частности, и судьбы «старого» «Нового мира». О Твардовском и журнале, об отношениях редактора с его сотрудниками и друзьями стали толковать вкривь и вкось, все более бесцеремонно и не стесняясь любой произвольной выдумки,— с уверенностью, что он уже не возразит, а с другими свидетелями и участниками событий — стоит ли считаться?

«Сейчас нас бьют,— не раз говорил Твардовский.— Но вот увидите, пройдет время, и сколько у нас „друзей“ объявится!» И как в воду смотрел. Многолетних гонителей и душителей «Нового мира» из числа влиятельных, но посредственных писателей, так же, как вершителей литературных судеб из административного аппарата,— словно ветром сдуло, пропали, будто не было.

Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой...

(Пушкин. «Бесы»)

Поле чисто — кругом одни благожелатели. Послушать этих поздних доброхотов — все желали «Новому миру», а в особенности Твардовскому, только блага, и если за спиной поэта витали какие-то злые духи, приведшие его к довременной гибели, то их надо искать в стенах его же редакции — изворот полемики, который Пушкин определял словами: «Сам съешь».

Увы, чем дальше уходит время, тем больше приблизительности, вольной и невольной фальши в трактовке литературной ситуации тех лет. Нередко она подгоняется под консервативную или либеральную легенду — гримируются лица, в черно-белой светотени предстают события. А хотелось бы напомнить «сырые», непричесанные факты. В упрямых поисках правды, добросовестных заблуждениях и вынужденных компромиссах, гордой неуступчивости и борьбе — живая жизнь журнала.

Конечно, горизонты свободного слова в «старом» «Новом мире» куда

уже возможностей, ныне используемых гласностью. И некоторые былые яростные споры сейчас кажутся наивными, да стоило ли об этом спорить? На поле отгоревшего боя, как ржавые доспехи,— трюизмы и аксиомы. Но духовная содержательность литературы тех лет, прорывавшейся сквозь колючую проволоку цензуры, померяется силой с нынешней. И в слове, говорившемся вполголоса, часто было больше веса и глубины, чем в крике соперничающих в громкости ораторов.

Хотелось дать фактический материал для раздумий, не лишних и современности, о пригнетающей мертвой силе идеологического аппарата, претендовавшего на руководство мыслью и искусством. И о мужестве противостояния, ранних поисках путей к демократии и гласности.

Не пустые слова, что перестройка, начатая спустя 15 лет после разгрома «Нового мира», выношена и выстрадана обществом и литературой.

Надо ли оговариваться, что в этот журнальный хронограф попало и немало личного. Уже сам отбор впечатлений для записи был субъективен. Что-то представлялось мне более, что-то менее важным, а на деле случалось наоборот: записаны порой незначащие пустяки, и остается запоздало сожалеть, что вовремя не оценил или поленился записать что-то действительно важное. А бывает и иначе: сама жизнь неожиданно подхватывает и развивает сюжеты, вскользь и без видимого значения помеченные в дневнике.

Сегодня я лучше вижу наивность и неглубину некоторых давних своих оценок людей и идей. О многом, наверное, сказал бы сейчас по-другому. Да не всякое же лыко в строку!

Надо ли удивляться, что счастливый своим участием в славном журнальном деле молодой автор порой слишком сосредоточен на себе и успехам или помехам своему литературному «я» придает, случается, чрезмерное значение. Иной раз так и подмывает схватить перо и что-то импульсивно подправить в своих суждениях, в речах и поступках своих товарищей по журналу, иногда и Александра Трифоновича... Но я удерживаю себя: пусть мы предстанем не умнее, не прозорливее, но и не глупее, чем были.

Трудность этой публикации и в том, что все, рассказанное в ней, еще близко к нашему времени, стало быть, еще горячо, еще жжется и болит. Живы многие участники описываемых событий, их близкие. Я не хотел бы никого обидеть, но не стану и затушевывать истину или то, что казалось мне истиной в ту пору, когда я это писал.

Надеюсь, меня не упрекнут в том, что я преувеличиваю значение журнала и всего, что с ним связано в нашей литературной истории. Для сомневающихся же — вот любопытный человеческий документ. Как отклик на недавнюю полемику в печати о «Новом мире» я получил письмо от читателя из города Сургута. Позволю себе привести выдержку из него:

«В 1972 году, отслужив армию, я приехал в Тюменскую область в г. Сургут, где живу и по сей день. Город был молодой, а для меня еще и незнакомый, друзей почти не было, и досуг был одной из немалых проблем. Читать я любил и умел. До этого, где бы я ни жил, везде в первую очередь заводил тесные связи с библиотекой. Так же получилось и в Сургуте, где я протоптал дорожку в блистательную библиотеку, которая называлась районной. Посетителей там было мало, а книг много, правда,

на меня угодить было трудно. Долго рассказывать, как это произошло, но к этому времени я уже угодил в „струю“ и с лихорадочной жадностью новичка восстанавливал для себя историю русской литературы 20—30-х и 50—60-х годов. Абсолютно один, без подсказки или помощи (да и кто бы мог мне помочь?) я искал и выписывал имена, названия, сравнивал даты, делал выводы. Большим подспорьем и ориентиром стала для меня третья книга Эренбурга „Люди, годы, жизнь“ — две предыдущие я до сих пор так и не прочел, негде взять. В 1972 году мне был 21 год и кое-что из 50—60-х я помнил сам, что-то можно было узнать из критической погромной прессы, особенно из „Литературной газеты“. Таким образом, я вплотную и самостоятельно подошел к журналу „Новый мир“.

Но о чем могло мне сказать в то время, в том неискушенном возрасте изменение фамилии главного редактора? Да абсолютно ни о чем. И вот я листаю номер за номером, штудирую их (это в 1972 году!), ищу и не нахожу того, что искал. Искал я Литературу, Поэзию, Критику (я уже и критические статьи читал без запинки), а находил только макулатуру. Я поднял подшивку за последний год, за предыдущий год, и там ничто не привлекло меня.

Но тот, кто ищет,— найдет! Нашел и я: однажды, придя в библиотеку, я застал читальный зал закрытым. Библиотекари таскали связки с хламом, рваными книгами и старыми подшивками газет — все эти плоды очередной инвентаризации предстояло сжечь тут же, во дворе. А надо сказать, что ни один журнал, ни одна подшивка более двух лет в библиотеке не хранились. Поэтому мои изыскания и ограничились 1971 годом. Ну и представьте себе, что среди старья обнаружились разрозненные тома журнала „Новый мир“ за 1962—1969 годы. Их было около десятка, старые, с твердым переплетом. Конечно, я тут же заграбастал их все и уволок, как медведь в берлогу, в общежитие, где жил. И началась волшебная работа. Они многое дали мне, гораздо больше, чем может дать самая дефицитная подписка на самого модного Пикуля или Семенова. За эти годы сохранились не все, но как бесценные реликвии тех времен берегу я сохранившиеся номера с повестью И. Грековой „На испытаниях“ и романом Г. Владимова „Три минуты молчания“, помню Ваши статьи о Солженицыне и Булгакове. Вот эти журналы и определили строй моего мышления, мои вкусы и запросы на оставшуюся жизнь. Как благодарен я всем вам, людям, создавшим этот журнал. Как сильны и жизнестойки оказались эти семена, эти ростки, не погибшие от холодов и сумерек безвременных лет.

Думаю, Вам нетрудно представить мое состояние сейчас, состояние человека дождавшегося, дожившего. Я, может быть, не сделал ничего, чтобы приблизить эти дни, но я сохранил в себе себя. Благодаря Твардовскому, журналу, Вам, я не лез в начальники по чужим головам и не хапал дармовых денег, не спился от безвыходности. Это не подвиг, но это было трудно...

В очередной раз называя всех своими именами, Вы будите память, заражаете тревогой за судьбу литературы, судьбу родины.

Соколов Евгений Павлович,
1951 года рождения, мастер
производственного обучения».

Помимо подстрочных примечаний, имеющих чисто справочный характер, я решился ввести в текст публикации небольшие авторские комментарии, которые назвал «Попутное». Они написаны позднее, при подготовке дневника к печати, и оказались нужны вот по какой причине: хотелось бросить дополнительный свет на некоторые давние события и забытые судьбы, как они видятся сейчас, осветить, хотя бы кратко, сказанное вскользь и не вполне понятное без объяснений.

Подневные записи сопровождены кое-где сделанными мною выписками из писем и других неофициальных документов, а также версток «Нового мира», не прошедших цензуру, и полемических статей о журнале в печати 1962—1964 годов. Число подобных материалов могло быть многократно увеличено, но я пользовался лишь тем, что сохранилось в оригиналах, типографских оттисках и вырезках в моем домашнем архиве и представлялось мне достаточно характерным.

Май 1990 г.

«НОВЫЙ МИР»
во времена Хрущева

Дневник и попутное
(1953—1964)

1954

В 1953 году я еще не вел регулярного дневника, а между тем именно в том году, в ноябре или декабре, не помню, я впервые переступил порог «Нового мира».

Рекомендовал меня в журнал мой университетский профессор Н. К. Гудзий. Ободренный успехом предыдущей своей рекомендации (с его легкой руки Марк Щеглов опубликовал в журнале первую статью, ее хвалили, и Твардовский прислал Гудзию почтительное благодарственное письмо), профессор снял как-то телефонную трубку, набрал номер редакции и наговорил кому-то кучу лестных обо мне слов.

Этот «кто-то» был Игорь Александрович Сац *, заведовавший в ту зиму отделом критики «Нового мира». С ним я познакомился в узенькой клетушке, на какие была разгорожена зала старинного особняка, воспетого Гершензоном в «Грибоедовской Москве». Окна этой редакционной комнатки выходили на угол улицы Чехова и Пушкинской площади. Привел меня туда Марк Щеглов и отрекомендовал дополнительно как «мирового спеца» по части теории и истории драмы, что было, разумеется, откровенным дружеским преувеличением.

Сац поразил меня неслыханной учтивостью и доброжелательством — на «Вы», по имени-отчеству и с такой веселой и изысканной почтительностью, будто я невесть откуда явился. Потом я узнал, что таков был его обычный способ общения с начинающими. Тут же порешили, что я, как «большой знаток» теории драмы, возьмусь за разбор только что вышедшей книги статей драматурга Б. Ромашова.

В зиму 1953—1954 годов я не раз еще заходил в редакцию — приносил рецензию, поправлял, доделывал, получил новый заказ на разбор альманаха молодых, где, кажется, дебютировал Евтушенко.

Обыкновенно, дожидаясь Саца, я проводил много времени на диване в большой приемной, сбоку от столика величественной, громкоголосой секретарши Зинаиды Николаевны. Он не сидел на месте, вечно опаздывал к назначенному времени, но извинялся всегда так охотно, простодушно и учтиво, что сердиться на него было нельзя. В комнате с Сацем находилась еще хорошенькая черноволосая молодая женщина с ярко накрашенными губами — Галина Павловна Койранская, добрейший человек и на редкость аккуратный

---

* Сац Игорь Александрович (1903—1980) — многолетний сотрудник «Нового мира», друг А. Т. Твардовского.

работник. «Она украшает кабинет и радует глаз автора, как некое прекрасное экзотическое растение — пока я, как колючий кактус, деру и царапаю его рукопись в другом углу»,— смеялся Сац.

Позже я узнал, что Сац был приглашен в ту зиму в редакцию временно. Уезжая надолго по дальневосточной магистрали (складывалась поэма «За далью — даль»), Твардовский попросил его, поскольку заведующий отсутствовал, «присмотреть» за отделом критики. В полгода с небольшим, что он царствовал, Сац успел напечатать в журнале по меньшей мере четыре сенсационные статьи: «Об искренности в литературе» В. Померанцева (1953, № 12), «Люди колхозной деревни» Ф. Абрамова, «Дневник Мариэтты Шагинян» Мих. Лифшица и, наконец, «„Русский лес“ Л. Леонова» М. Щеглова. Журнал начинали читать с отдела критики, статьи воспламеняли умы необычной в литературе откровенностью. Федор Абрамов впервые свергал кумира Бабаевского — автора «Кавалера Золотой Звезды», Мих. Лифшиц язвительно и весело разбирал домашнюю философию Мариэтты Шагинян, а Марк Щеглов умно и свободно критиковал самого Леонова.

Когда Твардовский вернулся из поездки, Сац спросил: «Ну, как находишь отдел критики?» «Боюсь сказать,— отвечал А. Т., жмурясь от удовольствия,— но, по-моему, недурно».

В апреле 1954 года вышел номер и с моей рецензией. Она была скучна, неказиста, но я замахнулся в ней на Анатолия Сурова, автора пьесы «Порядочные люди», всем своим личным и литературным поведением опровергавшего это название. Недавно грозный секретарь Союза писателей А. Суров был уличен в том, что широко пользовался услугами литературных «негров», писавших за него пьесы. Критикуя Сурова, я тоже чувствовал себя ратоборцем «Нового мира». На Марка Щеглова, о котором говорили все кругом, глядел влюбленно — и готов был часами просиживать без дела на редакционном диване. (Зинаида Николаевна ко мне привыкла и уже не встречала грозным окриком: «Простите, вам куда, товарищ?»)

В середине мая Твардовский собрал в редакции поэтов (были Вера Инбер, Михаил Светлов, Николай Асеев и др.) и критиков и читал им первый вариант своей поэмы «Теркин на том свете», написанной, как помнится, по вдохновению, за три недели. Тогда же поэма была набрана и разослана членам редколлегии.

И. А. Сац был на обсуждении. За его спиной сидел Н. Н. Асеев, и Сац слышал, как во время чтения Асеев бормотал: «Интересно, оторвут ему за это голову? Интересно — оторвут голову?»

Потом, во время обсуждения, В. М. Инбер все восхищалась — какой замечательный народный стих, какая форма.

«Стих самый обычный, русский, сказочный,— возразил Асеев.— А вот что до того света, то все совершенно верно — я давно на нем живу».

Спустя несколько дней стали поступать форменные доносы на поэму в ЦК. Твардовский давал текст в «Правду» — уж очень просили «познакомиться», «быть может, напечатаем». И вдруг вернули рукопись с курьером. Оля, младшая дочь Александра Трифо-

новича, открыла дверь. Ей сказали: «Возьмите это» и протянули пакет. Твардовский возмущался: «Девочке сказали: „Возьмите это“».

А между тем над журналом собрались тучи. Кажется, первой пожаловалась в ЦК на «избиение» и «групповщину» Шагинян. Забегал А. Сурков, застрочили наемные перья. Представили как антисоветский выпад и поэму. Член редколлегии В. Катаев испещрил поля верстки грозными вопросительными знаками и восклицаниями: «На что намек?» (Верстка Катаева нашлась в 1958 году в новомировском сейфе — и Твардовский только головой качал, ее разглядывая.) И В. Катаев был не одинок. А. А. Сурков * побежал к П. Н. Поспелову **, Поспелов к Хрущеву. Хрущева испугала и возмутила строфа, где генерал говорит, что вот бы ему «полчок» солдат — потеснить царство мертвых... Это восприняли как угрозу.

На одном из последующих заседаний с проработкой К. М. Симонов сказал, что «загроббюро» — это явный намек на Политбюро. А. Т. возразил горячо: «Да ведь у меня разбирают персональное дело, а на Политбюро их не разбирают». «Не лукавь,— настаивал Симонов,— ты знаешь, что имел в виду».

С Твардовским я в те дни не был знаком, видел только в редакции его могучую фигуру — но уже издали боготворил его. Всякая весть, касавшаяся его и журнала, «нашего журнала», занимала меня крайне. Я гордился, что пусть чем-то, да связан с этим славным, честным и атакуемым изданием, хотя назначенный недавно заместителем Твардовского А. Г. Дементьев и начертал в те дни на полях моей рецензии об альманахе молодых: «Суров, учен, порою развязен, а вообще — молодо-зелено». Он был, вероятно, прав, но обидела тогда меня его резолюция смертельно. Сац посмеивался, говорил, что надо доделать, подредактировать и прекрасно будет, наподобие «ликерчика», каким Плюшкин потчевал Чичикова: если «козявки и всякую дрянь» повынуть, что будет за славный ликерчик! Но я гордо унес свою опозоренную рукопись.

В самую июньскую жару Союз писателей собрал обсуждение. Пускали строго по писательским билетам. Мы, студенты, толпились у входа. Проработка шла по полной форме. Мы прорывались с Марком на это заседание, почему-то устроенное в зале гостиницы «Советская».

Сурков, распалясь, кричал так: «Я знаю, все это Игорек Сац, старая компания „Литературного критика“, возрождение групповщины вокруг Твардовского!» Одна за другой в газетах появлялись статьи против Померанцева, Лифшица и других критиков «Нового мира».

Твардовский затосковал, занедужил и объявил, что на экзекуцию не пойдет. Все усилия Дементьева и Маршака, стороживших его, чтобы доставить свежим на Секретариат ЦК, были напрасны. С вечера он пил крепчайший чай и соглашался идти, но рано утром

---

* Сурков Алексей Александрович (1899—1983) — поэт, в 50-е годы — секретарь СП СССР.

** Поспелов Петр Николаевич (1898—1979), в 1953—1960 гг.— секретарь ЦК КПСС.

выскользнул из дома и исчез. «Новый мир» представлял на ареопаге Дементьев *. Было принято краткое Постановление ЦК: осудить статьи Померанцева, Абрамова, Лифшица, Щеглова; освободить Твардовского в связи с переходом на творческую работу.

Дементьев потом уверял, что, если бы Твардовский присутствовал, дело могло повернуться иначе. Хрущев говорил о нем уважительно и примиренно. «Мы сами виноваты, что многое не разъяснили в связи с культом личности. Вот интеллигенция и мечется» **.

Постановление ЦК не опубликовали, но провели заседание президиума Союза писателей, где по следам партийного решения было принято свое развернутое постановление (11 авг. 1954 г.), уже для печати.

Как-то в 1961 году в редакции «Литературной газеты» В. А. Косолапов рассказал мне за вечерним чаем: в 1954 году он был в конференц-зале на улице Воровского, когда на расширенном президиуме обсуждались «ошибки „Нового мира"». Ожидалось решение об отстранении Твардовского.

А. Т. сидел у окна, курил сигарету за сигаретой. Потом негромко произнес: «Когда здесь покойников выставляют, никого не дозовешься в почетном карауле постоять. А тут живого Твардовского вперед ногами выносить будут — и вон сколько доброхотов набежало».

Марк Щеглов с его обычным розовым идеализмом испытывал в те дни какую-то растерянность. Ведь все, что печатал «Новый мир», было правильно, все по правде, отчего же Твардовского, журнал и его, Марка, так ругают?.. Да и аргументы какие-то липовые...

Когда в газете появилась статья об ошибках «Нового мира», Марк говорил сокрушенно: «Как понять, моя „Правда" по мне ударила?» Помню, и тогда мне казалось это чрезмерной наивностью.

Немного ранее А. И. Аджубей *** устроил в «Комсомолке» «Литературоведческие мечтания» — собрание молодых критиков и читателей, бранивших под стенограмму казенную литературу. Заседание проходило в «Голубом зале», к чаю подавали вкуснейшие конфеты, Аджубей подбадривал робеющих ораторов: «Говорите смелее — Вирта и Софронов конъюнктурщики?» Марк на том заседании председательствовал, а Палиевский, Турбин и я выступали с разоблачительными речами. Домой нас с Марком подвозил на своем «Москвиче» инженер автозавода, читатель, участвовавший во встрече, а я подсмеивался над Марком: «Хорошо поговорили. А что как на основании этой стенограммы нас всех и заметут?» — «Ну, что ты, неужели серьезно?..» Шутка в духе зыбкого времени.

...В те дни огорченный, растерянный Марк спускался на костылях по широкой лестнице новомировского особнячка — и вдруг навстречу ему А. Т. — крепкий, большой, ясный. «Как понять,

---

* Дементьев Александр Григорьевич (1904—1986) — критик, литературовед, зам. главного редактора «НМ» в 1953—1955 и 1958—1966 гг.

** См. также запись 4. II. 1964 г.

*** Аджубей Алексей Иванович — в 1954 году заведовал отделом литературы газеты «Комсомольская жизнь», зять Хрущева.

Александр Трифонович, что происходит?!» — «Господь испытует, господь испытует, Марк Александрович»,— отвечал А. Т.

«Ничего он мне больше и не сказал,— удивлялся Щеглов,— а вдруг все стало почему-то легко, понятно. И не страшно».

Вечная благодарность Гудзию, что он подтолкнул меня в «Новый мир». В те же месяцы двух других моих товарищей по семинару — П. Палиевского и О. Михайлова — он рекомендовал в «Октябрь». Разумеется, мы торжественно обменялись первыми своими публикациями. На своей совместной рецензии из «Октября» (с критикой посредственного романа, посвященного Л. Толстому) О. Михайлов и П. Палиевский написали: «Деятелю Ренессанса В. Лакшину от махровых „октябристов"».

Недавно мне попался этот оттиск, и я подивился знаменательной надписи.

Копаясь в архиве Щеглова, я обнаружил и свою телеграмму ему, отправленную в те дни (25.5.1954).

Москва, Электрический пер., д. 3, кв. 56. Щеглову Марку Александровичу.

= Поздравляю с включением в мартиролог. Желаю бодрости, жду новых работ=Лакшин.

Подумал, что это значит? И вспомнил.

В этот день в «Правде» появилась разносная статья с четырьмя именами: Померанцев, Лифшиц, Абрамов, Щеглов,— которые потом склонялись бесконечно.

В архиве Щеглова после его смерти я нашел и свое письмо к нему от 5 июля 1954 г.— на дачу в Немчиновку.

Вот отрывок из него:

«Я был в „Новом мире". Вышел, как из гробового склепа. В комнате критики сидит мрачный старик („по работе с молодыми"), больше никого нет. Он не очень любезно осведомился, что мне нужно, предложил подождать Галину Павловну в прихожей, а на вопрос об Игоре Александровиче прокаркал: „Его здесь больше никогда не будет". После этого я уж не стал никого дожидаться и бежал как мог скоро и не оглядываясь назад. (Даже вместо Зинаиды Николаевны какая-то фефела.) Впрочем, я думаю, что это ты все знаешь, и я зря тебе пишу.

В университете самое буйное событие последних дней — встреча с писателями в новом здании. Приехал весь синклит: Симонов, Полевой, Сурков (читай в обратном порядке), Лесючевский. Это был скандал, так как до этого 39 студентов мехмата послали в „Правду" письмо в защиту Померанцева. Оттого и весь сыр-бор загорелся. Собрание шло шесть часов, наговорили столько дряни, что меня чуть не стошнило на манишку Суркова. Слава богу, удержался я от выступления (меня держал за фалды Маликов).

Вашей особе тоже много было посвящено. Особо указывалось на талант и недостатки воспитательной работы на факультете. Из-за тебя, черт бы побрал твои статьи, я на всю жизнь испортил отношения с Метченко, которому крикнул из зала несколько не

вполне почтительных слов». (А. И. Метченко тогда только начинал делать карьеру как доцент кафедры советской литературы.)

Из письма М. Щеглова ко мне 24 июля 1954 года

«В „Новом мире“ бываю еженедельно, получаю и сдаю материал для внутренних рецензий. Помнишь, я тебе говорил, Сурков смешно называл внутреннее рецензентство „могилой неизвестного солдата“?

Очень приятно видеть Александра Трифоновича после всех неприятностей здоровым и величавым. Сейчас, после уже, вероятно, тебе известного заседания Секретариата ЦК с участием Хрущева, где разбирали „Новый мир“ вместе с СП и редколлегией, решается один вопрос — останется ли Твардовский главным редактаром. Разнотолков — много, говорят, что обязательно снимут и называют взамен кто — Ермилова, кто — Друзина, кто — Софронова, кто — Симонова, а иные говорят, что все-таки Твардовский останется. Но твердо известно, что всеобщего побоища не будет — весь состав редакции остается на месте. Но какого же, собственно, еще побоища нужно, если Игорь Александрович ушел, а Твардовского снимут! Вместо Игоря Александровича сейчас, по-видимому временно, Кондратович, бывший ответственный секретарь редакции. Парень он неглуп и с темпераментом, но... сам понимаешь. Страшно скучно и никчемно стало ходить в редакцию. Собираюсь на днях зайти к Игорю Александровичу домой. Он шутит, был, говорит, в какой-то пьесе персонаж, который все время говорил о себе: я — старый москвич, я — старый марксист, а получалось часто: я — старый марксич. Так вот, говорит, я, старый марксич, обучил вас субъективному идеализму...

Рассказывают, что на Секретариате Хрущев сильно наподдал тем, кто жаждал крови, сказал, что с Твардовским нельзя так обращаться, как вы предлагаете, что другого такого у нас нет, что с ним нужно возиться... И вообще, говорит, за битого двух небитых дают! Я воспринял это как партийный лозунг».

17. VIII. 1954

«Литературная газета» опубликовала постановление президиума СП «Об ошибках журнала „Новый мир“».

Было объявлено публично об уходе Твардовского.

Журнал перешел в руки К. М. Симонова, уже прежде, в 1946—1950 годах, бывшего его редактором.

В № 9 «Нового мира» А. Г. Дементьев и С. Б. Сутоцкий (хитрый и благодушный газетчик, его Твардовский взял в редакцию, кажется, из «Правды») поместили самокритичную, по всем правилам биения в грудь и посыпания главы пеплом, статью об ошибках журнала. Досталось всей помянутой в постановлении четверке, в том числе и М. Щеглову. В портфеле редакции в наследство Симонову остался роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», отредактированный Б. Г. Заксом *. Мечась и колеблясь, Симонов напечатал его — потом ему этого не простили.

«Не бери близко к сердцу. Покритиковали — и будем печатать»,—

* Закс Борис Германович — в 50-е годы сотрудник отдела прозы, в 1958—1966 гг.— ответственный секретарь «НМ».

утешал Дементьев Щеглова. В самом деле, в 1955—1956 годах «Новый мир» изредка помещал его статьи, правда, уж и не такие звонкие, как те, которыми он начинал.

Я же забыл про свой скромный критический дебют и на два года ушел в университетскую науку.

Твардовский был без журнала. Скучал, много работал. Я узнавал о нем издалека.

1956

2 сентября 1956 года из Новороссийска пришла телеграмма о внезапной смерти Марка Щеглова.

ИЗ ДНЕВНИКА

20. IX. 1956

Много, очень много времени прошло, что я ничего не записывал. 2-го сентября умер Марк. Это самое главное, и все остальное отступило.

Твардовский включил меня в комиссию по литературному наследию. Неонила Васильевна * приехала обезумевшая от горя. Я все время о Марке думаю, вспоминаю его.

Два раза был у Твардовского и рад был говорить с ним. Он умный русский мужик и настоящий литератор. Откопал какого-то Рочко, старика-поэта. А. Т. осаждают с рукописями. Рассказывал, что читает их, как арбузы выбирают — режет клинышек из середины, не красно — кладет обратно.

Говорит: реализм не нуждается в эпитете. Если есть реализм социалистический, то может быть и капиталистический?

«В сельском хозяйстве мы не нашли корня переделки, кладем заплату на заплату и гоняем тетку Матрену с одного угла поля на другой... Сам я грешил надеждами в „Стране Муравии“, когда воспевал коллективное хозяйство».

Говорил о неокупаемости машин при нынешнем порядке с сельхозтехникой, о чрезмерной централизации и сверхиндустриализации там, где это не нужно. «Пока сидишь тут в тепле, в сухе, а тетку Матрену подкнучивают...» — это его живая речь. «Вы говорите, времена меняются? Кажется, меняются. Может быть, и „Теркина“ можно будет напечатать... Нет, не продолжение, а совсем особая штука...» (Я киваю, что понял, о чем речь.)

Рассказывал А. Т., как живут люди в Сибири,— он много ездит по магистрали, работая над главами «Далей».

Вспомнил, к случаю, о банщике Мартыныче, пострадавшем «по делу Александрова». Когда «философа» и секретаря ЦК партии Александрова вместе с Еголиным ** и др. «гладиаторами» уличили в содержании тайного притона с девицами, во всех парторганизациях должны были пройти, как водится, собрания с осуждением

* Мать М. А. Щеглова.

** Это, кажется, его или С. М. Петрова оправдание: «Я ничего... я только гладил».

происшедшего и выявлением подобных же виновных на местах. В Сандунах жертвой стал Мартыныч. Однажды А. Т. увидел его торгующим внизу, при входе, мылом и мочалками, а ведь прежде он славился в мыльной как непревзойденный специалист драения боков и спин! Вместо объяснений Мартыныч горестно рукой махнул: «Сняли... По делу Александрова...» Оказалось, искали-искали в бане последователей высокопоставленного грешника и вспомнили, что Мартыныч, бывало, девочек командировочным сватал, вот его и проработали на общем собрании, да с «оргвыводами».

ПОПУТНОЕ

Помню, как я растерялся, получив телеграмму о смерти Марка,— куда бежать, что делать? Ведь он даже членом Союза писателей не успел стать, кто о нем теперь вспомнит? С Твардовским я не был знаком, да и Саца знал, в сущности, мало, внешне. Но подумал — надо его разыскать. Взял адрес в «Новом мире» и поехал на Арбат, д. 54, кв. 86а. Длиннющие общие коридоры вдоль всего этажа. Остановился перед дверью, стал думать, в каких словах объяснить мой приход и чего я, собственно, хочу. Объяснять не пришлось. Дверь открылась, Сац увидел меня, обнял неожиданно со словами: «Милый Володя, какое горе, какое горе», и дальше все было просто — говорить ничего не нужно было. Сац тут же изъявил готовность встретиться с А. Т. и посоветоваться, что можно сделать для памяти Марка, как помочь матери. А. Т. просил меня приехать, я был у него в доме на Бородинской набережной, в кабинете с оконным фонарем на Москва-реку. Он расспросил меня, что нужно, сам предложил состав Комиссии и согласился быть ее председателем. В ближайшие же дни провел решение о Комиссии по наследию и о денежной помощи матери через секретариат СП.

Второй раз мы торжественно собрались у него за вечерним чаем — Н. К. Гудзий, А. И. Марьямов, А. М. Турков и я, чтобы обсудить план посмертного сборника, который поручили составить мне.

Сац потом вспоминал, как А. Т. принял весть о смерти Марка. Заплакал и сказал: «Что нам дается, тут же и отнимается».

ИЗ ДНЕВНИКА

20. XI. 1956

Во вторник у Саца виделся с А. Т. и беседовал с ним часа три. Он настоящий поэтический ум. И мужицкое в нем осталось — хитрое и честное, и какая-то приобретенная хорошая культура — своя, не заемная, взятая трудом и умом.

Он вернулся из Малеевки и с неприязнью говорил о писательском племени на отдыхе и несносных расспросах: «Как работается? Как творческий процесс? Как желудочно-кишечный тракт?»

Дом в Малеевке роскошный, каждый новый директор добавлял свои колонны и лестницы, а вот помыться толком негде, стоишь за простынкой.

Писатель просит подавальщицу дать чаю. Она приносит стакан. Он смотрит на чай, на нее и раздельно произносит: «Я просил у вас ча-а-ю». «Я принесла»,— растерянно лепечет подавальщица. «Надо так понимать, что у него особое, высшее понятие о чае»,— комментирует А. Т.

Многое вспомнил он из детства, юности. Говорил про драки в смоленской деревне, вспоминал какую-то Путятиху-кабатчицу и Лазаря, который спускал казенный лес.

Потом картинно изобразил, как встречали его в 1939 году на Смоленщине, когда он стал уже известен, получил орден Ленина. В колхозе бросили работы на три дня, пили, гуляли, угощали, а старики говорили: «Ох, земляк, высоко ты пролез». «Мне было обидно, я пытался уверить, что не пролезал я». Они слушали, головами кивали, а потом снова: «Да, земляк, все же высоко пролез».

Говорили, конечно, и о том, что всех волнует, о Польше, Венгрии.

И снова о своем. Трифонович рассказал, как один председатель сажал кукурузу — «еду мимо, смотрю — поля сурепки, и только кое-где специальный глаз может кукурузу различить». Теперь велят все, что выросло, покосить на силос, а председатель недоумевает: «Зачем кукурузу-то было сажать, оставить поле как есть — сурепка и так бы выросла».

А. Т. щепетилен, спрашивал: «А вам в университет не идти? У меня правило: если выпиваешь-закусываешь — уже на людях не показывайся».

Говорил, чтобы книгу Марка готовил я в одиночку, не слишком полагаясь на других членов комиссии. «Это только в прежние годы колхозники всей областью Сталину письма писали».

Прощаясь, сказал: «Я сегодня, как ашуг,— все вам про свою молодость пел...»

2. XII. 1956

Про К. Симонова Твардовский рассказал характерный анекдот. На совещании в ЦК он говорил «бла-ародную» речь с трибуны, и вдруг голос из президиума его прервал: «Что-то вы, тов. Симонов, все о свободе и о свободе, а о партийности ни полслова». Симонов побледнел и упал в обморок. Вот и все мужество либерала! Не лукавь!

1957

14. II. 1957

Хорошее вот что: отвез наконец готовый сборник Марка Щеглова Твардовскому и Гудзию.

20. III. 1957

У Твардовского познакомился с Эм. Казакевичем. Они в два голоса хвалили Тендрякова. Казакевич рассказывал о судьбе альманаха «Литературная Москва». Есть смелый проект — устройства московского издательства писателей на кооперативных началах.

Это издательство не должно зависеть от коммерческих соображений и от начальства — выпускать малыми тиражами, но максимально свободно то, что пишут.

А. Т. с юмором рассказывал о доценте, который изучает «психологию творчества» Твардовского, добился его по телефону. Трифонович, уклоняясь от встречи, сказал: «Вы лучше покажите свой труд ученым людям, я вам вряд ли смогу присоветовать что-либо полезное». А он: «Нет, вы меня не поняли — это я вам скажу что-то полезное для вас».

Апрель 1957 г.

Встретил случайно А. Т. на Пушкинской улице и подвез на такси в издательство. (У него не было денег.) Он говорил, что рад тому, что разрешили такие слова, как победа, родина, писать с малой литеры. О своих «сталинских» стихах: «Я же во все это верил, писал, как думал тогда». А ему предлагают при каждой политической перемене то включать, то вынимать их из сборников.

Письмо А. Т. Твардовскому в Коктебель 2 июня 1957 года

«Дорогой Александр Трифонович!

Пытался Вам дозвониться в Москве, да все неудачно. Случайно от Игоря Александровича узнал, что Вы уже жаритесь на крымском песке (или коктебельских камнях) и презрительно вспоминаете о московском нашем Содоме.

Хочу Вам поплакаться в жилетку по поводу сборника Марка Щеглова. Все шло вполне благополучно, но два дня назад Карпова * опомнилась, решила действовать в духе времени и выбросила статью о „Русском лесе", а затем и об „Опере... Снегина". Аппетит ее разгорается, она лязгает зубами, и у меня такое впечатление, что сборник на волоске от гибели.

Гудзий, утомленный юбилейным чадом, написал наконец предисловие на пяти страничках.

Все Ваши худшие предположения сбылись, и он много распространяется о Марке как о „способнейшем ученике руководимого мною семинара". Слава богу, он хоть не страдает чрезмерным авторским самолюбием и разрешает править его рукопись как угодно (чем я сейчас и занимаюсь).

Дорогой Александр Трифонович, должно быть, негуманно писать Вам эти скучные московские вести, когда Вам, наверное, все московское хочется забыть под южным небом. Простите великодушно и сделайте скидку на то, что у нас здесь жарко, пыльно, скучно и пустынно.

Желаю Вам самого лучшего отдыха.

Ваш В. Лакшин».

Ответ А. Т. Твардовского из Коктебеля 16 июня 1957 г.

«Дорогой Владимир Яковлевич!

Получил Ваше письмецо, скорблю вместе с Вами по поводу судьбы книги Щеглова, но сделать (да еще отсюда) что-нибудь очень трудно, просто невозможно: Карпова службу знает, марксизмом-ленинизмом ее не прошибешь („мы не догматики"), ссылкой на решения директивных органов

* Карпова Валентина Михайловна — в то время главный редактор издательства «Советский писатель».

также — ибо указания выше решений для этого рода людей, да кроме указаний есть еще дух, незримый, но сущий и непреложный.

Поговорим и, может, что придумаем по приезде моем в Москву — в первых числах июля. Статью о Леонове не пытайтесь удержать — это не реально. Бог с ней, она и то была условно поставлена. С Гудзием делайте все, что велит разум, тем более что старик разрешил. Вы не уведомили меня — получили ли должок (50 р.), который я послал Вам незаконным образом — в письме. А мне неловко, совесть страдает — наслаждаюсь благами теплого моря, а долгов не отдаю — так можете Вы подумать...

Желаю Вам всяческого добра.

Кланяйтесь И. А. Сацу, если встретитесь.

Ваш А. Твардовский».

ИЗ ДНЕВНИКА

3. IX. 1957

Вчера был год со смерти Марка, и мне, конечно, не сиделось дома с утра. Поехал я к Сацу, и скоро уж мы были в шашлычной на Арбате. (...)

Рассказывал он о Твардовском. Н. С. Хрущев приглашал его два раза. Беседовал благожелательно, первый раз 1 час 40 мин, второй — и того больше. А. Т. выложил все. Прежде всего напомнил слова Щедрина о птицах певчих и птицах охочих («Признаки времени»), сказал, что в литературе птицы ловчие, или охочие, совсем заклевали сейчас птиц певчих. Отверг измышления относительно враждебных групп в литературе, о которых любят кричать те же охочие.

А. Т. вступился за М. Алигер, обруганную на недавней «исторической встрече». Пытался убедить Хрущева в ценности кинокартины Тендрякова и Швейцера *. Н. С. все время говорил: «Это интересно», «все, что вы говорите, интересно», «да, это нужно изучить» и т. д.

Впрочем, судя по недавней статье, Хрущев сделал свои выводы из беседы, а Трифоныч наивно думал убедить его... Почти как Пушкин царя со своими заметками «О старой и новой России» и т. п. Сейчас А. Т. на даче, дозвониться ему трудно. Говорят, он написал новую главу в поэму «За далью — даль» с «задорными местами».

1958

ПОПУТНОЕ

Весной 1958 года в издательстве МГУ вышла моя небольшая книжка «Искусство психологической драмы Чехова и Толстого» («Дядя Ваня» и «Живой труп»). В мае я уехал в Ленинград в аспирантскую командировку — работать в архивах для диссертации. Оттуда послал книжку Сацу. Он откликнулся быстро и в письме советовал послать еще экземпляры Твардовскому и Мих. Лифшицу. Я последовал совету. От Лифшица ответа не было, а от А. Т. получаю вскоре письмецо:

---

* Кинокартина студии Мосфильм «Саша вступает в жизнь» по повести В. Тендрякова «Тугой узел» (1957).

«М[осква]. 10.V.58

Дорогой Владимир Яковлевич!

Книжицу Вашу получил — большое спасибо за нее, за память. Что вдруг Вы в Ленинграде? Переехали, живете там? Это, между прочим, важно мне знать и потому, что я, наверно, вновь буду редактировать «Новый мир», и мне хотелось бы иметь Вас в виду как желательного сотрудника. Напишите, что Вы и как.

Желаю всего доброго

А. Твардовский».

Я отвечал Твардовскому:

«Ленинград, 14.V.1958.

«Дорогой Александр Трифонович!

Очень рад был получить Ваше письмецо, да еще с такой доброй вестью. Было бы превосходно, если бы проект с Вашим редакторством осуществился. И конечно, я был бы просто счастлив сотрудничать в таком новом „Новом мире". Мне очень бы хотелось попробовать себя всерьез в современной критике, а не только в ученейших разысканиях о классиках, где и метод, и стиль, естественно, иные. Мне несколько совестно было посылать Вам свою книжицу, потому что написана она четыре года назад (что для меня половина моей „деятельности" в области филологии), написана во многом ученически — да это и есть моя студенческая (дипломная) работа. В ней, как говорит Сац, много „литературоведческого", он лукаво недоговаривает, но я знаю, что думает: „и мало просто человеческого". И это правда. Послал я Вам ее не потому, что я ею горжусь (как видите, скорее напротив), а потому, что послать мне больше нечего, а сказать, как я Вас уважаю и помню,— хотелось.

В Ленинграде я временно, в командировке от университета. Этой осенью я кончаю аспирантуру и сейчас приналег на диссертацию, которая у меня далеко не кончена. Сижу в Пушкинском Доме, Историческом архиве и порчу глаза над рукописями Островского и его присных. Кроме того, как Раскольников, забираюсь к разным старушонкам, у которых до сих пор лежат части архива Островского (они обычно скупенькие, не могут сторговаться с музеями и держат все в кутке), и я пытаюсь снять интересующие меня копии.

Погода здесь отвратительная — ветер, сырость, петербургская морось, но это отчасти хорошо, так как удерживает в архивных стенах. Как только выглядывает солнце, я иду бродить по городу, и если бы погода была лучше, то все время, кажется, шатался бы по набережным и площадям. А скоро белые ночи! Впрочем, в начале июня я буду уже в Москве. Вот Вам, Александр Трифонович, вся моя теперешняя жизнь. Очень хотелось бы знать, а как вы? Где проводите лето?

Очень хотелось бы с Вами повидаться в Москве, встретиться, хотя бы у Иг. Ал. Саца.

Всего Вам доброго

Ваш В. Лакшин».

Вспомнил, как в 1955 или 1956 году мы, аспиранты университета (И. Виноградов, А. Лебедев, М. Щеглов и др.), собрались у

Киры Потаповой — потолковать «за жизнь» и мечтали о своем журнале.

«Да что журнал — альманашек бы!» — кричал Марк.

Прошло всего два-три года — и вот что-то забрезжило.

ИЗ ДНЕВНИКА

15. VI. 1958

Забегáл Сац (меня дома не было) и просил зайти к нему. Пришел. Он говорит: «Только что был Твардовский — веселый, спокойный, в новом костюме. Хотел вас дождаться. Есть и к вам дело. Надо идти в „Новый мир", заведовать отделом критики».

У меня был, должно быть, очень смешной, глупый вид — я растерялся, ошалел от удовольствия и нелепо спросил: «А смогу я? Я боюсь».— «Ничего. Когда-нибудь же нужно начинать. У меня было шесть классов образования и Богунский полк, когда Луначарский, уезжая за границу, оставил свою рукопись и просил отредактировать. Она начиналась: «Шеллинг сказал...» А я и не подозревал, кто такой Шеллинг».

По словам Саца, А. Т. разогнал всю старую редколлегию — остались лишь К. А. Федин и С. Н. Голубов. Он ввел в редколлегию Б. Г. Закса. Хотел сделать своим замом по критике М. А. Лифшица, но Союз писателей его не утвердил. Твардовскому предлагали другие кандидатуры, но он их отверг, сказав: «Я сам еще подумаю». Критику и поэзию он хочет вести через свой контроль, будет все просматривать сам. Саца определил редактором итальянских записок В. Некрасова.

1. VII. 1958

За мной зашли домой Сац и Некрасов, и мы отправились в «Новый мир» к Трифонычу. Редакция гудела, как улей. В прихожей у стола с графином стояли и сидели, но более всего ходили люди. Все двери из отделов были распахнуты. Встречи, поцелуи, рукопожатья. Во всем какой-то праздник. Жора Владимов сказал мне, что последние дни у них в редакции было полное запустение, никто даже не заходил — и вдруг, с первого же дня, как Твардовский взял журнал, все переменилось. Прежде всего он сам, в отличие от Симонова, появляется ежедневно в час дня и не дает никому лениться, сам читает материалы отделов и проч. Весело, празднично. Меня познакомили с Тендряковым. Он принес рассказ «Пощечина». Это уже вторая редакция, он его переделал. Мне дьявольски хотелось посмотреть рассказ, но его хватали из рук в руки. К сожалению, потом Некрасов мне сказал, что рассказ не очень сильный и, кроме того, чрезмерно резкий — его не печатают.

Ну-с, пригласили нас в кабинет к Трифонычу. Мы чинно сели с Некрасовым против него за длинный стол. Он сказал несколько слов Сацу и Некрасову о том, как лучше разбить «очерки» на два номера, и обратился ко мне. «Ну, Владимир Яковлевич, не хотите ли потрудиться для журнала?» Я сказал какое-то «рад стараться».

«Пока я вас познакомлю с Озеровой *. Она вам даст на просмотр рукописи, что-нибудь для редактирования, чтобы вы могли оглядеться».

Он повел меня в комнату критики и представил Озеровой, которая, впрочем, не выразила большого энтузиазма.

Александр Трифонович — дипломат, он знает, что, взяв меня, рискует ошибиться — Озерова многоопытна, я новичок.

Озерова дала мне на внутреннюю рецензию диссертацию об Ильфе и Петрове, которая заведомо не может быть использована в журнале.

Когда я вернулся в кабинет Александра Трифоновича, Закс обсуждал с ним судьбу симоновской конторки. «Стоя писать я не могу. Это „хемингуизм". Симонов это любит, а мне ни к чему». И конторка переехала в угол проходной каморки Закса.

С Твардовским я договорился, что буду брать материал на дачу и там работать, а дня через 2-3 приезжать в редакцию.

1. VIII. 1958. Витенево

Почти всякий раз, как появлялся в эти недели в Москве, заходил к Александру Трифоновичу. Озерова просила меня кое-что доработать в рецензии **, я был в дурном настроении, но оно исправилось, едва я зашел к Александру Трифоновичу.

Он приветливо меня встретил, напоил чаем с бубликами в кабинете. Потом предложил вкупе с Сацем написать рецензию на посмертную книгу В. Б. Александрова. «Я просил Лифшица, но он занят статьей — ответом югославскому критику Видмару». Говорил о Видмаре: «Это, может быть, и не ревизионизм, как у нас торопятся его определить, но просто провинциальность. Он говорит: если понимаете в искусстве больше Толстого, так попробуйте написать лучше».

Александр Трифонович советовал писать совместно с Сацем, вообще к нему прислушиваться. Я ответил, что лучше многих знаю цену Игорю Александровичу. Но тут Александр Трифонович будто испугался, что я чрезмерно подчинюсь влиянию Саца, и начал, противореча себе, говорить, что Сац стареет, что трудно человеку двадцать лет кряду жить в искусственной изоляции. «Вся надежда у меня на то, что придут новые, молодые, а те, хотя и замечательные люди, уже отживают».

Я назвал ему Игоря Виноградова, сказал, что он написал статью о Тендрякове — его бы привлечь. Александр Трифонович оживился, просил его привести.

В следующие дни я много возился со статьей Виноградова о Тендрякове, он торопился на целину, как начальник студенческого отряда, и писал наспех. Не удалось даже сводить его к Александру Трифоновичу — последние дни Твардовский реже бывал в редакции.

---

* Озерова Калерия Николаевна заведовала отделом критики еще при Симонове, а прежде работала в «Литературной газете».

** На повесть К. Лапина (появилась в № 8, 1958).

Озерова сказала мне, что рецензия на К. Лапина понравилась Твардовскому. Но видно по всему, что смелые планы Саца о моем приходе в редакцию — химера. Александр Трифонович об этом и думать забыл. Пусть, может, так и лучше.

Вышла книга Марка Щеглова! Я принес сигнальный экземпляр Александру Трифоновичу. Он спрашивал, пишу ли я о сборнике Александрова. Получился интересный разговор о нем. Цельность и демократизм — вот две вещи, которые он в нем ценит. И культуру, прибавлю я. Он торопит со статьей.

Александр Трифонович рассказывал о поведении В. Ермилова в Комитете по Ленинским премиям. В Ермилове нечто общее с Булгариным: предательство вошло в кровь. В Комитете спорили о фильме «Тихий Дон» — большинство (и Александр Трифонович) за то, чтобы дать премию. Ермилов же встал и сказал: «Конечно, может быть, я ошибаюсь, но „Тихий Дон" — фильм кулацкий и антисоветский». Однако председательствующие товарищи пропустили это мимо ушей. «Есть такая особенность у руководящих товарищей: что они не хотят слышать, просто не слышат».

Я как-то вскользь заметил, что Ермилов плут, несомненно, но человек талантливый. Твардовский живо возразил: «Негодяя никак нельзя назвать талантливым». То есть талант и подлость несовместимы.

Через два дня я принес Александру Трифоновичу статью И. Виноградова. Он обещал прочитать в тот же вечер. На другой день Игорь уезжал на целину, и ему очень хотелось знать мнение Твардовского.

Я провожал Игоря с Николаевской платформы Рижской дороги. Он бросился ко мне, чтобы узнать о решении, но я в тот день не смог дозвониться Александру Трифоновичу, и Игорь так и уехал в неведении.

В понедельник я пошел в редакцию. Александр Трифонович одобрительно отозвался о статье Виноградова. Иронизировал только над чрезмерной «ученостью» и изобилием похвал Тендрякову: «Тендряков у него где-то между Пушкиным и Толстым. Не знаю даже, попадет ли в этот ряд Чехов».

Со статьей Виноградова конкурировала (увы!) статья Е. Стариковой — а она ведь редактор книги М. Щеглова.

Твардовский собрал у себя в кабинете совещание: усадил Закса, Озерову и меня, как «душеприказчика» Виноградова, и обратился к нам с краткой речью. Хитрюга, сначала изо всех сил расхваливал статью Стариковой, хотя заметил, что поначалу она показалась ему как-то «жиже» виноградовской. Но в ней много верного о литературной стороне дела. Если бы это не звучало нескромно, я бы сказал: «Да это все, что я сам говорил Тендрякову». И вдруг Александр Трифонович сделал неожиданный вывод в пользу Виноградова: «Статья шире по задаче, выходит за рамки чисто литературные. И потом, автор — молодой человек, которого журналу не нужно бы терять. А Старикова поймет, надо ей объяснить, да я сам

готов упасть перед ней на колени». Даже Озерова, которая была очень напряжена, улыбнулась.

Твардовский просил срочно доработать статью, чем я на другой день и занялся.

ПОПУТНОЕ

И. Виноградов подарил мне потом оттиск статьи «Нового мира» — «Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева» (название — неудачное — придумал Александр Трифонович) с обескураживающей надписью: «Дорогому Володе — столь надоевшую ему, выпестованную и изуродованную им нещадно статью — с самыми лучшими пожеланиями и в ожидании трепетном, но и радостном подобных акций в будущем». Слова «нещадно изуродованную» меня удивили — я сделал в статье минимум поправок по замечаниям Твардовского.

30. X. 1958

В «Новом мире» бываю часто. Вернулся в журнал заместителем главного редактора Дементьев. Он написал статью о «Братьях Ершовых» Кочетова — этом поганом верноподданническом романе. Твардовский сначала был непримирим: либо разгромить роман, как он того стоит, либо вовсе не писать о нем. Но Дементьев взял средний тон и, кажется, убедил Александра Трифоновича, что так надо.

Я был вчера у Твардовского. Говорили о Гранине (я пишу статью о его романе «После свадьбы»).

А. Т.: «Это, конечно, не Всеволод Великий. Но... так много в этой прозе искусственного, заранее все расчислено. К тому же есть и подогрев, скажем, в сцене райкома». «Но вообще говоря, мы до сих пор только в фельетонах „Комсомольской правды“ читали, что уезжать из города несладко». Присутствовавший Дементьев высказал двусмысленную похвалу моей статье. Александр Трифонович еще не читал, на том и расстались. Твардовский сказал, что сильно занят «пастерначьими делами», а это не дает ни отдыха, ни покоя. Тяжело и неприятно.

1. XI. 1958

Александра Трифоновича, видимо, очень угнетает история с Пастернаком («Расправились с писателем, не читая его романа»).

С Дементьевым разговор малоприятный о моей статье: он нашел в ней ревизионистские тенденции. Меня хотел запугать, что я отдаю Гранина на растерзание и себя выдаю с головой. «Не думаю, чтобы Лакшин был так прост»,— заметил Твардовский.

Дементьев говорил Александру Трифоновичу, что публикация моей статьи может дурно отразиться на журнале.

ПОПУТНОЕ

Александр Трифонович впоследствии всегда сокрушался, что принял участие в травле Пастернака тем, что опубликовал письмо симоновской редколлегии о «Докторе Живаго» и публично, хоть и чисто формально, к нему присоединился.

«Меня Поликарпов обманул»,— говорил он не однажды, но подробно вспоминать об этом не любил. Я так и не понял, в чем заключался «обман» Д. А. Поликарпова.

30. XI. 1958

Статья моя о Гранине испоганена вставками и поправками: такое уравновешиванье плюсов и минусов, что уже разобрать ничего нельзя.

На днях пошел к Сацу. Не застал его и собирался уходить, как увидел широкую фигуру Александра Трифоновича, поднимавшегося по лестнице. Он шел из смоленского «Гастронома» с какими-то кульками и свертками и забежал к Сацу. Мы стояли с ним на площадке, курили и разговаривали. Спросил, как я живу. «Наверное, как герой Гранина перед отправкой в деревню?» — посмеялся он. Я спросил в тон: «А что, вы собираетесь меня куда-нибудь услать?» — «Ну, я не начальство».— «Как же не начальство,— возразил я,— даже сегодня в „Литературной газете“ есть, что вас выбрали в партбюро».— «Ну, знаете, все это так...» — и он махнул рукой.

Жаловался, что нет прозы для журнала, просто не пишут.

Рассказал, что встречался с Дудинцевым, который сначала принес в «Новый мир» рассказ, потом унес его в «Комсомолку».

«Я ему прямо сказал, что самый большой его успех с „Хлебом“ («Не хлебом единым...») прошел, больше он никогда не будет в центре внимания... Но если он сейчас напишет вещь в прежнем духе — его сразу прибьют; если же слукавит — читатель ему не простит. Вернее всего писать очерк: что вижу, то и пишу». Александр Трифонович предложил Дудинцеву командировку от «Нового мира», чтобы он написал очерк.

Но Дудинцев отказался, сказал, что ему некогда, сослался на суд, который теперь идет у него в связи с иском «Молодой гвардии». С него требуют деньги, взятые как аванс за роман.

Далее разговор повернулся на нападки «Литературной газеты», уже не раз бранившей «Новый мир». «Они стали нахальны,— заметил Твардовский.— Не пропускают ни одного номера, чтобы нас не облаять. И какие все люди! Этот Друзин * и другие, знаете ли вы их? Это же совершенно беспомощные в теории, темные люди. Они ничего не читают, хватаются за книгу лишь тогда, когда пахнет „мокрым делом“».

Я рассказал о Диме Старикове, нашем студенте — милый, интеллигентный был мальчик, поклонник Тынянова, лингвист («моло-

* Друзин Валерий Павлович — критик, в 1957—1959 годах — зам. главного редактора «Литературной газеты».

дой Шахматов», называли его на факультете) — и вдруг стал журнальным подлипалой Кочетова. Этот рассказ Трифоныча обескуражил: «Да, а я раньше думал, что эти старики перемрут — и вот придет новое, хорошее поколение. Но теперь замечаю, вот и вы говорите,— идет возобновление, растет эдакий подлесок».

Александр Трифонович смеялся, когда я рассказывал ему, что в чахлом, безгонорарном журнальчике «Филологические науки» платят в порядке исключения за статью о ревизионизме, но не могут все равно найти автора. «Значит, если против догматизма напишешь — это бесплатно, а если против ревизионизма — сполна заплатят?» — смеялся Твардовский.

Я спросил его об Андрее Платонове — вышел его сборник, и Сац подбивает меня писать о нем. Александр Трифонович сказал, что очень любил Платонова как человека, но писания его ему не близки.

Он сильно беспокоится за журнал. Главлит не хотел пропускать повесть Троепольского *. Но в общем от Александра Трифоновича идет ощущение силы, уверенности. Он стоит надо всем, и его не испугаешь. «Мы хотим отвечать на нападки „Литгазеты“,— сказал Александр Трифонович.— Ведь у них какая логика? Раз наш критик говорит, что у писателя слаб образ Ленина,— значит, он против Ленина. А если пишется, что удачны образы кулаков,— значит, ты пособник кулачества». Вообще мысли он выражает необыкновенно просто и ясно.

Мы простились. Я пошел по Арбату. Был морозный бодрый вечер, и на душе у меня было легко. Всегда после встреч с ним — праздник, будто чем тебя одарили.

1959

13. IV. 1959

Александр Трифонович говорит про Саца: «Сколько раз я его пытался вытащить на поверхность, а он опять ныряет в свое подводное царство. Если бы я пришел вечером и сказал: „Игорь, к завтрашнему утру нужна большая теоретическая статья, а то журнал могут закрыть, и мне это будет очень неприятно“, я могу рассчитывать, что статья будет. Но если я по малодушеству прибавлю: „Завтра, ну... в крайнем случае, послезавтра“, статьи я уже не дождусь никогда».

Хороши стихи Александра Трифоновича — о газете («Московское утро»). Эти стихи давались сначала в «Правду», но Сатюков ** их запорол. Не понравилось — «не весь народ у вас в кабинете». Потом они не пришлись и в «Огоньке». Теперь на свой риск Алек-

---

* Повесть Г. Н. Троепольского «Кандидат наук» появилась в № 12 «Нового мира» за 1958 г.

** Сатюков Павел Алексеевич — в 1956—1964 гг. главный редактор газеты «Правда».

сандр Трифонович напечатал в «Новом мире». Ему звонят друзья встревоженно: «Тебе этого не простят».

1960

3. III. 1960

Пришел в «Новый мир». Мне говорят: Александр Трифонович здесь. Я пошел к нему — секретарша не пускает. Все трое (Александр Трифонович, Дементьев и Закс) заперлись в кабинете. Я ждал в комнатке критики, вдруг распахивается дверь и входит Твардовский — плечистый, огромный, со счастливой улыбкой, открывшей прокуренные зубы, и с подвыцветшими добрыми голубыми глазами.

— Вот где вы прячетесь, Владимир Яковлевич! Ну, как семейная жизнь?

Я сказал, что не жалуюсь.

— Вот видите, я говорил вам — женатому лучше, чем холостому. А что у вас ко мне?

Я объяснил, что надо бы написать от редакции запрос во Францию Кэну * по поводу интервью Толстого, напечатанного в 90-х годах в «Тан».

— А что я в этом понимаю?

— Пока не понимаете, но сейчас поймете,— сдерзил я.

Он посмотрел черновик письма, который я ему передал, сказал, что все сделает, и понес машинистке. Вдруг возвращается.

— Что ж вы не заходите в кабинет главного редактора?

А я удивлен: вроде он меня и не приглашал.

— Пойдемте, я хочу вам дать кое-что почитать.

И с виноватой улыбкой, обратившись к вошедшему Дементьеву: «Я думаю ему дать **ту главу** почитать, а?»

Дементьев закивал («Ну что ж, ну что ж...»), и Александр Трифонович увлек меня за собой в кабинет.

Из небольшого коричневого портфельчика с молнией он достал листки машинописи, сколотые скрепкой, и мне протянул:

— Это из «Далей»... Глава, одна из последних, где-то в конце.

Я сел на углу длинного с зеленым сукном стола и начал читать:

Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами,
Иных не знали мы имен...

Я с трудом сосредоточился на чтении, но мало-помалу поэма захватила меня. Перечитал главу два раза, прежде чем подошел к Александру Трифоновичу, который занимался за своим столом почтой.

Он спросил: «Какие возражения, сомнения, опасения?» Я сказал,

* Жюль Кэн — директор Национальной библиотеки в Париже.

что по первому чтению критику наводить не решусь, главы понравились, но опасаюсь за печатанье.

— Я и сам сомневаюсь,— откликнулся Александр Трифонович.— Но нет, должны напечатать,— добавил он с раздумьем.— Я старый человек, знаю, что надо идти не к Фурцевой или Поспелову; они-то, конечно, прекрасно встретят, но сразу скажут: зачем «об этом», «культ личности — дело прошлое. Ведь вот у вас здесь есть хорошие, современные куски, а о старом что толковать..»

(В словах о «хороших кусках» послышалась мне и самоирония.) «...Если в „Правде" не напечатают, то нигде не напечатают. Тогда придется к Никите Сергеевичу идти. С культом приходится бороться посредством культа...»

Он усмехнулся: «Вот теперь я у вас в руках, вы мне можете это в свое время припомнить».

Это было приглашением к откровенности; во всяком случае, мне захотелось сказать ему прямо, на какие мысли наталкивают его стихи. Заговорили о Сталине и о том, как относится к нему народ. Я рассказал, как мой однокашник по университету, сумасброд и энтузиаст А., отправился преподавать в заволжскую деревню. Когда узнал о злодеяниях Сталина, начал носиться на своем мотоцикле по деревне, опрашивая встречных-поперечных об их отношении к Сталину. Ему хотелось услышать «глас народа». «А нам что — мы его не знали»,— говорили ему.

Откликнувшись на этот рассказ, Твардовский сказал о том, как чужд был народу Сталин, и именно русскому народу.

— Виссарион — значит «бес». Его отчество по-грузински «Бесович». Так его никогда не называли, потому что понятно, как принял бы это русский крестьянин. В последние годы он хотел подчеркнуть во всем русские черты, поддерживал православие.

О поэме своей Александр Трифонович сказал:

— Я должен был эти главы написать. Они очень для меня важны. Я сделал рывок. Теперь во всей этой работе главное позади.

— Все?

— Нет, но главное. Может быть, еще что-то будет написано; не знаю, как будут расположены эти главы, но глава о Сталине очень важна, а две другие — (о Дальнем Востоке и проч.) — это «буферные» главы, на них надо немного отдохнуть читателю.

Я сказал, что «сталинская» глава одна из двух вершин в поэме — «Встреча с другом» и эта. Она современно звучит, не только как история.

Он хитро усмехнулся.

— Да я ведь не знаю, что еще тетка Дарья скажет, если прямо спросить, как ей живется. Она у меня и не говорит. (Он имел в виду строки поэмы:

А если кто какой деталью
Смущен, то правде не во вред
Давайте спросим тетку Дарью,
Всего ценней ее ответ.)

— Мне важно было написать это,— продолжал Александр Трифонович,— я должен был освободиться от того времени, когда сам исповедовал натуральный культ.

И дальше — напряженно и искренне говорил о своем отношении к нынешнему времени и правлению. «Я не держу кукиша в кармане... Все-таки, надо признать, многое стало лучше, хотя столько делается „мазов", столько „мазов"!»

Я ушел, как всегда после встречи с ним, успокоенный, веселый. Сколько бы он ни ошибался, как бы наивны ни были иной раз его суждения, восхищает его талант и сила почти стихийная.

(Записал все это плохо и на ходу, но как сумел точно.)

На другой день до злости спорил с Н. Мельниковым. Он уже слышал о новых главах Твардовского и утверждал, что тетка Дарья — фальшь, что писать о Сталине нелепо, ненужно и т. п.

20. IV. 1960

Навестил Саца в Голицыне.

Он рассказал конец истории с «главами» Александра Трифоновича. После обсуждения (Твардовский заранее «подготовил» Федина в Барвихе) глава была сдана в набор. Цензор запретил самым решительным образом. Александр Трифонович настаивал. Цензор сказал, что снесется с начальством, но не сомневается в отрицательном ответе. Тогда Александр Трифонович послал главу о Сталине через референта В. С. Лебедева Хрущеву, с коротким письмом, где, по мудрому совету референта, ни слова не писал о цензуре, а лишь о том, что эта вещь дорога ему и наиболее важная его работа последнего времени. Н. С. Хрущев был в отпуске, на юге, и ему переслали рукопись туда. Анекдот заключался в том, что главы из «Далей» пришли на другой день после дня рождения Хрущева, и он принял поэму за подарок, вроде од XVIII века, что ли. Изволил начертать: «Прочитал с удовольствием». Только это и было надо. Пусть теперь, смеется Сац, цензор скажет, что он читал с меньшим удовольствием!

30. IV. 1960. Ялта

Прочитал главы «Далей» в «Правде» и несколько разочарован. Говорить, что поэту не простят лукавства и что умолчание — та же ложь, и в то же время умалчивать о многом, а кое о чем говорить очевидную неправду — нехорошо это получается.

Нельзя усомниться в искренности Александра Трифоновича, но ведь есть и искренность натужная, культивированная в себе «убежденность».

Сильные места я по-прежнему вижу в главе, но умолчаний и ненужных славословий тоже вижу немало, и больше, чем раньше. Но критиковать поэму можно лишь с другого конца, не так, как Мельников и К^0.

И тетка Дарья — кровное чувство Александра Трифоновича, я в это верю. Дело, однако, в том, что не все он, видно, понимает и не все старается понять в современной жизни. Упование

на другие иконы вместо развенчанного Сталина тоже ложное.

«Конечно, мне и Ленин не икона...» — у Есенина это сильнее. На старые «цитаты», на классические «труды» рассчитывать не умнее, чем на живого истукана. Все это — дурман, все это — отречение от своего мнения, самостоятельной мысли, «своей воли», въевшееся нам в печенки.

16. V. 1960

По словам Саца, Александр Трифонович почти не бывает сейчас в «Новом мире» и очень огорчен теми материалами, какие готовит для журнала Дементьев.

Рассказывал, что бежал с пленума Союза писателей, где Л. Соболев, как он понял, с ним спорил, говоря: «Тут рассуждают о читателе, какой, мол, он. А наш читатель все знает, все понимает».

1. VI. 1960

Два дня заходил безуспешно в «Новый мир», хотел видеть Александра Трифоновича. А секретарша говорит: «Уехал, и лучше не ходить к нему»,— и шепотом сказала о смерти Пастернака.

На другой день Александр Трифонович принимал английских писателей. И вот только сегодня его застал. Он встретил меня приветливо, сказал: «Что-то у меня к вам было». Мы пошли в его кабинет, он прикрыл дверь в комнатенку Закса, и начался разговор. Прежде всего я сказал, что хотелось бы переиздать книгу Марка Щеглова и что заготовил бумагу в издательство.

— Да я уже просил об этом Лесючевского, и не как-нибудь по телефону, а подошел к нему после секретариата. Он ответил, что это ни к чему, зачем покойников печатать по два раза, надо новых, молодых авторов двигать. У них страх перед именем. Я уверен, что Лесючевский точно и не помнит, что там писал Щеглов. Но «что-то такое там было», это он знает и не уступит ни под каким видом. «Если бы вы знали, Владимир Яковлевич, что такое Лесючевский. Это сама глупость, да еще в партийной, политической одежке».

Я настаивал, нельзя ли все же послать бумагу о переиздании от Комиссии по наследию.

— Дорогой Владимир Яковлевич,— отвечал он, сердясь,— если бы вы знали всю меру моего осознания всего этого дела, вы бы меня не уговаривали. За Щеглова меня не надо агитировать... Но что тут делать?

Я сказал, нельзя ли тогда через Гудзия — возбудить дело официальным порядком?

— Вот-вот. Сделайте бумагу, пусть Гудзий и другие подпишут, и она пойдет в секретариат. С Фединым я договорюсь, его я смогу убедить. Вот другие... Но бумага тем хороша, что на нее должен быть ответ. Это свойство всякой бумаги — и ответ должен вернуться к нам... Лет десять тому мне нужна была олифа, и я попросил одного товарища ее достать. Месяцев восемь не было ответа. Звоню и спрашиваю: ну, что олифа? Олифы, отвечает, нет, но пришлем вам бумагу, ждите. Какую, говорю, бумагу? А ответ на ваше ходатайство,

в котором укажем, что олифы нет. Так ведь я это уже знаю. Нет, говорят, на бумагу мы должны вам ответить бумагой. Так что,— заключил Александр Трифонович,— бумаге всегда ход будет.

Заговорили о Пастернаке.

— Вот и с Пастернако́м (у него такое ударение). Опять гадим себе в шапку. Ведь я специально ездил в Союз говорить, чтобы проводили его по-людски, накрутил Суркова, он уже составил некролог... И все напрасно. Мы уже и в ЦК ездили, доходили под самый верх, а нам сказали: не суйтесь не в свое дело. Там есть такой человек в руководстве — Козлов *, который, когда разговаривает, слушает только себя и сам пьянеет от своего голоса. Даже Шелепин, наше МГБ, и тот сказал: «Почему же? Некролог можно», и все же не разрешили. А на Западе новый интерес к Пастернаку и всей этой истории. Я вот уже два дня скрываюсь от иностранных корреспондентов, желающих получить интервью о Пастернаке. Вообще у меня подряд какие-то несчастливые дни — кто умирает, кто болеет. Вот Маршак болен. Я его очень люблю, но у него есть одна черта: когда он болеет, то в этом пол-Москвы должно принимать участие. Пишет мне записку: «Наверное, ты давно хочешь прийти ко мне и не знаешь, когда мне это удобно». Он почему-то думает, что я только и рвусь к нему. Ну, написал бы просто, по-человечески: «Саша, мне скучно, никто не ходит» — я бы сразу приехал. Или вот тоже сообщает: «Приходи, хочется поговорить, у меня много мыслей». Да у меня у самого мыслей до черта. Только вот что с ними делать, с этими мыслями... (Улыбается невесело.)

И о другом.

— Вы читаете «Литгазету»? Заметили дня два назад статью Рожина? Он и у нас в журнале писал, и было много откликов. Занятный такой старик. Там, в этой статье, у него секретарь райкома с его лозунгом «Прогремим на весь Советский Союз!» пытается выскочить в передовые в два года. Это же символично. Они, конечно, в «Литгазете», и их цензор тоже, просто по глупости не поняли, что напечатали.

Я рассказал Александру Трифоновичу, что в ЦСУ недавно проверяли, как мне рассказывали, чем достигнуты успехи Рязани по мясу: режут дойных коров и молодняк подчистую. Этих героев судить надо, а не награждать (секретарь обкома Ларионов стал недавно Героем Социалистического Труда). Но никто не решился сказать об этом Хрущеву.

Трифоныч сердито сверкнул глазами: «Значит, все по-старому начинается». И стал рассказывать, что означает сдача коров на мясо в пригородах.

— Вы не представляете, сколько ко мне, как к депутату, шло людей. С шести утра на даче уже меня сторожили. Я получил около 50 писем с копиями Хрущеву. И когда разговариваешь с эти-

* Козлов Фрол Романович (1908—1965) — тогда член Президиума ЦК КПСС.

ми ходоками, то говорят: «Мы же знаем, вы сегодня нас убеждаете, что все правильно, а завтра все будут признаваться, что совершили ошибку». И сказать мне им нечего... Кажется, теперь есть «перст» (он разумел, как я понял, указание сыграть обратно). Я еще весной хотел ехать к Никите Сергеевичу, уже настроился со всей злобой и звонил в его Секретариат, чтобы просить приема, да он за границу готовился ехать. А я уж собрался все выложить, пусть бы он потом соображал, что ему со мной делать.

Я сказал, что мало верю в лица, не надеюсь и на того, к кому он хотел идти. Секретарь Свердловского обкома Кутырев слишком всерьез отнесся к критике культа личности и, когда Хрущев приехал в Свердловск, не организовал ему общенародную встречу, толпы на аэродроме и т. п.— думал, что неприлично. И уже через неделю был на пенсии.

— А мне рассказывали,— подхватил Твардовский,— что в Иркутске, когда он возвращался из поездки по Китаю, его собралось встречать 50 тысяч человек на аэродроме. Ветер был, шел дождь. А он то ли после обеда почувствовал тяжесть в желудке, то ли еще что, но отказался выступать. Он, впрочем, и не обещал, а так, привыкли, что народ собран и он выступает. А тут не захотел и сказал первому секретарю обкома: «Вы людей собрали, вы и извиняйтесь».

По поводу такого рода демократизма я напомнил Александру Трифоновичу о манере Сталина, который в своей работе о языке клеймил последними словами «аракчеевский режим» в языкознании. А на деле вместо Марра и Мещанинова наукой стал управлять В. В. Виноградов.

— Да, об этом в ту пору даже романы писали... У нас все держится на полуправде. Она почтеннее, чем ложь. Сказать правду — значит совершить что-то непристойное, испортить воздух, например, в приличном обществе. Ничего нельзя сделать до тех пор, пока существует такой порядок: если человек написал в названии статьи «семилетка», то уже нельзя ему сказать, что он дурак и подлец. Один чудак верно заметил, что забота о писателях при социализме поощряет огромное количество бездарностей.

Читали вы о Г-ве в «Литгазете»? Когда о таком поэте пишут всерьез, с таинственными недомолвками — это дурной знак.— Разговор сделал еще виток. Александр Трифонович сказал:

— Тут я должен был выступать на совещании, название которого никто не умеет правильно произнести. Ну, как вы скажете?

— Ударников коммунистического труда?

— Не-е-ет. Совещание передовиков соревнования за звание ударников коммунистического труда. Так-то. По-бюрократически верно, а уху непереносимо. Так вот, меня просили выступить там с речью. Уговорили, я стал думать и вдруг сообразил, что я должен выступать в прениях после Никиты Сергеевича, а следовательно — толковать про Френсиса Пауэрса *, про которого все все уже знают и говорить больше невозможно. Я позвонил зав. отделом, ко-

* Американский летчик, сбитый над территорией Сибири во время разведывательного полета,— эпизод, сорвавший «встречу в верхах» в Париже.

торый мне речь заказывал (Д. А. Поликарпов? *), он неглупый человек, и говорю ему, что выступать не могу. А он: «Как так, вы нас подводите, вы должны были один говорить от всех „искусств и ремесел", а всего-то 9 человек выступающих. Мы это выступление не дублировали» и т. п. Я ему объяснил, что выступать не могу, и с тем уехал на дачу. День был чудесный, и было что на даче делать, а вот же — с утра сел писать речь. Думаю, напишу, чтобы показать потом черновик — что я не по лени и не по пьянке отказываюсь, а просто выступать с этим не хочу. Стал писать, и выходит что-то такое скверное, такое скверное, какого никогда не писал. Пока карандашом набрасывал, еще ничего казалось, а как стал перебелять чернилами — в ужас пришел. Так и лежит у меня в столе эта бумага памятником несчастного дня.

Говорили еще о Саце, о его талантливости, о нелепости его жизни. Я передал недавний разговор с ним, что он готов писать воспоминания о Луначарском, только не для печати.

— А по ходу дела он и от себя мог бы многое сказать,— подхватил эту тему Твардовский.— Только я боюсь, что он уже с этим не сладит. Он и работу себе берет только в том случае, если она удовлетворяет двум условиям: самая трудоемкая и самая малоденежная. То же и с квартирой. Я говорил за него, просил, устраивал. Надо было ему только раза два самому появиться пред очи начальства, а он не хочет. Я боюсь даже, что ему дадут двухкомнатную квартиру, а он откажется ехать, скажет «далеко» или что-нибудь вроде... Есть такой рассказ: пьяница самым решительным образом бросает пить — за выпивкой. Вот и Сац так собирается писать воспоминания. Вы ведь, верно, с ним за рюмкой говорили? А писатель должен это желание не терять и наутро, с похмелья.

...Говорили еще о новом народившемся культе, о том, что Ленину эти формы прославления внутренне чужды были. И о тех говорили, которые кадят.

— Если бы вы знали, Владимир Яковлевич, что это за люди. Идеологическими вопросами у нас ведает Поспелов. Это человек, у которого рот всегда приоткрыт. По этому поводу в народе недвусмысленно говорят...

Кончить он не успел. В этот момент вошел Б. Г. Закс, и Твардовский ладонями стукнул по ручкам кресел («Вот так!»), давая понять этим решительным жестом, что доверительный разговор кончен.

— Так вы все сделайте, как мы договорились, со Щегловым...

Я встал и простился.

3. VI. 1960

Рассказывают про похороны Пастернака в Переделкино. Народ шел мимо гроба 5 часов подряд, потоптали клумбы, цветы в саду. Вдова Пастернака отказалась от помощи Литфонда. Отпевали его в

---

* Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905—1965) — заведующий Отделом культуры ЦК КПСС.

церкви. На похоронах были Дм. Ник. Журавлев, Вс. Иванов, дети Чуковского, К. Г. Паустовский, Л. Славин. Гроб несли на руках до могилы. Выступал один В. Ф. Асмус. Он сказал, что, несмотря на «своеобразный взгляд на действительность», Пастернак никогда не был врагом советской власти. Кликушествовали какие-то девицы. Один человек закричал: «Его всегда любил и знал рабочий класс!» Нелепость. А если и не любил, и не знал?..

4. VI. 1960

Читать газеты все неприятнее. Запорожская брань Хрущева против «империалистов»... А дела, видно, запутываются все больше.

6. VI. 1960

Часа в 4 зашел ко мне домой Сац и сказал, что Александр Трифонович ждет нас у ворот: «Ему хотелось бы с вами поговорить». Мы вышли. Твардовский ходил вдоль забора с афишами и, увидевши нас, пошел сразу навстречу, улыбаясь. (Потом сказал, что, прогуливаясь в ожидании вдоль ограды, сообразил, что надо выкинуть 5 строк из «Далей»,— значит, поработал.)

Пошли в ресторан на Петровку, и неудачно. Потом пешком по улице Горького не торопясь добрались до «Софии».

Александр Трифонович — веселый, бодрый, много рассказывает, шутит. Но настроение его стало, пожалуй, резче, определеннее и мало напоминает то, в каком он был, оканчивая поэму.

По дороге рассказал о Джамбуле, о его выступлении на юбилее Пушкина, кажется. Старик пел что-то непонятное, а переводчик явно за него фантазировал.

«Поганая статейка»,— сказал Александр Трифонович о статье в «Литературе и жизни» по поводу Виктора Некрасова.

— А про критика Дымшица кто-то у меня спросил: «Это тот Дымшиц, что написал исследование „Образ Берии в народном творчестве“?»

Обаятельно рассказывает Александр Трифонович! Хитро прищурит глаз и слегка, без нажима показывает людей. Так он изобразил нам недалекого Спасского из отдела публицистики «Нового мира».

— Когда со мной спорят в редакции, я в шутку говорю: «А я думаю, главный редактор не зря на 225 рублей больше вас зарплату получает». Вижу, все поняли шутку, а на лице Спасского: «В самом деле, партия знает, кому доверяет».

Говорили о том, что такие вещи, как порядочность, долг, совесть, ценились еще довольно высоко во времена Ленина. А сейчас как-то не важны.

Александр Трифонович рассказал, что читал главы из «Далей» в редакции «Правды». Все осторожно и молча сидели, слушали, потом так же осторожно говорили.

Абалкин * или Сатюков, кто-то из них, сказал, что читал этот текст три раза и только в чтении автора понял.

* Абалкин Николай Александрович — многие годы заведующий отделом литературы и искусства в «Правде».

— Я слушал молча, что они говорят, и думал: «Только бы не сорваться». Пытался сказать им о Тендрякове, что погано было так его ругать (в «Правде» была резкая рецензия на «Тройку, семерку, туз», опубликованную в «Новом мире»). «Мы найдем способ дать нравственное удовлетворение писателю»,— отвечали мне. Потом ехал с одним из сотрудников газеты в машине, и он мне сказал, что больше всего из моих стихов любит «Я убит подо Ржевом». Значит, не все человеческое в нем погасло.

В Гослитиздате «Дали» редактирует М. Б. Козьмин.

«Странный молодой человек. „Это, говорит, у вас неверное согласование". Или: „Это не по-русски", „это неправильно". Да, неправильно. Вот я и хочу, чтобы так неправильно было... Тут типографскую машину уже пустили, а мне захотелось еще внести изменения. Я сказал в издательстве об этом. Мне отвечают: „Не советуем. Иначе вы, как автор, понесете большие материальные убытки". „Так гонорара хватит?" — ответил я. На том разговор и кончился».

Александр Трифонович с любовью говорил о своем саде во Внукове.

— Есть в этом сладость — помогать природе. Какой-нибудь ряд елочек завершу, или этот куст — туда, тот — сюда... А тут по случаю купил необыкновенно удобную тачку...

Вдруг позавидовал моим годам. Быстро прикинул что-то и сказал:

— Сколько вам еще работать? Лет пятьдесят?

И вспомнил свою литературную молодость, рассказывал, как впервые приехал в Москву и разыскивал Олешу.

— Вот все время думаю, как быть. Совмещать свою работу с журналом трудно. Журнал идет тихо. Я за это время по поводу «Далей» получил больше писем, чем за весь год по журналу. А и журнал бросить жалко. Ведь вот тянутся сюда люди на огонек. Вчера Елизар Мальцев принес роман в трех томах. Печатать его не будем, но все же дорого, что человек сначала нам тащит, потому что думает, что написал важную вещь.

— Б. Г. (Закс) и А. Г. (Дементьев) все за меня боятся. Как бы не подвести. А чего бояться? На костер я и сам сумею взойти.

— Недавно в «Литературке» кто-то хвалил Грибачева за то, что он «умеет ненавидеть». Вот так похвала поэту! Вообще, неловко об этом говорить, в науке, кажется, это даже почетно, если кто у кого заимствует. А мне всегда неприятно встречать свои слова и строчки у Грибачева. Он дрозд-пересмешник. Это особый талант. Иногда употребишь какое-нибудь редкое слово, какое и знают только в белорусско-смоленском обиходе или употреблялось оно последний раз лет 150 назад,— смотришь, оно у Грибачева тут как тут.

К тому же приладился очерки о загранице писать. Понять, что представляет собой страна, за несколько дней очень трудно, я по себе знаю. А ему легко. «Мне довелось побывать...» — так обычно пишут. «Довелось» — значит, наконец-то пришлось посетить святые места. А они могут написать: «Мне довелось посетить отхожее место».

Я заметил тут, что поспешное познание иноземных краев черта не одного Грибачева, а, пожалуй, знамение времени.

— Это так, я понимаю, что вы хотите сказать,— откликнулся Твардовский.— Но Никита Сергеевич говорит порой хотя бы ясные, простые вещи: «Давайте торговать» и т. п., и это действует.

Александр Трифонович рассказал также с юмором о профессоре, у которого училась его дочь. Она к нему относилась с почтительным обожанием ученицы. А он выпустил книгу о подполье и просил отрецензировать ее в «Новом мире».

— Я прочитал книгу. Что же оказалось? Кроме всякой научности, в ней содержится сообщение, что сам автор произвел важное открытие. Он исследовал внешний вид одной старой скомканной прокламации и при помощи детального анализа смог установить, что прокламации прятались в надежном месте, а именно — в нужнике. Я сказал: «Знаешь, дочка, может, он и ученый человек, но рецензировать мы его не будем».

Твардовского, видно, осаждают десятки людей. Вот его рассказ о посланце «от Недзвецкого».

— Я работал на днях в саду, в спецовке. Подходит от калитки человек. «Вы будете Твардовский?» — «Я буду».— «Лично?» — «Лично».— «Так вот, я от Недзвецкого».— «А кто такой Недзвецкий?» — «Как, вы не знаете Недзвецкого?» — «Представьте, нет».— «А он вас знает».— «И что?» — «Да я застрял без денег, не доехав три станции до Москвы. Везу вагон черешни с юга, и три кошелки Недзвецкий велел вам доставить». Я хорошо знаю эту популярность, последствия которой испытывает всякий футболист или киноактриса. И сразу спросил: «50 рублей хватит?» — «Хватит».

Июль 1960 г.

(Приведу выдержки из дневника, которые хотя и не относятся к Твардовскому и журналу, но рисуют время, в которое это происходило, и мои суждения тогда.)

Встретил Олега Михайлова. Он спешит на заседание критической секции в Союз писателей. Намечается сенсация. В прошлый раз на заседании разгорелся спор — есть ли «битники» среди советской молодежи или их придумывает Аксенов с компанией. Литературные старухи (Кедрина, Книпович) кричали: «Нет, молодежь монолитна». Олег же мобилизовал где-то длинноволосых молодых людей и готовит эффект: «битники» будут представлены в натуре, как неоспоримый аргумент.

Читаю газеты, и все противнее от лжи, которая с каждым днем гуще. Недавно в электричке увидел: кто-то развернул газету под названием «Мытищинская правда». Подумал: как это глупо, что у пионеров своя правда — «Пионерская...», у комсомольцев — своя, у Москвы — своя, у Жиздры — своя, и даже у Мытищ есть своя «Мытищинская правда». А правда-то одна.

Накал истерии в мире, разгорающаяся вражда с Китаем. Культ (Мао) пошел на культ (Хрущева) — и двум культам не бывать. Наши глупят, хвастаясь перед всем миром, сбивая самолет над нейт-

ральными водами и отказываясь идти на международный суд. Легковесность и произвол в политике.

Как-то в середине июля встретил Твардовского и С. С. Смирнова под лестницей у гардероба в Союзе писателей.

— Вы нас за швейцаров, верно, приняли,— посмеялся Александр Трифонович.— А мы сидим тут, разговариваем в холодке.

Заговорили о Марке Щеглове (я и шел в Союз за какой-то бумагой по его изданию).

— Здорово он тогда Леониду Максимовичу Леонову всыпал,— сказал Смирнов.

— Да, какая хорошая была статья,— поддержал его Твардовский.— Помнишь, как он писал там, что в простом лесу, где землянику собирают, все же лучше, чем в символическом. И потом: почему **русский** лес, а не татарский или еврейский?

Тут подошла Шагинян *, направила свой слуховой аппарат на Твардовского и врезалась в разговор.

— Что же Вы, Александр Трифонович, не сказали главного на съезде учителей. Ведь мы вам давали трибуну от всех писателей. Вот почитайте в «Известиях», что я на эту тему пишу.

Твардовский выслушал ее учтиво, ничего не возразил, но видно было, как его повело от этой бесцеремонности.

Был на днях у И. А. Саца, который рассказывал, что Александр Трифонович пребывает в мрачном настроении. У него умирает теща в Смоленске. К тому же совещание Хрущева с интеллигенцией не привело его в восторг. На снимке в «Литгазете», оказывается, изображен не он. На этот раз Маргариту Алигер Хрущев лобызал, забыв, как ругал ее прежде (или именно поэтому), символическими поцелуями, адресованными всей литературе.

24 июня в ресторане «Прага» Александр Трифонович созвал на свой юбилей (ему 50 лет) сотрудников «Нового мира». Были приглашены все, вплоть до машинисток и курьеров. В качестве «личных гостей» юбиляра присутствовали на этом торжестве И. А. Сац, Андрей Турков, Ираклий Андроников и я. Было весело, пьяно, хорошо. Александр Трифонович взял слово вторым (кажется, после Дементьева, сказавшего вступительную речь) и просил, чтобы чествование не получило юбилейного («я даже не хочу произносить этого слова») оттенка. «Не возбраняются личные темы, воспоминания, критика и самокритика. А чтобы покончить с первой частью, давайте еще раз выпьем за меня и больше к этому возвращаться не будем». Все рассмеялись и стали чокаться с Александром Трифоновичем. Далее

---

* Не могу удержаться и не привести позднейшую гениальную эпиграмму, автора которой не знаю:

Железная старуха
Товарищ Шагинян,
Искусственное ухо
Рабочих и крестьян.

старейший член редколлегии «Нового мира», исторический романист Сергей Николаевич Голубов, бородатый, крепкий старик, говорил тост «как историк». Он сказал, что надеется, что через 100 лет будут вспоминать и изучать журнал «Новый мир» и деятельность Твардовского как редактора.

Андроников взял слово для забавного рассказа о встречах с Твардовским во время войны. Вспоминал, как Твардовский сказал ему, прочтя какой-то его рассказ: «Как ты меня огорчил! Я думал, что ты напишешь по крайней мере „Дон-Кихота", а теперь я вижу, что Сервантес из тебя не получился».

Потом за столом пели, с Александром Трифоновичем во главе хора, «Летят утки», «Калинушка», «Метелки вязали».

Разошлись поздно, веселые и хмельные. Я долго блуждал арбатскими переулками, потом по пустым предутренним улицам вернулся домой.

С И. А. Сацем ездил в Подольск к Ив. Ив. Горобцу, его другу военных лет, разведчику в прошлом. Теперь он мастер Подольского механического завода и сетует на всеобщий развал. Качество продукции все хуже и хуже, швейные машины, которые они выпускают, не хотят шить. (На заводе уничтожили ОТК и всем выдали, как это сейчас в моде, личные клейма — в результате идет один брак.)

В городе снабжение скверное, с утра очереди за молоком. То, что у горожан отняли коров, многое подорвало. В нарушение Указа много коров забили на мясо, представляя фиктивные справки. Да и те коровы, каких погнали в колхоз, не дают столько молока, сколько было у прежних хозяев.

18. VIII. 1960

С Твардовским столкнулся на днях на пороге «Нового мира». Он рассказал, что дважды ездил в Смоленск, похоронил тещу и теперь только в августе будет отдыхать.

Я пожаловался ему на безотрадный труд редактирования статьи Б. Мейлаха «Уход и смерть Толстого». (Озерова, по настоянию Твардовского, загружает меня такой внештатной работой.) Рассказал, что Мейлах почему-то считает это сенсацией, хотя сенсация в этом вопросе может быть лишь такого рода: доказать, что Толстой не уходил из Ясной Поляны либо что он не умирал.

Александр Трифонович стал развивать эту тему и очень смеялся предположению, что Толстой не умер, а живет где-нибудь инкогнито бородатым колхозником, а Мейлах тем временем вызывает его дух.

Он посочувствовал мне, что я порою дрянь редактирую.

— В медицине это называется... забыл, как латинский термин, но по-русски — отравление говном. Это заболевание я по себе хорошо знаю — иной раз такого начитаешься...

Пообещал прислать в подарок «За далью — даль», вышло отдельное издание. Всегда радостно встретиться с ним: минут пять потолкуешь — и на душе легче.

Приведу еще запись дневника от августа 1960 года, говорящую о том, как я томился уже в эту пору университетскими «штудиями» и как хотелось деятельности пошире.

«Думал о том, как запорашивают люди себе глаза тем, чем они в данную минуту заняты. Я копаю, к примеру, навозную яму — и больше этого интереса сейчас не имею. И забываю, что наверху, в комнате, за столом, меня ждет работа, несоизмеримая по важности.

Можно испытать доподлинный восторг, починив примус и — закончив прекраснейшую поэму. Это свойство сосредоточенности, требуемое любой работой, коварно. Иногда оно не дает оглянуться и спросить себя: что это я? Зачем трачу время на чепуху, когда столько на свете интереснейшего и важнейшего?

Можно уткнуться во что-то малое, частное даже в науке и потерять масштаб. Думать, например, что важно доказать, кому принадлежит захудалая анонимная рецензия, напечатанная в журнале прошлого века,— Ап. Григорьеву или Эдельсону?»

(Такую именно статью напечатал я в те дни в журнале «Филологические науки».)

16. X. 1960

На днях встретился у И. А. Саца с Твардовским. Он озадачен неприятностями в «Новом мире», но после отдыха — веселый, бодрый.

Пришел к Сацу как раз с обсуждения новой повести Тендрякова *. Повесть антирелигиозная, Александр Трифонович пересказал ее сюжет. Учитель находит дневник девочки, где та записывала разные мысли на религиозные темы: «Бог — это добро и справедливость» и т. п. Девочку начинают тягать, обсуждают на собраниях. И автор не на стороне девочки, а едва ли не на стороне ее преследователей. Религия у Тендрякова — псевдоним догматизма, но в повести все получается шиворот-навыворот.

— Если писать о религии,— рассуждал Александр Трифонович,— то специально, серьезно. Даже у великих, которых это очень занимало, у Толстого, Достоевского,— это обычно не главная тема. Чехов был прав, когда говорил, что конец «Воскресения» фальшив. Это вроде тех советских романов, которые заканчивались — была такая мода — изречением, почерпнутым из «Краткого курса» или из речей Сталина: «И герой почувствовал, что это было для него делом чести, делом славы, делом доблести и геройства».

Александр Трифонович огорчен проделкой Арагона, которого просили написать предисловие к переводу «Чумы» А. Камю, а он подал донос, что «Новый мир» собирается проповедовать фашиствующих писателей. Теперь «Чума» — а говорят, замечательный роман — долго не увидит у нас света.

Смеялся над Заксом: как он, ответственный секретарь, не заметил, пропустил рифму в названии одной из напечатанных в пос-

---

* Повесть В. Тендрякова «Чудотворная».

ледней книжке журнала статей: «Дмитрий Рудь. Вот наш путь». Закс оправдывался, что изменить-то было нельзя: «Вот наш путь» — цитата из речи Хрущева.

— Но, вероятно, и в моих сочинениях таких цитат можно наскрести сколько хочешь.

У меня в гостях В. П. Некрасов... У него скепсис по отношению к «Новому миру» и Твардовскому как редактору: «Распугали писателей и печатают дрянь».

1961

ИЗ ДНЕВНИКА

24. III. 1961

Спорил с А. Г. Дементьевым по поводу рецензии на повесть Ф. Абрамова («Безотцовщина»). Он до крика дошел: «Вы думаете, что все понимаете, что у вас цельная философия — а ее нет». Выпустил пар и сказал вдруг слабым голосом: «Ну, оставляйте так, вам же хуже». Я горячо согласился. Он понял, что промахнулся, и стал говорить о том, что я не беру в расчет, как трудно вести журнал. Ведь есть «писатели», которые пишут не для печати и в одном экземпляре, и есть «читатели», которые читают журнал не ради удовольствия, а по службе. Вот это ближе к правде. Обычное редакторское опасение, хотя А. Гр. симпатичнее большинства — умен и даровит. «Вы думаете,— укорял он меня,— вот вы там, редакторы, зажимаете, не пускаете нашего вольного слова — а ведь у вас сплошная неясность». Я отвечал, что, если начну разъяснять в рецензии все, что думаю, он пуще испугается.

ПОПУТНОЕ

Сколько помню, спор этот шел вокруг проблемы руководства. Повесть Абрамова давала повод рассуждать о том, что не надо понукать людей, они работают хорошо тогда, когда над ними нет начальственной палки. Эта робкая мысль и смутила Александра Григорьевича, испугавшегося, что статью поймут как отказ от партийного руководства.

Вообще с Дементьевым спорили мы часто, но меня, как и многих, подкупало его большое человеческое обаяние, неподдельная любовь к литературе, особая, простодушно-искренняя манера говорить, за которой, случалось, прятались хитринка и осторожность, содержащиеся уже в лимфе.

«Ну, что, мыслишь?» — «Ну, правильно». «Все пишешь небось об Экзюпрюи?» (Он нарочито искажал имя Экзюпери, о котором я тогда написал рецензию, будто посмеиваясь над «изысканностью» моих вкусов.)

«А я по-своему, по-старому, по-талмудически рассуждаю...» — таков был его обычный стиль общения.

В похвалу Александру Григорьевичу еще скажу, что помимо литературного вкуса и больших знаний у него был запас здравого смысла и легкая отходчивость: обычно мы мирились с ним уже на другой день.

В марте 1961 года я получил приглашение пойти работать в «Литературную газету». Должность была — зам. редактора отдела русской литературы, заведующий отделом критики. В газете я проработал год с небольшим и никогда не пожалел об этом — хоть и вертелся с 10 утра и часто до 11 вечера (газета выходила 3 раза в неделю и накануне выхода номера сидели допоздна), зато это был необходимый опыт, без которого в «Новом мире» потом я чувствовал бы себя неуверенно.

Заведовали отделом — сначала Ю. Бондарев, тогда молодой автор двух нашумевших военных повестей, и потом — еще более молодой и пока не отличившийся в критике Ф. Кузнецов. Редактором газеты был В. А. Косолапов, сначала сильно страдавший от своего положения «и. о.» и долго не утверждаемый начальством.

Состав отдела был занятный: поэзией заведовал Булат Окуджава, чьи песни тогда лишь начинали петь. В критике работали — Б. Сарнов, С. Рассадин, И. Борисова. Но особенно забавно сейчас вспомнить состав наших так называемых консультантов, получавших небольшую плату за ответы на письма читателей и все время околачивавшихся в редакционных коридорах. Это были: покойные ныне ученики Паустовского — Борис Балтер и Лев Кривенко, а также Владимир Максимов и Наум Коржавин. Помню большую комнату отдела — и в ней дым коромыслом: накурено, все кричат (и громче всех Коржавин), читают стихи. То и дело забегали к нам «на огонек» Ф. Искандер, В. Аксенов, А. Вознесенский — вся тогдашняя молодая литература. Большинство наших приближенных авторов участвовали в нашумевшем альманахе «Тарусские страницы» — и страсти вокруг него кипели вовсю.

Я отличился в первые же дни, напечатав рассказ В. Максимова «Искушение». Будущий редактор «Континента» был впечатлительным, нервозным молодым человеком. По природе отзывчивый, он легко ожесточался от неудач, начинал мучительно пить, и сотрудники отдела по-товарищески хотели ему помочь. Мне стоило труда уговорить газетное начальство поставить этот рассказ в номер. Дело облегчила моя незапятнанная репутация нового человека, да еще с университетским прошлым,— ответственный секретарь сдался и, как оказалось, зря. «Правда» немедленно откликнулась на рассказ возмущенной репликой, и Косолапов смущенно выговаривал мне: «Ведь вы, по существу, еще месячного испытательного срока не прошли, а такое дело...»

Спустя некоторое время второй конфуз: я был назначен дежурным редактором, Косолапов уехал в театр, и я без него подписывал номер. Из театра Косолапов заехал на Цветной бульвар

взять свежую газету; поздравлял с боевым крещением, благодушно пил чай, а когда мы разъехались, по дороге на дачу обнаружил грубую опечатку на первой полосе, в приветствии правительства спортсменам. Повернул машину, остановил печатанье, замял буквицы, а на другой день укорил меня: «Я же вам говорил — можете ничего не читать, но официальные документы и речи Хрущева надо вычитывать по пять раз...»

Вскоре наш отдел получил репутацию бунтарского, пропитанного ревизионизмом. Нам удалось напечатать несколько ядовитых статей — К. Буковского против нового романа Бабаевского, статью Е. Суркова с критикой Кочетова и т. п. И начались гоненья. Ф. Кузнецов хитроумно лавировал. В редакции появлялся не очень часто, ездил в какие-то командировки в Чехословакию и проч., в промежутках же писал письма Поспелову и Суслову, воюя со своими противниками в редколлегии, которые плели против него интриги, и сам чем-то оплетал их. Особенно яростно пришлось ему отбиваться, когда газета напечатала вызвавший бурю «Бабий Яр» Евтушенко, направленный против антисемитизма.

Пока шли эти баталии и Ф. Кузнецов занимался тайной дипломатией и перепиской с влиятельными особами, я, как говаривали замоскворецкие купцы, «держал лавку», занимаясь черновой практической работой в отделе.

Вскоре все это стало мне надоедать. К тому же редколлегию газеты начали «укреплять» такими «персонажами», работая с которыми мудрено было напечатать что-нибудь свежее. Вот несколько выдержек из дневника поры моего пребывания в газете, которые рисуют отчасти литературную обстановку того времени.

Апрель 1961 г.

В «Литгазете» делят стихи, статьи и проч. не на хорошие и дурные, талантливые и бездарные, а на «проходимые» и «непроходимые».

«Проходимые», как видно, пишутся проходимцами.

У И. Борисовой — два списка на столе под стеклом: список «подонков» и список «пайщиков». Если грядет юбилей, скажем, Кочетова, она ищет «автуру» среди подонков. Если Твардовского, к примеру,— о нем будет писать «пайщик».

Антагонизм «Литературной газеты» и «Литературы и жизни» (сокращенно — «Лижи»). «Литгазета» — на стадии «Чего изволите?», а «Лижи» — «применительно к подлости».

Владимир Максимов — с изуродованной кистью руки — здоровается странно. Встрепанный, нервный, с горящими глазами, желтыми, как у рыси, и с постоянной нотой обиды в голосе. Видно, всерьез талантлив. О. Прудков и Косолапов не хотели его печатать, боялись, потому что верили слухам, будто он написал повесть «с душком». Косолапов меня специально звал и запугивал на этот счет. А парня жаль — мы его напечатаем.

Июнь 1961 г.

Заходил в «Новый мир». Разговор с А. Т. Он встретил меня словами: «Вот, не показывается! Расскажите, как живете». Я рассказал о газете, об истории с рассказом В. Максимова и т. д.

«Неудивительно,— реагировал Твардовский.— У нас церковь отделена от государства, а к государству присоединена литература. Для этого придуман Союз писателей. Членство в Союзе писателей — это пожизненная рента».

Говорили об общем сползании вправо, о сельском хозяйстве, о коровах... «Я получаю такие письма, что просто заболеваю».

Я сказал, кто первый за это в ответе, о новом культе. «Меня уже на этом не проведешь,— отозвался Твардовский.— У них главное — подвести черту. При жизни увидеть идею воплощенной любыми средствами».

Говорили о бесперспективности борьбы с очковтирательством в сельском хозяйстве и проч. Была немая просьба сверху — втирать очки, вот их и втирали.

Я пересказал щедринскую историю о «фантастическом путешественнике» Фердыщенко, о его рекомендациях сажать горчицу. Трифоныч хохотал в голос. Потом посерьезнел и сказал: «Почему, в самом деле, думают, что мужик дурак, что его нужно учить, что сеять, когда сеять?» Распалился, говоря о том, что у колхозников отнимают паспорта, что нет простейшего свидетельства свободы — вида на жительство.

Коснулся и журнала: «Нас ругают. Я возмущался когда-то, говорил Суслову и другим, что уйдем, если неугодны. А потом понял, что так нужно, чтобы был один такой журнал, который бы ругали, но не закрывали».

И словно спохватившись: «Но я оптимист. И верю, что через всю эту нелепость мы идем к доброй цели».

Вспомнилось: «Ветер века, он в наши дует паруса!» Коли бы не благое заблуждение...

20.IV.1961

Говорил с Ю. Бондаревым. Он рассказывал о романе «Тишина», который хочет печатать в «Новом мире». Говорит — дело идет к концу, написал 380 страниц, осталось страниц сто. Затрудняется, чем кончить. У героя должны арестовать отца, его гонят из института, и он едет на какую-то шахту в Казахстан. Там секретарь райкома с ним поговорил и вдруг в него поверил.

Я не выразил энтузиазма, услышав о таком конце. Бондарев почуял это и сказал, что сам еще не решил, чем кончить,— может быть, просто уходом героя из института. Но сам Юра был когда-то на шахте, ему хочется об этом написать. Может быть, это будет 2-я книга, продолжение. Хотя тут же оговорился, что тащить героя в следующую книгу не любит. Смысл его романа: два человека, подлец и хороший человек, но никто не побеждает: и подлец остается, и хороший.

Ноябрь 1961 г.

В газете новое лицо — Юрий Барабаш, неожиданно для всех назначен заместителем главного редактора. Явился он с Украины, из журнала «Прапор», кто его сюда перетащил — остается загадкой. Закрылся в кабинете и изучает личные дела. Сотрудниками принят в штыки. Возмущает его провинциальная манера решать судьбу статьи с помощью мычания и пожимания плеч. Ему неведомо искусство аргументации. Он только кожей чувствует, что «не то», и глухо сопротивляется всему, что кажется «сомнительным». Удивительное существо этот молоденький, хорошенький блондин с голубыми навыкате глазами.

Прошел XXII съезд партии. Сталина вынесли из Мавзолея. Твардовский выступил с яркой речью.

Редакция пришла в волнение. Мы явились всем отделом согласовать свои планы с Барабашем как заместителем главного редактора. Он выслушал наши горячие речи о том, что XXII съезд требует от газеты иного уровня смелости и правды, и, играя толстым синим карандашом и глядя в стол своими выпуклыми голубыми глазами, сказал:

«Важно не то, какие речи раздавались на съезде, важно то, что́ через неделю напишет в своей передовой статье „Правда"».

Все притихли: этот мальчик знал неведомые нам тайны или, во всяком случае, верил, что «аппарат» определяет политику и что он выше съезда.

Все же что-то сдвинулось. Косолапов говорил еще недавно о кочетовском «Секретаре обкома»: «Нам не позволят крушить этот роман, неужели вы не понимаете». А все же критическую статью о нем мы напечатали.

Но Барабаш жаждет реванша. Хочет громить «Тарусские страницы». Б. Леонтьев, член редколлегии из самых мракобесных, на партсобрании кричал про наш отдел: «Гнать их!»

Зато снова стало возможным писать о Сталине и репрессиях. Б. Слуцкий принес в газету свои стихи 1956 года — «Бог» и «Хозяин»:

А мой хозяин не любил меня,
Не знал меня, не слышал и не видел.
И все-таки боялся, как огня,
И сумрачно, тоскливо ненавидел.

Б. Слуцкий рассказал, что возвращался с Твардовским в одном купе из Италии. Твардовский читал журнал со стихами Ал. Маркова и вдруг с яростью отшвырнул его. «Что же вы сердитесь,— сказал Слуцкий,— ведь он всюду на вас ссылается как на наставника».

«Мой грех, мой грех,— ответил, обмякнув, Александр Трифонович.— Я из жалости напечатал когда-то первые его стихи».

Начало декабря 1961 г.

Был в редакции «Нового мира», говорил с Твардовским. Он сказал, что прочел необыкновенную рукопись — «Один день одного

зэка». Взял слово, что я никому не скажу и возвращу рукопись через день-два. «Увидите, что это такое, а потом поговорим».

— Все, что сделано доброго в литературе, сделано без разрешения начальства; стоит только спросить: «Можно ли?» — и тебе запретят,— рассуждал Твардовский. Видно, он прикидывает возможности публикации этой повести.

Рассказывал с досадой, сколько теряется времени на разных заседаниях.

— Сижу, свечу глазами в сталинском Комитете по Ленинским премиям. Притом не подумайте, что даром. У них порядок — «пожетонные». Отсидел заседание — «жетон» — 15 рублей. Реплику в прениях бросил — 20 рублей. А с речью выступил — и того погуще.

Придя домой, тут же, вечером, я начал читать повесть о зэке — и читал, не отрываясь, пока не кончил. Жена читала за мной — я передавал ей странички. Вот это подлинность, и сила, и правда! Заснули мы, кажется, только в 4-м часу ночи.

Кто он такой, этот новый автор? Твардовский называл фамилию (на рукописи ее нет), кажется, Соложеницын *.

22.XII.1961

На пленуме в Союзе писателей (Большой зал ЦДЛ) я из зала следил за Александром Трифоновичем, сидевшим в президиуме. Он был сосредоточен, время от времени переговаривался со своим соседом Л. Соболевым, снимал и надевал очки. Делал доклад Г. Марков, призывавший к «доброжелательности». (Твардовский сказал мне потом: «А можно ли быть доброжелательным к недоброжелательности?»)

Как оказалось, Соболев спросил, наклонившись к нему: «Скажи, что — Стейнбек — прогрессивный?» — «А зачем тебе?» — «Я хочу в выступлении сказать „от и до", от Гомера до Стейнбека».— «Тогда уж возьми Фолкнера»,— посоветовал Твардовский. «Да, да, Фолкнера хорошо»,— согласился Соболев. «А ты его читал?» — «Да... Но позабыл»,— сказал Соболев. «Да ведь у нас почти ничего не переведено»,— заметил Александр Трифонович. «А-а-а»...

Потом Соболев пожаловался, что ему «плохо пишется».

— А ты меньше речей говори,— посоветовал Александр Трифонович.

— Не могу. У меня это с деятельностью желудка связано. Вот референт подготовит по областной литературе материал, я читаю речь, глядишь, и прослабило.

(Последнее Твардовский скорее всего выдумал — но смешно и верно.)

В перерыве к нему подходили один за другим люди с книгами,

* В первых записях так, неточно, передавал я написание непривычной фамилии А. И. Солженицына.

просили автограф. Он писал коротко: «От автора такому-то», писал с досадой, но никому не отказывал.

Углядев меня за спинами, сказал: «Вас я как раз хотел видеть» и увлек на лестницу. Однако и тут его атаковал автор какой-то статьи о Фадееве. Александр Трифонович начал объясняться с ним мягко. «Это исследование, вероятно, надо было сделать, и хорошо, что оно сделано, но в „Новом мире“ печатать его нельзя». Автор попытался настаивать. «Простите, уж я твердо знаю, что этого не следует печатать, не пытайтесь меня убеждать»,— сказал Александр Трифонович резко и повлек меня на площадку лестницы. Ему не терпелось узнать мое мнение о повести Солженицына. Я поделился своими восторгами, он радостно кивал. Мне пришло в голову, что проложить дорогу повести можно, напечатав отрывок в «Известиях». (Я рассчитывал на посредство М. Хитрова, моего товарища, работавшего в литературном отделе «Известий», который мог поговорить с Аджубеем.) Когда я изложил Александру Трифоновичу этот план, он сказал:

— Я сам об этом думаю. Напечатать повесть трудно, но я сделаю для этого все.

Твардовский рассказал, как на собрании подошел к нему незнакомый старичок с красными щечками, напоминающий Д. Д. Благого. Оказалось, цензор «Нового мира» — Виктор Сергеевич Голованов.

— Мы с вами знакомы только заочно, Александр Трифонович, я... (и он представился).

— А-а...— сказал Твардовский, не сразу поняв, с кем говорит.

— Обычно между редактором журнала и цензором отношения сложные,— сказал старичок.— Но я думаю, у нас будет полное взаимопонимание.

— Конечно,— отвечал Твардовский, наконец смекнув в чем дело.

(«Некрасов с ними в карты играл,— объяснил мне потом Александр Трифонович,— а я в карты не умею. Так уж надо хоть любезным быть».)

Цензор сказал, что ему не понравилось одно место в сатирической повести Татьяны Есениной (дочь Сергея Есенина напечатала тогда свою вещь в «Новом мире»). В одной из глав там в колбе выращивают коммунистического гомункулюса.

— Что делать, женская рука,— согласился Александр Трифонович лукаво.

— Женская рука, женская рука,— обрадованно подхватил цензор.

Он несколько подобострастно выспрашивал Твардовского, держа в уме, что А. Т.— кандидат в члены ЦК.

— А статья Марьямова о Кочетове * — это хорошая, партийная статья?!

— Я тоже так думаю,— охотно согласился Твардовский.

* В статье член редколлегии «Нового мира» А. М. Марьямов критиковал роман В. Кочетова «Секретарь обкома» (Новый мир. 1962. № 1).

— Я больше скажу, это научная статья!
— Да, это научная статья.
— Как я рад, что в главном мы сходимся,— ликовал краснощекий цензор.
— И я, поверьте, рад.
— Ну а по пустякам уж я вас тревожить не буду, договорюсь с Кондратовичем и Заксом...

Совсем гоголевский разговор. Но Твардовскому хотелось обольстить цензора, чтобы напечатать повесть, которую давал мне читать.

— Проводите меня вниз,— сказал Твардовский и, когда мы сошли по лестнице в раздевалку, добавил вдруг неуверенно: — А вам обязательно здесь оставаться?

Мы оделись и пошли искать такси. По дороге он рассказал, что накануне пленума Союза писателей собиралась партгруппа секретариата. Марков сообщил, что Суслов рекомендовал провести пленум «тихо», в полной «консолидации». Главный лозунг — «доброжелательность».

Завернули ко мне на Страстной бульвар и просидели с двух часов до семи, обедали, разговаривали, даже пели. Александр Трифонович пел «Шинель» из «Теркина» на мотив, как он сказал, услышанный еще во время войны от Б. Чиркова. Потом пошли смоленские песни: «Метелки», «Гуляй-гуляй, моя родная, в зелененьком саду...».

Он много и хорошо рассказывал, к сожалению, я многое позабыл и не сумею записать. Помню только — много говорили о Солженицыне и его повести, которую он с какой-то нежностью особой называет «Шухов». Говорили о полной ее безыскусности, в которой великое искусство. Вспомнил он сцены с кавторангом. Подхватил сказанное мной о талантливости самого замысла — показать обыкновенный и даже счастливый день, когда Шухову все удается. (Плохой художник нагнал бы мраку, и было бы черное на черном.)

Говорил Александр Трифонович об особом быте тюремном, который близок военному,— казарме, землянке. Рассказал, как на войне наблюдал однажды кашевара, добродушного, с бабьим лицом солдата. Он крутил кашу в котле и приговаривал: «Эх, кашка, кашка моя горемычная». А в этот момент подошел к нему Твардовский, который был корреспондентом армейской газеты, и сопровождавший его подполковник. Подполковник-солдафон вдруг напустился на повара: «Какая-такая горемычная? Ты понимаешь, что говоришь? Воевать за родину и за товарища Сталина — великое счастье!» «Так точно, великое счастье, товарищ подполковник»,— ответил кашевар, вытянувшись по швам. И такая тоска была у него в глазах, когда снова взялся он мешать свою кашу.

Потом Александр Трифонович вспоминал о детстве, как на подводе или, зимой, в санях возили его из деревни в Смоленск, говорил о матери и братьях. С горечью рассказывал, что всю семью, как семью кулака, свезли в дальний край, к Уральскому хребту, и среди зимы выбросили из вагонов в снег.

— Я случайно туда с ними не попал — в Москве был в тот год,

а потом назад в Смоленск вернулся... Вообще-то жизнь щадила меня. Один друг, вернувшийся **оттуда** (это был А. В. Македонов *, отсидевший срок), рассказывал, как на прогулке под конвоем в тюремном дворике шедший за ним их общий приятель стал повторять еле слышно, но чтобы тот понял: «Сашку не называй, Сашку не называй». Речь шла обо мне — а их мотали на допросах.

Рассказывал Александр Трифонович о своих дочках. Старшей (Валей) он очень гордится. Она занимается «Народной волей» и должна об этом писать главу в новую «Историю партии». У нее растет сын, внук Твардовского.

— Копаюсь на даче в земле, а рядом внук с лопаткой что-то лопочет, дергает за рукав. А я ему говорю: «Смотри и думай, смотри и думай».

Я спел ему свою песню — «Государь мой, батюшка». «А ты и это понимаешь»,— сказал Александр Трифонович, неожиданно перейдя на «ты». Сказал, что буду я когда-нибудь вспоминать его, как он вспоминает свою молодую дружбу с Маршаком. Разница лет у них была такая же, как у меня теперь с Александром Трифоновичем.

«Все только до мая»,— сказал Александр Трифонович какое-то непонятное пророчество. Говорил, что очки ему плохи, надо менять, и обиделся, когда я понял это лишь буквально.

Ругал Хрущева. Говорил, что нельзя ему заниматься указаниями крестьянам, что и как сеять. У главы правительства есть другие задачи.

1962

1.II.1962

В «Литгазете» нервно, неспокойно. После истории с публикацией «Бабьего Яра» Косолапов ополчился на Ф. Кузнецова и гонит его.

Горячие споры на редколлегиях и летучках с Барабашем, Г. Радовым, умным и изощренно хитрым А. Тертеряном. Последний ведет со мною разговоры «по душам» в своем кабинете, упирает на фатализм, а на редколлегиях употребляет свое остроумие и образованность для уничтожения лучших материалов. Все эти люди недурны в личном общении, но как сядут за длинный зеленый стол, откуда что берется!

Тут как-то вечером, скучая в ожидании прессовой полосы, Тертерян сказал мне: «Откровенно говоря, Владимир Яковлевич, я не верю в хорошие перспективы. Придется, видно, уходить всем. Но может быть, стоит остаться до пленума, чтобы досмотреть этот спектакль» (досматривал он «этот спектакль» еще лет двадцать. *Поздн. примеч.*).

В связи с категорическим требованием Косолапова уходить, Ф. Кузнецов сделал контрход: просил А. А. Суркова и других

---

* Македонов Адриан Владимирович (р. 1909) — критик, литературовед.

секретарей Союза писателей вмешаться и обсудить положение в газете гласно.

По просьбе Кузнецова я позвонил Твардовскому. Оказалось, что по поводу дел в «Литгазете» ему уже звонил А. А. Сурков. «Эта старая щука говорит: „Что-де происходит? Остается одна „Литгазета“ и „Новый мир“ из добропорядочных изданий, а теперь и газета уходит“». «Вот, Владимир Яковлевич,— продолжал Твардовский,— как времена меняются. Раньше Суркову казалось, что „Новый мир“ — это Карфаген, который должен быть разрушен, а теперь он сам непрочь отсидеться за стенами этого Карфагена».

Александр Трифонович подробно расспросил меня о Ф. Кузнецове, Барабаше, сказал, что посоветуется с Фединым и будет действовать.

Между тем Косолапов ведет себя бесцеремонно, Барабаш твердит, что наш отдел дает какие-то раздраженные, брюзгливые статьи. Снимают критическую статью о Бабаевском, держат мою рецензию на «дамскую повесть», статью Т. Трифоновой против романа Сартакова. Зато печатают через голову отдела к юбилею Кочетова подхалимский «всхлип» Чалмаева. Мы вычеркнули все же у него полемику со статьей А. Марьямова в «Новом мире» — и вообще восторги по поводу «Секретаря обкома».

Чалмаев нажаловался на меня Косолапову; тот еще попытался взять мою сторону — сказал, что я прав, вычеркивая «общие слова». «Нет, Валерий Алексеевич,— сказал со смешком Чалмаев,— есть такие **общие слова** о партийности и народности, которые надо не уставать повторять», и намекнул, что весь этот эпизод будет сегодня же известен Кочетову. (А Косолапов боится его и Грибачева — до дрожи.)

Март 1962 г.

Кто-то из чтецов подготовил «Теркина» и должен был читать на очередном «вторнике» в «Литгазете». Одновременно пригласили и руководителя танцевального ансамбля Игоря Моисеева рассказать о зарубежных гастролях. Пригласили и Твардовского.

Александр Трифонович вызвал своим появлением в редакции большое волнение. Но ему было не по себе среди незнакомых лиц. Бестактный ведущий сначала выпустил Игоря Моисеева с ансамблем, а Твардовского назвал... среди актеров. Потом длинную речь держал Игорь Моисеев — и это было неприятно Александру Трифоновичу: вроде бы он приехал на свой вечер, а тут... Он шепнул мне: «Давайте уйдем», и мы сбежали, так что чествовали его уже без нас.

Продолжили вечер на Страстном. Александр Трифонович рассказал, что по новому своему положению (он — кандидат в члены ЦК) читает документы Президиума. Много странных «закрытых» решений и постановлений. Например, о покупке дров («я уж думал, правительство дровами не занимается»), об обеспечении Москвы и Ленинграда мясом («значит, худо, если о других городах речи нет»).

— Ах, я должен написать про то, что сделали с деревней. Главная ошибка — когда был дан лозунг: «Сплошная коллективизация». Сплошная! И началось...

Уже не впервые, но на этот раз очень настойчиво приглашал меня в редколлегию «Нового мира». «Вы ведь понимаете, что хорошо и что почем? Зелинский, Перцов — этому вы цену знаете? Зелинский надувается и говорит: „Еще Монтень утверждал..." Ах, ах, „еще Монтень..." — и мы должны проникнуться сознаньем, что раньше Монтень, а теперь Корнелий Зелинский говорят нам важные вещи».

Александр Трифонович рассказал, что повздорил с Зелинским последний раз по поводу Есенина. Раньше Есенина они топтали, а теперь пишут как о классике советской поэзии. «Его называют поэтом русской деревни,— говорит Александр Трифонович,— но ведь это не так. Есенин — поэт городского мещанства, рано оторвавшийся от деревни и пишущий о деревне для города» (тут я не совсем с ним согласен).

Недавно Александр Трифонович ездил в Италию на Совет Европейского сообщества писателей *. Ехать, как рассказывает, не хотел.

— Я уж бывал там. Что мне там делать две недели, да еще без языка. Я вот к себе на Смоленщину езжу, да и то за две недели не могу понять, что там происходит, а тут Италия.

Случилось так, что в эти же дни, что мы виделись с Александром Трифоновичем, а он разочарованно говорил о поездке, пришел в редакцию И. Андроников, сидел целый вечер у меня в кабинете и упоенно рассказывал, как хорошо провели они время в Италии. Все спутники были хороши, но Твардовский — «на самой высокой своей высоте: добр, великодушен, весел, остроумен». Даже Вознесенского, стихи которого недолюбливает, не задирал. Твардовского горячо принимали, но главным образом не как поэта, а как редактора журнала «Новый мир». Журнал все знают, многое из него переводят. Твардовский был рад встрече с умными итальянскими коммунистами — Джанкарло Пайеттой и др.

Когда ехали по Европе, он смотрел на отлично обработанные поля и говорил: «За что русский мужик страдает?»

Александр Трифонович еще рассказывал мне: в Италии руководители ЦК и редактор «Унити» водили их в кабачок, запросто разговаривали обо всем, а секретарь по пропаганде, «ихний Суслов» (Джанкарло Пайетта), даже бравировал немного своим демократизмом. «А у вас так можно?» — спрашивал он.

По дороге из Италии в вагоне Александр Трифонович ехал с Л. Мартыновым и др. Видит вдруг — Мартынов губами шевелит.

* Судя по всему, это было 11—15 марта 1962 г.

Что такое? А стихи сочиняет. «А я уверен, что стихи делаются не губами».

Май 1962 г.

С Твардовским и Сацем встречались несколько раз в пустынной заброшенной квартире архитектора Жолтовского на улице Станкевича. Кажется, дом этот когда-то принадлежал Баратынскому. После смерти Жолтовского и его жены дебатируется вопрос — не сделать ли тут музей. А пока — квартира стоит неубранная, пустая, но со старинной мебелью. И на круглом мраморном столике мы расстилаем газету — и на нее все, что приносим,— колбасу, сыр, масло и непременно свежие калачи... Самые сладкие разговоры идут здесь. (Ключ от этой квартиры и разрешение посещать ее дала дочь Жолтовского, знакомая Саца.)

Твардовский смешно рассказывал о Маршаке. Тот просит его приехать в Ялту, говорит, что там тоска ему одному. Ни людей, ни разговоров. «Вот Художественный театр к Чехову ездил...» — говорит он Александру Трифоновичу. «А я не Художественный театр»,— отвечает Твардовский, разумея и вторую часть сравнения.

В Барвихе Александр Трифонович говорил за столом с зам. министра внешней торговли Борисовым. На вопрос, чем мы торгуем, Борисов с сарказмом ответил: «Чем торгуем? Хорями, белками да хренами мелкими». Мы должны были прикупать хлеб, а в Англии, Франции — свой хлеб, да еще и мясо на экспорт.

«Кто нами руководит?» — Александр Трифонович вспомнил Ф. Р. Козлова, который наверняка завивается у парикмахера, а когда к концу заседания вспотеет, кудри его разовьются — и он имеет жалковатый вид.

С обидой говорил Александр Трифонович о Э. Казакевиче, которому вернул рассказ «Враги». Казакевич прислал в ответ «продерзостное» письмо.

Солженицына Александр Трифонович давал читать К. Чуковскому. Переменив свой железный режим (он засыпает в 10 ч. вечера), старик запоем прочел повесть и написал нечто вроде рецензии под названием: «Литературное чудо». «Не то что Сурков,— отметил тут же Александр Трифонович,— который держал рукопись две недели, да так ничего путного и не сказал; некстати стал вспоминать, как видел где-то в ссыльных местах эстонцев».

И. Эренбург тоже в этой вещи мало что понял: сказал «неплохо, но ничего особенного, форма традиционна, а сцена кладки стены, труда Шухова — прямо в традициях социалистического реализма».

Рассказывал Александр Трифонович, как несколько ранее он обменялся письмами с Эренбургом (по поводу одной из первых частей книги «Люди, годы, жизнь»). Твардовскому показалось, в частности, что чуткого читателя может смутить, как автор «Падения Парижа» описывает свой отъезд из оккупированной Франции с двумя болонками (расписывая при этом густо все тяготы путешествия). «Маленькие комнатные собачки всегда считались у наше-

го народа приметой барства»,— написал Твардовский. Эренбург не остался в долгу. «Вы не брали на себя цензорских функций в более серьезных вопросах, так оставьте же мне и моих собачек»,— написал он в ответ Твардовскому.

Вообще я замечаю, что московская «либеральная» элита честит Твардовского на каждом шагу. Но и он, сказать правду, пилюли не золотит.

К. Чуковский прислал А. Т. свою книгу о языке: «Живой как жизнь», просил обратить особое внимание на некоторые страницы, которые здесь же и указал. На этих страницах были цитаты из Твардовского. Когда Александр Трифонович это обнаружил, то не был польщен, напротив. Чуковскому он ответил, что всюду, где он его цитирует, это неверно или невпопад. А во-вторых, Корней Иванович очень скверного о нем мнения, если думает, что он так вот, выборочно, читает книги.

4 мая, кажется, было заседание в ЦК у Ильичева *, где хотели мирить Твардовского с Кочетовым. Перед тем еще А. Т. говорил мне, что дело это невозможное, хотя он обычно и исповедует мудрость Савельича, советовавшего Гриневу поцеловать ручку у Пугачева: «Поцелуй да и плюнь, поцелуй да и плюнь».

Я так и не понял из его слов, что он говорил на этом заседании. Кажется, произнес довольно большую речь. Кочетов юлил, тщился показать, какой он благородный: не стал печатать в «Октябре» статью против Твардовского даже после марьямовской рецензии в «Новом мире». Хорош бы он был, если бы напечатал! Ему все кажется, что он и Твардовский — величины сопоставимые.

Ильичев давал оценку всем речам писателей на XXII съезде.

Твардовский, заявил он, правильно говорил о мастерстве. Кочетов обошел эту проблему. Зато вот Твардовский не вполне искренен (может, он что-то другое хотел сказать, но подвернулось именно это слово), когда в полемическом азарте больше говорит о мастерстве и правде, чем о партийности. Твардовский прервал его с места: «Я никогда не бываю неискренним, тем более не позволил бы себе этого с трибуны партсъезда. И даже секретарю ЦК не разрешу усомниться в моей искренности. Требую извиниться». Ильичев пытался сгладить возникшую неловкость.

Стихотворение Твардовского «Слово о словах» напечатано в «Правде» в День печати. Там есть строки:

«Все есть слова — для каждой сути,
Все, что ведут на бой и труд.
Но, повторяемые всуе,
Теряют вес, как мухи мрут».

И дальше: что подмена слов «словесами измене может быть равна»; «...я, как кощунства,— краснословья остерегаюсь как беды».

Увидев свои стихи в полосе, Твардовский сказал, пожав плечами: «Они думают, что к ним это не относится».

---

* Ильичев Леонид Федорович (1906—1990) — в 1956—1964 гг. секретарь ЦК КПСС, ведавший вопросами идеологии.

С большим увлечением говорил Твардовский о романе Томаса Манна «Иосиф и его братья», перевод которого прочел в рукописи.

16 мая 1962

У Маршака. Старик говорил о Солженицыне — об абсолютной художественной точности его повести. Кавторанг, когда ссорится с конвоем, будто чувствует еще на себе свои звания и ордена. Это как ампутированные пальцы руки, ноги — они еще долго чувствуются, будто ими можно пошевелить.

— Я написал Твардовскому, что опубликование этой вещи подымет весь уровень нашей литературы.

(Твардовский же говорил мне, что письмо Маршака показалось ему жидко; написано благородно, но хуже, скажем, отзыва К. Чуковского. Маршак хотел непременно прочесть письмо Твардовскому вслух. Тот сказал: «Да ведь ты мне написал; дай я и прочту глазами». Но он заставил меня все же читать вслух — чтобы ни одной крохи из сделанного не пропало,— стал жаден».) Это Твардовский называет «маршакизмом».

У старика весьма здравое понятие о нынешнем положении литературы, что он и высказал навестившему его Поликарпову: «Литературное ядро нельзя организовывать. Это дело само делается. Ведь вы не полезете внутрь атомного ядра указывать физикам, что и как там быть должно, не надо и внутрь литературного».

Старик лукав — «и истину царям с улыбкой говорит».

Маршак о царстве призраков, в котором мы живем:

«Если человеку разрешили надеть штаны с лампасами и погоны с крупной звездой, ему кажется, что он и стал генерал. Был так просто, человек, а тут — генерал. То же и писатели: если их печатают, награждают, увенчивают лаврами, то они и вправду думают, что они существа особые, что-то в них такое есть».

«Мы в царстве призраков. Собакевич мертвых расхваливал как живых. В ходу фетиши, а люди, которыми жива Россия,— были в лагерях, это Солженцев (так Маршак называл поначалу Солженицына) показал».

Маршак интересно говорил и о родословной «Одного дня»: от протопопа Аввакума по строгой простоте и мужеству.

17.V.1962

С Бондаревым говорил о его «Тишине», которую только что прочел в «Новом мире». Сильная сцена ареста отца. Я сказал, не утаив, и о том, что мне не нравится (округление в конце, в частности),— и он слушал смиренно, а если спорил, то спокойно и разумно.

31.V.1962

На собрании в «Литгазете» сидел как прибитый. Повышение цен на мясо и масло. Пусто, дурные предчувствия.

Видел Александра Трифоновича. К слову, рассказал ему присказку моего деда:

«Подумал — не говори, сказал — не пиши, написал — не печа-

тай, а напечатал — беги!» Посмеялись. Александр Трифонович сказал: «Нет, в конце надо бы так: „а напечатал — признай ошибку“».

Твардовский очень веселился рассказу о лекции в МГУ, где я читаю западному отделению краткий курс истории русской литературы.

Перелагая «Историю одного города» Щедрина и особо отмечая советы Фердыщенко по сельскому хозяйству, я описывал торжественную встречу его обывателями, бившими в тазы на выгоне. Все это довольно актуально звучит. В перерыве ко мне подошел староста курса, отвел меня в сторону и сказал: «Я-то все понимаю, Владимир Яковлевич, но очень не увлекайтесь, здесь в аудитории люди разные...» И чтобы завоевать мое доверие, прибавил: «Сам я только недавно демобилизовался... служил в органах».

На этих днях по инициативе Твардовского редколлегия «Нового мира» приняла два решения:

1. Просить секретариат СП СССР утвердить меня членом редколлегии по разделу критики.

2. Добиваться публикации повести Солженицына, названной по совету Твардовского «Один день Ивана Денисовича».

Оба решения приняты единогласно.

Теперь мое назначение в журнал зависит от секретариата. Однако, узнав о моем намерении уйти, Косолапов взволновался и стал делать отчаянные попытки удержать меня. Зачем я ему нужен? Но, видно, переход Ф. Кузнецова в «Знамя», а мой в «Новый мир» ставит его в трудное положение. Даже Барабаш, явно по его внушению, пытался меня отговаривать. «Нет, правда, ни одного вопроса, кроме, кажется, роли кибернетики в литературе, где бы мы придерживались сходных позиций,— сказал Барабаш.— Но мне с вами интересно работать. Не уходите — и мы будем дополнять друг друга».

Дополнять Барабаша мне отчего-то не захотелось.

Косолапов подстроил и вызов в ЦК к И. С. Черноуцану *. Два часа Черноуцан разговаривал со мной, сочувственно кивал, выслушивая мои сетования на бедственное положение «Литгазеты», и уговаривал меня там остаться. Намекал, что в газету придут скоро новые, свежие люди, которые составят оппозицию Барабашу, обещал сделать меня членом редколлегии. Но я остался при своем.

6. VI. 1962

Прислали бумагу секретариата СП — и я в «Новом мире».

5. VI — с Александром Трифоновичем и Игорем Александровичем провели вечер в ресторане «Будапешт», наверху. Александр Трифонович был сумрачен. Его обидел Корнелий Зелинский, приславший раздраженное письмо по поводу споров о комментариях к собранию сочинений С. Есенина. Твардовский стал было читать это письмо нам и объяснять свою правоту, но вдруг махнул рукой и бросил на полуслове. Видно, сильно раздосадован.

---

* Черноуцан Игорь Сергеевич (1918—1990) — заведующий сектором литературы ЦК КПСС.

Заговорили о Солженицыне. Александр Трифонович сказал, что напечатает его в 8-м номере. Он только что получил полторы странички отзыва о повести от Мих. Лифшица.

— Я с ним в ссоре был. Он иронически говорил о последних главах «Далей». А тут такое письмо! Значит, думаю, мы друзья, раз одно и то же любим.

Мне сказал:

«Читайте верстку — вы теперь полноправный член редколлегии. И чуть что стыдное — снимайте. Ничего не боюсь — стыда боюсь. Ведь журнал наш не в России только, а в Европе единственный».

«У нас в редакции, представьте, почти никто ответа автору сочинить толково не может. Не говорю уж о прошениях по начальству. Все я пишу. Пришел из „Известий" заведующий хозяйством и сказал иронически, поглядев мне в спину: „А это ваш главный писатель?" (От меня все к нему бумаги шли — то по поводу задержки номера в типографии, то по бытовым делам сотрудников.) Даже Софья Ханановна * говорит: „Все на 16-й том собрания сочинений работаем, Александр Трифонович. А когда будут 5-й, 6-й? Ведь без них и 16-го не будет"». (С. Х. Минц перепечатывает на машинке все сочинения Твардовского и хорошо разбирается в его литературном хозяйстве.)

Позлословили немного насчет «маршакизма». Старик заставляет читать ему вслух его же стихи. «Сколько энергии!» — то ли восхищался, то ли возмущался Александр Трифонович.

— Критики писали, что в «Стране Муравии» использованы ритмы старой английской баллады. Но моя поэма вышла за несколько лет до того, как появились знаменитые переводы Маршака, и он сам отметил ее ритмы. А у меня это откуда? Кто знает! Может, из хрестоматии Гербеля, которую я усердно читал в юности, а может, так, само собой...

Александр Трифонович рассказал, что недавно часа полтора говорил с Евтушенко, отобрал из предложенной им пачки стихов несколько стихотворений для «Нового мира».

— Он даровитый человек, но без большой культуры. Даже поэзии русской не знает. Спрашиваю его, разбирая стихи: «Зачем тут женская рифма?» Не может ответить. Это еще не поэзия, а импровизация. И потом — самоупоен... (Александр Трифонович произносит это не «самоупоён», а именно «самоупоен», и выходит насмешливо-ядовито.)

Александр Трифонович восхищается книгой Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», просит дать на нее рецензию. (Условились, что рецензию будет писать Соколов-Микитов.)

Не помню, по какому поводу Твардовский рассказал, как еще до войны ходил к кому-то из наркомов просить квартиру в Москве. Ютился он тогда в проходной комнате с двумя детьми. И тот

---

* Минц С. Х.— многолетний секретарь редколлегии «Нового мира» и А. Т. Твардовского.

сказал: «Дадим, как только освободится из-под врагов народа». Ехать в такую квартиру Твардовский отказался.

Александр Трифонович хочет просить К. Федина, как члена редколлегии «Нового мира», дать отзыв о повести Солженицына. «Я его заставлю написать. Скажу: все умирать будем, Константин Александрович!»

На словах Федин очень хвалил Солженицына: «Вы сами не знаете настоящей художественной цены этой вещи». Но написать на бумаге отзыв боится. «Ну, вот только не знаю, как вы это напечатаете? — сказал еще Федин.— А папе (т. е. Хрущеву) показывали?» — спросил он трусовато.

Александр Трифонович о вежливости: если тебе позвонили по телефону, разговор окончен и надо прощаться, ты не имеешь права первым говорить «до свидания», как не может хозяин первым начать прощаться с гостем...

8. VI. 1962

В редакции «Нового мира» Ж.-П. Сартр и Симона де Бовуар. Сидели за длинным столом — маленький, щуплый, в очках, Сартр терялся за ним. Твардовский почему-то не смог приехать.

Вначале Сартр задавал вопросы о современном романе. Отвечал ему Владимов, ставший знаменитостью после «Большой руды». Владимов говорил, что в познании жизни предпочитает «метод собственной шкуры». Писатель должен знать и описывать не элитный круг, а простых людей — шоферов, грузчиков, матросов. Роман, по мнению Владимова, должен быть с простым и крепким сюжетом, в духе баллады.

Говорили о том, нужно ли писателю вживаться в чужую профессию, чтобы узнать жизнь других людей (Сартр приводил в пример «Бомаск» *, Владимов говорил о своем опыте на карьере Курской магнитной аномалии).

Сартр заметил, что видит больше общего между русскими и западными писателями, чем различий. Его, правда, удручила встреча в Киеве, но теперь, после нескольких разговоров в Москве, настроение поправилось.

Бовуар сидела красивая и важная, молча улыбалась, Сартр курил, пуская дым кольцами, и предавался весь усладе разговора.

Он сказал, что положение во Франции кажется ему безысходным. Все зашло в тупик, фашизм наступает, из Алжира бегут европейцы, которые ничего не поняли и пышут злобой. Де Голль развращает массы, деполитизирует их. Левые силы разъединены. Весь вопрос в том, когда они решат объединяться — до того, как окажутся в тюрьмах, или после. «Я очень боюсь, что мы решим объединиться, когда ворота тюрем уже захлопнутся».

Когда мы проводили гостей, Герасимов ** все махал рукой, сме-

---

* Роман Роже Вайяна, в русском переводе «Пьеретта Амабль» (1956).

** Герасимов Евгений Николаевич (1903—1986) — член редколлегии «Нового мира», заведующий отделом прозы.

ялся и повторял: «Чудаки эти европейские знаменитости! Нич-ч-чего не понимают...»

Да, нам ближе другие проблемы — «мяса-молока», которые никак не влезают в рамки чинной литературной беседы.

Видел вчера надпись на заднем борту грузовика: «Не уверен — не обгоняй» — и мелом приписано: «Америку» *.

14. VI. 1962

Первые дни работы в журнале. Прихожу к часу дня. Меня поместили пока в той же большой комнате, которая служит одновременно кабинетом Твардовского и залом заседаний редколлегии. Торцом к окну, выходящему на Пушкинскую площадь, стоит стол Александра Трифоновича. К нему углом приставлен маленький столик Кондратовича. А я располагаюсь на краешке того длинного стола — прежде с зеленым сукном, теперь гладко полированного «под орех»,— за которым обычно проходят заседания редколлегии.

Александр Трифонович решился послать повесть Солженицына «на высочайшее». Дописал после просмотра Дементьевым и его советов предисловие к «Ивану Денисовичу». Сегодня показывал мне. Я посоветовал убрать один не очень искренне звучащий «оптимистический» абзац, и он охотно, горячо как-то согласился. «Да, здесь я пересолодил» — и жирно вычеркнул наискосок.

Заходил сегодня К. Ваншенкин с новыми стихами. Как напустился на него, беднягу, Трифоныч: «Вы же взрослый человек. Нельзя так стихи писать. Встал утром, позавтракал, кофе попил — стихотворение». Впрочем, только что «Новый мир» напечатал рассказ Ваншенкина о двух солдатах.

Обсуждали сегодня статью И. Соловьевой о Тендрякове. Я стоял за то, чтобы смягчить обидные для Тендрякова места. Он в самом деле пишет плохо, когда дает волю рационализму. А все же писатель, каких мало. Твардовскому статья Соловьевой понравилась, что он ей и высказал, но согласился, что надо снять колкости. «А печатать непременно надо,— сказал Александр Трифонович.— Надо же объясниться — Тендряков наш автор, отчего мы теперь не так охотно его печатаем?» Просил в конце статьи выразить определеннее ту мысль, что чисто художественные беды отзываются и на «проблемистике», ее глубина страдает. «Статья хороша, но немного форсисто написана»,— заметил он еще.

Потом каждый из нас занимался своим делом. Александр Трифонович разбирал за своим столом почту, вдруг поднял на лоб очки и обратился ко мне:

— Вот пишут, просят меня, как будто я все могу сделать, будто я по крайней мере первый зам Председателя Совета Министров... И мне так тяжело,— продолжал он со смехом в голосе,— что я в самом деле не первый заместитель...

К. И. Чуковский прислал в редакцию статью о Маршаке. Оказа-

---

* Имеется в виду лозунг, выдвинутый Хрущевым: «Обгоним Америку по мясу и молоку!».

лось, это его выступление пять лет назад к 70-летию Маршака, сейчас переделанное в статью к 75-летию.

— Ах, мухоморы проклятые! — с каким-то восхищением кричал Александр Трифонович.— Ведь ни крошки у них в хозяйстве не пропадает! Каждую написанную строку знают, как использовать.

Решали еще вопрос с повестью Е. Герасимова. Прежде она называлась «Шелковый город». Александр Трифонович любит давать свои названия печатаемым вещам и часто делает это очень ловко. Он предложил ее перекрестить в «Городок на Дреме». Цензора испугало название: в слове «городок» ассоциация с горьковским Окуровым, а в слове «Дрема» — не мрачный ли символ? Повесть сняли из номера. Мне пришло в голову — а не вернуть ли прежнее название? «Шелковый город» (в городе шелкоткацкий комбинат) звучит нежно и никак уж не «очернительски» (хотя сама по себе повесть довольно строга и правдива — как очерк с натуры). На том и остановились.

Александр Трифонович при мне звонил по телефону Маршаку, с которым несколько нелюбезно обошелся накануне. «Знаешь, Самуил Яковлевич, худой мир лучше доброй ссоры. Прости меня, если виноват. Просто я умаялся, целый день шли какие-то больные, косые, калечные... Непременно приеду к тебе проститься».

Твардовского, как он рассказал, собираются посылать в Америку в порядке культурного обмена «на высшем уровне». У нас недавно был в гостях крупнейший национальный поэт Америки Фрост, а к ним поедет Твардовский. Ему предстоит беседа с президентом Кеннеди. «Вы нас, случаем, до войны не доведете?» — сказал ему, посмеиваясь, Закс.

Вышел № 7 «Нового мира» — первый, где и я значусь членом редколлегии.

30. VI. 62. Подписан к печати № 7.

В номере:

Чингиз Айтматов. Первый учитель.

И. Грекова. За проходной (это не дебют).

В. Аксенов. Два рассказа («На полпути к луне» и «Папа, сложи!»).

Шесть стихотворений Евг. Евтушенко («Давайте, мальчики!» и др.), стихи А. Яшина.

В критике статья И. Соловьевой «Проблемы и проза» (заметки о творчестве В. Тендрякова). Рецензии И. Виноградова, В. Шкловского и др.

6. VII. 1962

Твардовский вернулся из поездки в Грузию. Повесть Солженицына передана помощнику Хрущева Лебедеву. Тот позвонил Александру Трифоновичу и сказал, что находится в затруднении: «Написано блистательно талантливо. Но ведь автор „за Советы без коммунистов“».

С повестью Герасимова все обошлось. Теперь уже не считают, что это «городок Окуров», разрешили печатать.

Твардовский очень взволнован болезнью Казакевича — у него запущенный рак. Больница не разрешает допустить к нему двух ленинградских женщин-врачей, о которых идет слава, что они лечат каким-то новым методом. Александр Трифонович звонил во все инстанции, чтобы сломить сопротивление официальной медицины, до Суслова дошел. Сидел растерянный, в пасмурном настроении. «Почему не разрешить, если медики „Кремлевки" уже отступились? Но у них свой порядок и железная субординация... Помирай, но по науке. Я это зверье давно знаю и в разных видах видал...»

12. VII. 1962

В. С. Лебедев советовал подавать повесть «на высочайшее» с личным письмом Твардовского. Александр Трифонович зазвал меня в кабинетик Закса, плотно закрыл двери, и мы долго правили набросанное им в черновике письмо Н. С. Хрущеву.

В 3 часа дня в редакцию приехал Джанкарло Вигорелли — располагающий, доброжелательный господин, глава Европейского сообщества писателей. Смущенный, видимо, обилием представленных ему лиц, спрашивал, сколько постоянных сотрудников в журнале. «С машинистками и курьером — 29,— гордо ответил Александр Трифонович, разумея про себя: — Как немного людей делают такой европейски прославленный журнал».

Вигорелли удовлетворенно кивнул.

Но тут Твардовский не утерпел спросить его:

— А «Европа литтерариа» (журнал, который ежеквартально издает Вигорелли) — сколько народу делает?

— Один,— отвечал Вигорелли, подняв для убедительности указательный палец,— и... машинистка.

Вечером обедали на даче Твардовского во Внукове.

Я был здесь впервые. Скромная дачка на большом, расположенном на крутом склоне участке. Кабинет Александра Трифоновича с печкой, на которой потрескалась побелка. На стене «остатки культа», как выразился Александр Трифонович,— фотопортрет Сталина, закуривающего трубку. (Об этом портрете были когда-то у Твардовского стихи.) Под Сталиным — фотопортрет Некрасова, подаренный М. Ф. Яковлевым *. На другой стене — портрет Бунина, купленный Твардовским у какого-то художника, «впавшего в пауперизм» и дешево уступившего эту работу.

На участке растут в траве ромашки, вдоль садовой аллейки высажены кусты лесной земляники — на них краснеют ягоды. На даче нет воды, бурили-бурили и никак не доберутся до водоносного слоя. Воду мы везли в ведрах с крышками из Москвы, они громыхали в багажнике машины, и хозяин сам бережно сливал нам ее на руки из ковшика.

Обедали на длинной террасе, зеленой, славной; закатное солнце било сквозь деревья, спускающиеся по косогору. На террасе было празднично, уютно.

---

* Яковлев Михаил Федорович — фотограф, приятель А. Т. Твардовского.

Началось с забавного инцидента. Жена Твардовского — Мария Илларионовна (здесь я с ней впервые познакомился), расставляла закуски, а тем временем Александр Трифонович предложил гостю бублики, которые продаются только в одном месте в Москве, на углу улицы Чехова и Садового кольца. (Их всегда подают к чаю в «Новом мире».) Александр Трифонович стал было учить итальянца, как с этими бубликами управляться, но Мария Илларионовна вскипела, что нарушается задуманный порядок обеда, отняла бублики и водрузила их связку на гвоздик на стене терраски. То-то шуму было! Твардовский бублики не отдавал, Мария Илларионовна, не стесняясь присутствия гостей, выказала гнев оскорбленной хозяйки. Итальянец был в восторге от этой темпераментной сцены, кричал: «О-о, синьора!» — и официальная чопорность сразу исчезла.

Александр Трифонович прекрасно «держал стол», говорили умные, лукавые и добродушные тосты. Сказал, что, когда был в Италии, полюбил эту страну. Что и во время войны мы не смотрели на итальянцев, воевавших на нашей земле, как на настоящих врагов. Одна старуха на Смоленщине рассказывала ему, что в их деревне стояли транспортные части. А она ходила на работу большаком в соседнее село. И если по дороге шла немецкая машина — сходила на обочину, лишь бы проехали, а если итальянская — поднимала руку, просила подвезти. И итальянские солдаты всегда брали ее, довозили до места, а когда она сходила — прощались, махали и кричали вслед: «Bella, bella». «Хотя какая же я белая?» — добавляла она.

Скромно, интеллигентно вел себя и хорошо говорил Микола Бажан. Говорил о том, что значил для него Твардовский в разные поры жизни.

— Для меня трудная была полоса в 30-е годы, во многом тогда я сомневался, на многое рукой махнул. Твардовский своей бодростью, молодым оптимизмом сильно поддержал меня. То же и с «Василием Теркиным» — сколько он для нас значил во время войны. А речь Твардовского на XXII съезде — это голос всей нашей интеллигенции, всего лучшего, что в ней есть.

С опозданием приехал Расул Гамзатов. Восточный человек — очень приятный за столом, но, как мне показалось, с излишне вытренированным обаянием. Он, зная, что я занимаюсь критикой, походя, небрежно проехался насчет критиков, и я вынужден был с ним заспорить. Сказал, между прочим, что из цеха критиков вербуются ныне довольно порядочные прозаики — Ф. Абрамов, Г. Владимов — и иногда критиками становятся из огорчения наличным уровнем литературы.

Гамзатов запутанно, но остроумно говорил о Твардовском и закончил так: «Его ничто не могло испортить, что портит всех нас,— ни вино, ни жена, ни правительство». Переводя эти слова для Вигорелли, Г. Брейтбурд поперхнулся.

13. VII. 1962

Александр Трифонович появился в редакции — бодрый, свежий. Работал с Арк. Кулешовым, который привез новые стихи. Потом,

обратившись к нам с Кондратовичем *, стал обсуждать — чем бы занять свободную заднюю обложку журнала. Для его крестьянской души это нестерпимо, как пропадающая земля, пустошь.

Оказалось, что занять нечем, кроме разве рекламы, и это огорчило его.

20. VII. 1962

Твардовский вызывает Солженицына телеграммой.

22. VII. 1962

В редакции споры об армянских записках Вас. Гроссмана. Они мне понравились. Но слишком много, как мне показалось, писательского форсу, откровенности почти натуралистической. Другое дело — рассказ Ю. Казакова «Нестор и Кир». Я прочел его залпом.

23. VII. 1962

Пришел в редакцию, открыл дверь в кабинет Александра Трифоновича, а там полно народу за «моим» длинным столом. На столе чай с бубликами — обсуждают Солженицына. Александр Трифонович поманил меня, представил автору, пригласил принять участие в разговоре.

Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме — холщовых брюках и рубашке с расстегнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущен. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеется открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский предложил ему — в максимально деликатной форме, ненавязчиво — подумать о замечаниях Лебедева и Черноуцана **. Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бендеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примиренных, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.

Дементьев говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его «Броненосец „Потемкин“». Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не художество его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключенные, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вооб-

---

* Кондратович Алексей Иванович (1920—1984) — с 1958 года заместитель главного редактора журнала.

** Работники ЦК КПСС В. С. Лебедев (помощник Хрущева) и И. С. Черноуцан получили рукопись Солженицына от Твардовского и предварительно прочли повесть, прежде чем она была передана Н. С. Хрущеву.

ще, а не разные категории... Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я даже был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд...»

Зашел спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он — тонко чувствующий, мыслящий человек — должен превратиться в тупое животное. И тут Солженицын не уступал: «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства — погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: тогда я был старше, чем теперь, лет на пятнадцать, и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал все, что случилось,— наверняка бы погиб».

В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? «Мне цельность этой вещи дороже ее напечатания»,— сказал он.

Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные — те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущенно, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны.

Когда же заговорил Дементьев, Александр Трифонович весь обеспокоился, напрягся внутренне, и едва тот начала «кумекать», с легкой усмешкой покачал головой.

«Теплый холодного не разумеет»,— как сказал Солженицын применительно к Шухову, вернувшемуся с мороза в барак, где мирно спорят Цезарь Маркович и кавторанг. Кстати, о споре этом: Солженицын очень верно заметил, что он нужен лишь как тень — читатель сквозь него должен видеть Шухова, стоящего за спинами спорщиков и ждущего своей пайки хлеба.

«А спор об Эйзенштейне, показавшийся Александру Григорьевичу литературным, я не выдумал, а в самом деле в лагере слышал».

23. VII. 1962. Подписан к печати № 8.

В номере:

Е. Герасимов. Шелковый город. Повесть.

Ю. Куранов. Рассказы.

Стихи Л. Завальнюка. Переводы из Роберта Фроста.

В критике статья И. Виноградова «По поводу одной „вечной" темы».

Номер слабенький, Александр Трифонович недоволен, нервничает.

27. VII. 1962

Сегодня забегал в редакцию Солженицын. Зашел и Соколов-Микитов.

С утра Твардовский очень запальчиво говорил о цензуре, о том, что хочет встретиться с Хрущевым и уговорить его, чтобы цензура на художественные произведения была отменена.

— Сидит какой-то малец,— рассуждал Александр Трифонович,— и дает разные указания. Но ведь его редактором журнала не сделают. Почему он тогда меня должен проверять? Нелепица! Пусть бы ввели, как до революции, практику предупреждений редактору. Скажем, три предупреждения и — баста! Но без предварительной цензуры.

Б. Г. Закс говорил о необходимости цензуры в разумных пределах (охрана военной тайны, местоположения аэродромов и т. п.) и, чтобы привести примеры, принес из своего сейфа книгу «запрещений и разрешений» Главлита. Александр Трифонович так разгорячился, что, когда Закс стал настаивать, чтобы тот что-то зачитал из нее, швырнул ему эту книжицу через стол.

Поуспокоившись, рассказал с улыбкой, что во время войны цензор армейской газеты говорил про него: «Ну, я его просто не читаю. Твардовский — человек аккуратный, ничего не допустит такого». А вот теперь, как редактору «Нового мира», доверяют ему не слишком.

Я был рядом с Александром Трифоновичем, когда в кабинет просочилась чистенькая, беспокойно оглядывавшаяся по сторонам старушка. Она было испугалась меня, не решалась заговорить, но Александр Трифонович ее успокоил: «Это наш доверенный сотрудник. Можете говорить при нем все, с чем пришли».

Старушка отдала ему «в собственные руки» письмо. В письме, как потом рассказал Александр Трифонович, было сказано, что ее преследует какая-то гражданка, и от ее преследования невозможно избавиться. Куда она только не писала! А преследование состоит в том, что эта гражданка внушает ей всякие злые, непатриотические мысли с помощью машины «Вестибюль». Машина эта стоит на заднем дворе Кремля, провода тянутся к Манежу — и оттуда идет непрерывный гул, не дающий по ночам заснуть ни ей, ни ее дочери.

Твардовский прочитал письмо, очки сунул в нагрудный карман и сказал задумчиво и очень серьезно: «Я все для вас сделаю. Сегодня в 7 часов вечера будет выключен рубильник. Только одно условие: вы ничего никому не говорите и не пишите больше об этой машине и вообще постарайтесь об этом забыть. Иначе мне это сильно затруднит дело».

Старушка ушла счастливая.

Потом возник молодой поэт — длинношеий, с бритой головой.

Он тоже заявил, что может говорить только с Твардовским.

— Что у вас? — спросил Александр Трифонович.

— Я задумал поэму.

— Так где же поэма?

— Ее пока нет.

— Тогда нам не о чем говорить.

— Да, но я хотел обсудить с вами замысел, иначе я писать не смогу.

Так и не пишите.

Вечером на пустой, без хозяев по летнему времени квартире Лунгиных на улице Чайковского нас ждал Виктор Некрасов. Жара ужасная, и он вышел к нам в трусах. Были мы изрядной компанией — Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Твардовский, Герасимов, Сац, Закс и я. Был еще молодой симпатичный кинорежиссер, как и Некрасов — голый по пояс и в шортах. Он все хотел поставить на проигрыватель «пластиночку», но Александр Трифонович его остановил: «Мы люди пожилые, любим разговор, а когда что-то гремит — не дело». Режиссер смутился, остановил музыку и скоро ушел.

Некрасов был хорош в роли хозяина, радовался, что собрал столько «добрых людей» и среди них «небожителей», как он выразился. (Последнее относилось к Ивану Сергеевичу и Александру Трифоновичу.) Не задирался, вопреки обыкновению, когда Твардовский на него наседал, поднимал руки вверх. «Я же большевик и могу признать свою ошибку».

Иван Сергеевич сидел на диване благодушный, молчаливый и посасывал трубочку. Улыбался в усы, когда Некрасов стал приставать к нему, понравилась ли ему написанная Виктором Платоновичем к юбилею статья о нем. Вынул трубку изо рта, без обиняков сказал: «Нет» и опять замолчал.

За столом вдруг разговорился Твардовский, много сказавший и важного, и милого. Произнося тосты, он деликатен и внимателен ко всем, но без сахару, а бывает и неожиданно прям, даже резок.

Некрасов все вспоминал, как хорошо было в Италии: какие-то траттории, приятные встречи.

«Ах, бог с ней, с Италией,— внезапно прервал его Твардовский,— все это неинтересно. Я вот и в Америку через душу еду. Если можно будет оттянуть или вовсе отказаться — откажусь... Там, мне кажется, все ясно. Мне здесь, у нас, все неясно. А у нас сейчас делается, наверное, главное дело в мире... За границу охотно едет тот, у кого здесь в душе пусто, он думает там материала повзычить... А я не знаю, как успеть высказать все то, что здесь меня занимает».

Рассказывал кто-то: на радио пришло распоряжение: «Хватит пускать слюни о мире. Воспевайте героику войны».

Думал о том чувстве тревоги, какое висит ныне едва ли не над каждым человеком. Можно ли загадывать на завтра, мечтать о чем-то, если угроза всеобщего уничтожения так близка, почти неотвра-

тима? Все — гиль и ничего не стоит,— с таким настроением вряд ли родится не то что великое, а хотя бы сколько-то путное: в науке, в искусстве ли или просто в личном жизнеустройстве. Мораль, человеческое в морали предполагает память о вчерашнем дне и мысль о завтрашнем. А если это чувство разрушено, если — «лови минуту!»? И даже тот, кто сопротивляется философии «мгновенья», чувствует над головой дамоклов меч. Живешь сотнями забот дня, думаешь о тысяче дел, мелочей, а на дне сознания шевелится: может быть, все это только **до завтра**. Возвышает ли такое memento mori? Все дела, помыслы, заботы имеют ненадежный, призрачный фон, зыбкий, колеблющийся. Все готово оборваться в бездну. Даже радоваться нельзя вовсю, без оглядки, без отравляющей мысли: и это минутно, случайно — пир во время чумы. Часто просыпаюсь от ставшего привычным кошмара начавшейся атомной бомбежки: воя, взрыва и вселенской черноты.

1. VIII. 1962

Решились: заново пишется письмо Н. С. Хрущеву об «Одном дне...».

Сегодня Твардовский приехал мрачный. Дементьев хотел переменить какое-то слово в уже готовом тексте письма.

— Ну, какое слово вы предложите? — с яростью спрашивал Александр Трифонович.

— Ты не волнуйся, Саша... Но есть какое-то такое «разрешите просить о... (и он щелкал пальцами, подыскивая ускользающее словечко)... помощи, поддержке...»

— Благословении? — ядовито отозвался Александр Трифонович.— Так вот, я вам скажу («вы» к Дементу, с которым он чаще на «ты», подчеркивало его раздражение), что слов в языке мало. На этот случай их всего 16... И 15 из них мы уже использовали.

2. VIII. 1962

Сац возится со статьей Дорофеева о Платонове, очень хочет напечатать ее. Но Твардовскому не близок Платонов-писатель, его слог (при том, что он очень сочувствует судьбе его и любит его как человека), и он, кажется, «рубит» статью под корень.

Игорь Александрович в обиде, Твардовский был у него с утра дома, они объяснялись. Он говорил Твардовскому: «Вот ты, Александр Трифонович, сетуешь, что я не пишу. А я потому не пишу, что мне некуда писать. Нет у меня журнала, как когда-то был „Литературный критик“...»

Но эта надуманная обида минутна.

И уже развеселясь, Сац рассказывал, как предлагал в «Литературный критик» статью «Штука как жанр» (после знаменитой надписи Сталина на горьковской поэме «Девушка и смерть»: «Эта штука сильнее, чем „Фауст“».

Сац вспоминал, к слову, о Платонове: главная мысль Андрея Платоновича, которую тот часто повторял, была та, что литература должна криком кричать о том, что в жизни творится, а она мол-

чит или лениво ухмыляется. Платонов судил часто неожиданно и резко. «Рабочий класс — психопат»,— говорил он.

О любострастно-коммунистической прозе Панферова в одной из своих рецензий для «Литературного критика» Платонов высказался так: «Не надо делать из фаллоса древко для красного знамени».

Говорили о Викторе Некрасове. С нежностью вспоминал Сац о Ване Фищенко, прототипе Чумака из «Окопов». Парень дикий, вороватый, насидевшийся в тюрьме, но нежно любящий Некрасова. Однажды Виктор Платонович сидел без денег; Ваня, зашедший его навестить, обнаружил это и внезапно исчез. Через полчаса вернулся. Некрасов потребовал сказать, откуда деньги? Оказалось, Ваня успел срезать в трамвае дамскую сумочку. Некрасов его за это поколотил и деньги велел, будто найденные, отдать в милицию. Но к Ване и после этого доверия не потерял.

Александр Трифонович прочел в корректуре «Письмо заложника» Экзюпери, восхищается им и цитирует на память: «Жизнь создает порядок, но порядок бессилен создать жизнь».

А я, кстати о «порядке», решил ближе познакомиться со справочником Главлита. Диковинная книга: цензор исходит из предположения, что весь мир в принципе запрещен, все вокруг запретно. Но есть список вещей и явлений по исключению разрешенных (аэродром «Внуково» или трехлинейная винтовка образца 1891 года). Самое трогательное, что нельзя ни прямо, ни косвенно упоминать о существовании и функциях Главлита. Запрет распространен на самое себя.

6. VIII. 1962

Письмо Хрущеву с рукописью «Одного дня» пошло к В. С. Лебедеву.

14. VIII. 1962

Для статьи о повестях Нилина решил перечитать кое-что у Сталина. В редакционной библиотеке, доставая его сочинения с полки, милая пожилая библиотекарша сдувала с них густую пыль: лет пять никто не тревожил эти томики.

Она же рассказала: ее дочка-школьница с подругой ходили по домам собирать макулатуру. Какая-то старушка вынесла им на лестницу полное собрание Сталина — новенькие книги, даже в картонных футлярах.

Девочка замялась: как же мы Сталина понесем сдавать, а подруга ей: «Ничего, Олька, берем, теперь можно».

В школе у весов стоял долговязый десятиклассник, принимавший макулатуру. Взглянул на картонные футляры, спросил: «Пустые?» — «Да нет». Достал одну, другую книгу, засомневался, полистал, потом вдруг вздохнул и решительно бросил на весы: «Э-эх, Иосиф Виссарионович!»

Вот она, земная слава.

25. VIII. 1962

Сижу на даче, пишу статью о Нилине. Временами перо замирает. Приходит сомнение — не слишком ли задорно, пропустит ли цензура и тому подобные малодушные мыслишки. Но как быть? Пора начать говорить внятно, своим голосом, иначе надо поставить на себе крест. Вспомнил любимый афоризм Толстого: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

С Солженицыным движения пока нет. Письмо и рукопись у В. С. Лебедева.

В редакции волнения вокруг 5-й книги мемуаров Эренбурга.

Читал рукопись и думал: занимательность, острота неоспоримые. Но есть книги, которые при видимом однообразии рассказа — разнообразны. (Это «Уолден» Торо, к примеру, которого я читаю с наслаждением, такая прелесть эта несуетливая мудрость!) Есть же книги, которые при всем разнообразии, пестроте — однообразны. Таков, кажется, Эренбург. Книга без сюжета должна иметь сюжетом хотя бы движение мысли, духа автора (как недостижимый образец — «Былое и думы»). Здесь же, у Эренбурга,— мелькание эпизодов, как будто часами не выходишь из зала кинохроники.

Известный афоризм Горького: «Рожденный ползать — летать не может». Есть что-то неприятное, бесчеловечное в этом делении на «летунов» и «ползунов», и, как многое у основоположника, вызывает сегодня сомнение. Люди, которые обычно этот афоризм повторяют, убеждены, что они-то самые большие «летуны» и есть.

8. IV. 1962. Подписан к печати № 9.

В номере:

Алексей Некрасов. Старики Кирсановы. Повесть (из самотека, новичок в литературе).

Рассказ В. Некрасова и записи И. Соколова-Микитова

Стихи Максима Танка и С. Щипачева

Статья И. Андроникова, М. Туровской («Прозаическое и поэтическое кино сегодня»).

Рецензии В. Сурвилло, И. Соколова-Микитова, А. Туркова, З. Паперного.

12. IX. 1962

Твардовский собрал редколлегию по поводу книги Эренбурга. Очень резко говорил о ней. «Эта часть мемуаров могла бы стать главной — тут, в эти годы, расцвет деятельности Эренбурга. А она мелка, многое неприятно... Поза непогрешимого судьи, всегда все знавшего наперед и никогда не ошибавшегося».

Александр Трифонович предложил повременить с печатанием. Кондратович поддакивал, Закс (который непосредственно и «ведет» рукопись Эренбурга) молчал. Пришлось говорить мне. Я сказал, что, по-моему, хотя Александр Трифонович во многом и прав, нельзя прерывать печатание книги. Мы взяли обязательства и перед автором, и перед читателями, а их у Эренбурга немало. Все, что

есть в этой части, разве что в большей густоте, было и в предыдущих — нет основания вдруг отвергать рукопись.

Александр Трифонович отвечал, что не думает отвергать, но думает отложить печатание.

— Если я, скажем, могу напечатать Солженицына, то и Эренбург может найти себе в журнале место. А если я не могу печатать Солженицына, а должен печатать Эренбурга (благодаря его особому, «сеттльментному» положению в литературе), тогда журнал получает однобокое направление, народной точки зрения в нем нет, а есть интеллигентское самолюбование.

Это аргумент веский. Сочиняли письмо Эренбургу, чтобы все высказать, но не обидно. На другой же день Эренбург атаковал Закса и всю редакцию, гневался, требовал сатисфакции.

Юрий Казаков приходил разговаривать с Александром Трифоновичем по поводу северного рассказа. Тот говорил ему, что как ни сетуй, а у деревни пути назад нет. Худо ли, хорошо ли, но нельзя вернуться насильно ко временам доколхозным.

Казаков заикался и спорил неумело, но искренне. Твардовский сделал еще и кучу художественных замечаний. Его удручает в Казакове холодноватая наблюдательность, в которой ему чудится равнодушие.

Александр Трифонович снова говорил очень горячо против цензурных утеснений.

У нас еще с лета лежит отвергнутый цензурой очерк В. Каверина «Белые пятна» (о Зощенко, «серапионах» и проч.).

ПОПУТНОЕ

В сентябре 1962 года меня не было в редакции. Между тем события развивались так: между 9 и 14 сентября В. С. Лебедев на юге читал вслух повесть Солженицына Н. С. Хрущеву и А. И. Микояну. 15 (или 16) сентября — позвонил домой Твардовскому с известием, что повесть Хрущеву понравилась.

11 октября 1962 года Хрущев возвратился в Москву из поездки по Средней Азии, и надо было ждать событий.

8. X. 1962

Месяц не писал, был в отпуске в Болгарии. За это время коечто случилось. Александр Трифонович рассказал сегодня, что с солженицынской повестью сдвинулось дело. В. С. Лебедев, помощник Хрущева, на отдыхе, в Гаграх, выбрав время, как-то стал читать Никите Сергеевичу повесть. Читал и на другой день вечером. А потом, утром, были уже отложены все государственные дела, Хрущев позвал Микояна и читали второй раз вслух — эпизод про «красилей» и проч. Хрущеву очень понравилось, хотел пригласить Твардовского, но потом что-то передумал.

Срочно попросили тиснуть 25 экземпляров верстки в типографии, наверное для обсуждения. «Не хочет ли Хрущев дать своим сотова-

рищам предметный урок по критике культа личости?» — думает Твардовский.

«Когда был этот звонок, жена ждала меня обедать, все торопила. У нас вообще-то пуританский стиль отношений в семье, но тут я позвал ее с кухни, чтоб все бросила, и расчувствовался: „Победа, Маша, победа!“»

«Я сказал Лебедеву: „Спасибо, что вы есть, что вы помогли нам“. А он: „Спасибо, что вы есть. Видите, правда, она все же существует“. А я: „Существует-то она существует. Но важно, как ее доложить“». Последние слова он произнес с заметным лукавством в голосе.

«Но вот я радовался: победа, победа, а ответа окончательного нет, дело как-то захрясло».

— Так всегда и бывает,— отозвался Сац.— В мае 45-го года то же чувство было.

Твардовский рассказывал о ненапечатанной поэме Исаковского «Сказка о правде», передавал ее сюжет. Мужик пошел правду искать. Шел через косогоры, буераки, через реки перебирался. И пришел наконец в город. Спрашивает: «Где тут правда?» Нет нигде правды. Он было уходить собрался, а тут ему прохожий говорит: «Да я знаю, она на окраине живет, в самой грязной хате, иди туда. Боюсь только, в лицо ты ее не признаешь». Пошел мужик, куда ему указали. В самом деле, развалюха хата, и выходит оттуда страшная, грязная, вся в лохмотьях женщина и говорит: «Я — правда». Мужик обрадовался сначала, что правду увидел, а потом испугался, как же он будет рассказывать о такой-то правде своим односельчанам. «А ты ради меня солги»,— сказала правда.

«Вот так-то обстоит дело с правдой»,— закончил рассказ Александр Трифонович. И мы стали говорить, не приспела ли пора эту сказку Исаковского напечатать.

Когда шли обедать в «Эрмитаж» мимо моего дома, Александр Трифонович остановился у зелененького особняка — там когда-то помещалась редакция «Огонька».

«Помню, как приходил сюда мальчишкой,— сказал Александр Трифонович,— сидел у Ефима Зозули. И какой я был тогда несчастный — голодный, холодный. Врут, когда говорят, что молодость всегда прекрасна. Я с горечью вспоминаю свою молодость: как худо мне приходилось».

Потом, за обедом, зашел разговор об ИФЛИ *, о Шелепине **, который был тогда в институте секретарем комсомола. «Я не знал его, может, знал, но не помню. Я как-то в стороне держался. Мне уже 26 лет было, много старше других, и я был исключен из комсомола».

Без меня тут шли баталии вокруг армянских записок Гроссмана и зарубежных очерков Некрасова. Гроссмана с 10-го номера

* Институт философии, литературы и истории.

** Шелепин Александр Николаевич (р. 1918) — в 60-е годы секретарь ЦК КПСС, Председатель КГБ СССР (1958—1961).

отодвинули, чтобы он что-то еще поправил до цензуры, а с Некрасовым Александр Трифонович имел трудное объяснение. Твардовского раздражает в нем то, что он называет «легковесностью». Некрасов обиделся, ушел, дверью хлопнув.

Герасимов, Сац и я, все трое, убеждали Твардовского, что он был неправ, не подавши ему руки и злых слов наговорив о его рукописи.

Александр Трифонович кротко согласился, что пережал, но оправдывает себя тем, что Некрасов вел себя вызывающе, слушать ничего не желал и говорил только, как Эренбург: «А я так хочу».

Твардовский вспоминал, каким прекрасным, скромным, молодым пришел Некрасов с «Окопами Сталинграда», которые назывались тогда «На краю земли». Тонкий офицер — подтянутый, внимательный, сдержанный.

«Чего-чего я с этой рукописью ни пытался сделать, чтобы ее напечатали, как только ни лукавил. Чагину, директору издательства, говорил, что книга печатается в „Знамени", в „Знамени" же ссылался на издательство. Потом в Комитете по Сталинским премиям, где тогда по статуту каждый член комитета имел право выдвигать свои кандидатуры, я выдвинул Некрасова. Старики поддержали, и книга прошла».

17. X. 1962. Подписан № 10 «Нового мира».

В номере:

Е. Дорош. Райгород в феврале (из «Деревенского дневника»).

В. Каверин. Косой дождь. Повесть.

А. Сент-Экзюпери. Письмо заложника.

Воспоминания И. М. Майского.

Рецензии Н. Коржавина, Ю. Бондарева, Л. Лазарева и др.

Твардовский в восторге от очерка Яшина «Вологодская свадьба». Недурен и «Дневник Нины Костериной». История его такова. Е. Герасимов читал длинное, водянистое сочинение А. Костерина и вдруг напал на живые страницы. «Вот так бы и писать»,— сказал он автору. «Да это подлинный дневник моей дочери». Его Герасимов и вынул из толстенной рукописи романа.

22. X. 1962

20 октября Твардовского принял Хрущев. Александр Трифонович рассказывает: «Я понял, что произошла какая-то общая подвижка льдов... Меня встретили с такой благожелательностью, как никогда раньше».

Об «Иване Денисовиче» Хрущев сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу — это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо — это была бы, может быть, ошибочная вещь, но в том виде, как сейчас, она должна быть полезна».

Хрущев дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомились с повестью, сразу ее раскусили. «А я сказал: идите и еще подумайте».

Хрущев говорил о том, что специальной комиссией собрано три тома материалов о преступлениях Сталина, продолжается расследование дела об убийстве Кирова и т. п. «Мы должны сказать правду об этом времени. Может быть, не все документы и материалы нужно сейчас публиковать, но надо собирать все, чтобы предъявить потомству. Нас будут судить следующие поколения, и пусть они знают, в каких условиях нам пришлось работать, какое наследство мы приняли».

«Я правильно понимаю, что ваш доклад о культе личности на XX съезде был сопряжен и с личным риском?» — спросил Твардовский.

«Еще бы, еще бы!..» — живо отозвался Хрущев и рассказал, как, когда смещали Берию, он с Маленковым и Булганиным уезжал далеко за город, шел в лес, и только далеко уйдя от дороги, решался заговорить о деле. Однажды Хрущев заметил, поднимаясь к себе в кабинет, что у лифта и в коридорах ЦК — всюду на постах люди Берии. Он заявил, что все они зажирели, их нужно отправить побегать с оружием в полевых условиях, и сменил всю охрану на воинский контингент.

Хрущев намекнул Александру Трифоновичу, что аппарат срывает ему борьбу с культом личности. Кажется, он и прямо сказал об этом на Президиуме. Литература же эти вопросы ставит. Хрущев говорил о стихах Евтушенко («Наследники Сталина»?), о стихах некоего Генкина из Ленинграда.

Твардовский говорил с Хрущевым и о цензуре. Сказал, что считает ненормальным положение, когда ЦК доверил ему журнал, а над ним поставлен неграмотный цензор: «Ведь „Ивана Денисовича“ в цензуре бы зарезали». «Зарезали бы, зарезали»,— жизнерадостно, со смехом подтвердил Хрущев.

«Если я, скажем, не гожусь как редактор, если мне не доверяют, то пусть меня освободят»,— заявил Александр Трифонович и, конечно, услышал горячие разуверения. Твардовский внушал Хрущеву, что вообще цензура — пережиточный орган, оставшийся нам в наследство от культа личности. Советский редактор, в отличие от редактора журнала «Современник» или «Отечественные записки» в XIX веке, не враг своему государству и правительству. Так зачем же ставить над ним цензора?

«Это надо обдумать,— ответил Хрущев.— Может быть, вы и правы. В самом деле, год назад отменили цензуру на сообщения из Москвы иностранных корреспондентов, и что вы думаете? Стали меньше лгать и клеветать».

«Он согласился со мной,— рассказывал Александр Трифонович,— что то или иное мнение руководящего лица о произведениях искусства зависит часто от причин случайных, от дурного пищеварения даже». Александр Трифонович усердно убеждал Хрущева, что литература может лучше помочь советской власти, если ей будет дана возможность свободнее критиковать темные стороны жизни. «Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от такой критики»,— говорил Александр Трифоно-

вич.— Знайте, Никита Сергеевич, что все лучшее в нашей интеллигенции поддержит вас в борьбе с культом личности».

Пожаловался Твардовский и на задержку в цензуре статьи Каверина о Зощенко. Сказал, что, на его взгляд, постановления ЦК о литературе 1946 года отменены жизнью, устарели безнадежно, их никто уже не решается цитировать. Но корабль литературы все еще цепляется килем за эти подводные камни.

«И еще одна просьба, личная,— сказал Твардовский, когда беседа подходила к концу. Никита Сергеевич весь сразу сник, потух, видно, решил, что будет просить квартиру или дачу. Все оживление его погасло.— Нельзя ли отложить мою поездку в Америку? Я хочу кончить поэму, так сказать, на своем приусадебном участке поработать». Хрущев был доволен: «Конечно, конечно... Сейчас отношения с Америкой плохие. А вот весной поезжайте, они вас отлично примут».

Твардовский пояснил, что он со своей поэмой, «как баба на сносях», и Хрущев одобрительно отнесся к его намерению печатать «Теркина на том свете» в переработанном виде. Он подтвердил, что главной причиной запрета в 1954 году были несколько строк, где генерал мечтает собрать на бюрократов «**полчок солдат**». В этом увидели бунтовщицкий намек, что ли...

Таков был подробный рассказ Твардовского об этой встрече.

На другой день Александр Трифонович собрал всех в редакции и коротко, сжато, во избежание лишних слухов, информировал сотрудников. Говорил о том, что Хрущев произвел на него очень хорошее впечатление нежеланием грубо вмешиваться в литературные дела, оценивать произведение по существу. «Кажется, он досадует, что у него нет своего Луначарского». Ильичев же на эту роль явно не годится.

ПОПУТНОЕ

Прерву дневник для позднейшего примечания. В 70-е годы кто-то из наследников Виктора Сергеевича Голованова, цензора «Нового мира», передал мне оставшуюся после покойного тетрадь. На обложке ее написано: «Тетрадь 1-я. Прохождение материалов по журналу «Новый мир» с № 10 — 1962 года». Почерк писарский, с лихими росчерками.

Виктор Сергеевич был невысокого роста, краснощекий и еще крепкий старичок, аккуратный и исполнительный чиновник. В прошлом он, кажется, служил в красной кавалерии, отчаянно рубил лозу. Но тетрадь его рисует бдительным, ограниченным и законопослушным бюрократом. Я решил привести здесь из нее несколько выдержек.

Лица, упоминаемые Головановым, кроме сотрудников редакции Кондратовича и Закса, таковы:

а) его непосредственная руководительница, начальник 4-го отдела Главлита Галина Константиновна Семенова. Она ведала в цензуре всей художественной литературой. Известна была как

ярая сталинистка. Это ей, Галине Константиновне, принадлежит летучая фраза в ответ на замечание кого-то из наших, что она-де не сможет запретить какой-то материал: «Запретить не запрещу, а нервы помотаю»;

б) Аветисян Степан Петрович, заместитель начальника Главлита П. К. Романова. Человек лично незлой и покладистый, года через 2—3 после описываемых событий перешел работать в общий отдел ЦК;

в) Романов Павел Константинович — многолетний начальник Главлита.

Итак, тетрадь цензора.

«Прохождение материалов по журналу „Новый мир", № 11—1962»

На предварительную читку курьер представил материалы журнала № 11—17 октября (без раздела «Книжное обозрение» и других данных конца номера). 23.X во второй половине дня позвонил т. Закс и сказал: «Редакция вносит изменение. Очерк А. Яшина «Вологодская свадьба» и «Дневник Нины Костериной» с публикации снимаются. Вместо них редакция присылает:

1. Межелайтис. Стихи «Гимн утру».
2. А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича (повесть).
3. В. Некрасов. По обе стороны океана.

(Остальной материал без изменений.)

Прочитав повесть Солженицына вечером 23.X, я 24.X утром доложил т. Аветисяну о поступлении на контроль этой повести и по указанию т. Аветисяна немедленно передал ее начальнику отдела.

29 октября на предварительную читку получено «Книжное обозрение» и др. материалы до конца № 11—1962.

30 октября в 15 ч. 45 м. курьер журнала «Новый мир» по поручению секретаря редколлегии т. Закса представил для оформления к печати 2 экз. подписной верстки в объеме 8 печатных листов, с 3-го по 10-й включительно. В эти листы входят и повесть А. Солженицына (2-я часть), примерно больше половины, 40 стр. до конца,— и очерк Виктора Некрасова.

Курьер передал следующее:

«Тов. Закс, отсылая меня к вам, сказал: „Если т. Голованов не подпишет материалы (он явно имеет в виду повесть А. Солженицына), пусть вернет сразу же неоформленный материал в редакцию..."»

Этот своеобразный ультиматум т. Закса мною немедленно был доложен начальнику отдела т. Семеновой, которая дала указание: «оформить беспрепятственно», что и было мною выполнено в 16.00. Материал был передан курьеру.

Зав. редакцией Бианки * сказала: «Я знаю, что эта повесть была послана в ЦК КПСС, читал т. Хрущев, есть положительное решение о возможности ее публикации, принятое Президиумом ЦК КПСС».

---

* Бианки Наталья Павловна — занималась в редакции производственными вопросами, связью с типографией и т. п.

Т. Семенова предложила мне все это перепроверить в условиях служебных переговоров непосредственно с Заксом, для чего следует пригласить его в Главлит и установить в дальнейшем порядок: «Подписание к печати оформлять при вызове ответственного представителя редакции, а не через курьера».

2 ноября было оформлено к печати 4 печатных листа (11, 12, 13 и 14-й), привозил в Главлит т. Закс.

Т. Закс по указанию руководства был мною приглашен для **специального разговора** по поводу материала В. Некрасова «По обе стороны океана». По указанию т. Аветисяна речь шла об оценке итальянскими товарищами, выступавшими на заседании Европейского сообщества писателей, выступлений нашей печати, особенно с материалами, касающимися вопросов, связанных с ликвидацией последствий культа личности И. В. Сталина. Этот разговор был проведен с участием начальника 4-го отдела т. Семеновой. 3. XI об этом было доложено тов. Аветисяну. Кроме того, мною был поставлен перед т. Заксом вопрос о процедурных моментах, связанных с публикацией повести «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.

Тов. Закс сообщил:

«Материал был получен самотеком уже давно. Затем, в порядке консультации, был редколлегией, по инициативе Твардовского, направлен в ЦК КПСС. Прочитан Первым Секретарем. Затем было послано 25 экземпляров оттиска по указанию. Затем перед включением повести в № 11 т. Твардовский был принят Первым Секретарем, где, в частности, было сообщено положительное мнение о возможности публикации повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича"».

Со стороны руководства Главлита СССР т. Романова через начальника 4-го отдела я получил указание: «Оформить материал к печати без каких-либо замечаний и препятствий со стороны цензуры». Это было выполнено. Написал докладную записку на имя т. Семеновой.

Последний момент из переговоров с т. Заксом. Я обратил внимание на то, что в будущем нам следует по конкретным вопросам, о которых **совершенно недопустимо ведение переговоров по телефону**, чаще встречаться, особенно в момент подписания материалов к печати.

Тов. Закс заявил: «Я готов в любой момент по любому вашему требованию явиться в Главлит СССР для деловых встреч, касающихся прохождения в цензуре материалов нашего журнала. Я всегда уполномочен главным редактором т. Твардовским на ведение с вами таких переговоров».

На этом я прерву этот цензорский дневник, написанный слогом военных донесений и бюрократических реляций. К нему я еще буду обращаться. А сейчас вернусь к моим записям.

3.XI.1962

День рождения Маршака. Александр Трифонович дня два был занят приготовлением ему подарков и юбилейных поздравлений. З. Паперный сочинял шутливый текст, покупали цветы, потом все отправились к старику. Там Александр Трифонович читал ему ад-

рес, прерываемый то и дело телефонными звонками, и Маршак, что было не очень вежливо, хватался за телефонную трубку.

«Ах, я так скверно себя чувствую,— постанывает Маршак.— Это не юбилей, голубчик, а убилей. Юбилеи надо праздновать лет в 14—16, тогда от этого получаешь полное удовольствие». Но, видит бог, это и сейчас ему небезразлично.

Когда собирались к Маршаку и Твардовский торопился, нервничал, пришел Олег Васильевич Волков, с красивой бородой (про него известно, что он из дворян и много лет сидел), высокий, представительный, грассирующий господин.

Явился он некстати, не в лучший час, но расположился объясниться с Александром Трифоновичем по рукописи, которую ему вернули.

— Вы пишете про современную деревню,— сказал ему Твардовский,— как 50—70 лет назад можно было писать: тургеневская такая манера, «разнотравье» и т. п. А нынешнего крестьянина вы не знаете. Вот, смотрите, Ефим Дорош, тот знает, хотя он и в разнотравье понимает, но кроме того, и еще кое в чем знает толк.

«Я не знаю совгеменной дегевни? — грассируя на старобарский манер, возмущался Волков: — Давайте встанем гядом косить, я вам подъежу пятки»,— кричал он, тряся бородой.

— Ну, этот спор мы должны отложить по крайней мере до июня,— усмехнулся Трифонович, уже натягивая пальто. И вдруг с задором спросил:

— А лошадь запрягать вы умеете?

— Еще бы.

— Ну как? Что сначала сделаете?

Волков стал говорить, сделал какую-то ошибку в последовательности действий (шлея, седелка, подпруга...), и Александр Трифонович его мгновенно сбил.

— Вы не сердитесь, что я говорил так резко,— сказал он, с улыбкой протягивая Волкову руку на прощанье.— Но вы на мою любимую мозоль наступили.

От Маршака часов в 6 вернулись в редакцию, чтобы встретить праздник 7 Ноября с сотрудниками.

Пока женщины собирали на стол, мы сидели в углу нашей большой комнаты за круглым столиком с Александром Трифоновичем и Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. Александр Трифонович вспоминал свое деревенское детство.

Как раз на днях Маршак говорил мне, что в Твардовском есть черты и отца и матери, Маршак их обоих знал. Отец, судя по его рассказам, человек сильный, грубоватый даже, самобытный, но не без того, чтобы богатеньких уважать. А мать — нежная, поэтическая душа. Говорил еще Маршак о том, что поэт Твардовский — чудо, но это чудо не на голом месте: за ним особая смоленская крестьянская культура — культура быта, промысла, художественного ремесла.

...Когда собрались сотрудники и началось застолье, Александр Трифонович сказал небольшую поздравительную речь, обращаясь ко всем, кто тесно сидел за длинным столом. Говорил о радости 11-го номера, о том, что больше всего ценит в любом сотруднике, вне зависимости от возраста и положения, одно качество — любовь к журналу. Особо обратился к корректорам — призывал их блюсти «культуру журнальной страницы».

З. Паперный произнес юмористическую речь, что вот-де самый надежный транспорт — не метро, не автобус, не автомобиль. Существует такое выражение: «А ты на чем приехал? На 11-м номере». (То есть пешком.) Вот он и предлагал журналу — ехать и дальше на 11-м номере.

Имя Солженицына было у всех на устах, пили за его здоровье, радовались его повести как огромной журнальной победе.

Александр Трифонович всегда говорил, что верует и исповедует: все истинно талантливое в литературе пробьет себе дорогу. Нет гениальной вещи в писательском столе, которую нельзя было бы напечатать. «Один день» тут величайший искус: не напечатать его значило потерять свой оптимизм, веру в то, что в конечном счете все устраивается правильно, и писателю надо сетовать не на цензуру, не на редакторов, а лишь на самого себя: не сумел, не смог сделать вещь «победительной».

После пятого или шестого тоста общество разбилось на группы. Стали петь. Сладилось у нас «трио»: Дементьев, Твардовский и я. Пели «Далеко-далеко степь за Волгу ушла...», «Враги сожгли родную хату...» и всякое иное. Сколько же Александр Трифонович знает народных песен — старых, красивых, незапетых!..

Моим соседом по столу был Е. Я. Дорош. Говорили с ним о Солженицыне. И о том, что человеку несладко, если его пишут с большой буквы, как Горький: Человек. Какое величие! Но тут и берегись — пахнет презрением к каждому.

На днях неожиданно в редакцию заскочил Ю. Штейн *. «Вы Саню Солженицына печатаете? Когда?» Я изумился такой фамильярности. Оказалось, Солженицын — муж Вероникиной сестры Наташи. Так это о нем, помню смутно, она мне говорила еще на 1-м курсе: есть, мол, такой родственник, сидит после фронта.

Оказывается, Солженицын женился на Наташе перед войной еще. На войне его арестовали за неосторожную переписку. Одна подробность любопытная: у него сверхъестественная памятливость, звериная чуткость. Когда его везли в наглухо закрытой машине,

* Юрий Штейн был моим знакомцем еще по 1-му курсу заочного отделения филфака МГУ. Помню его демобилизованным парнем, душа и рубаха нараспашку, с аккордеоном через плечо: «И зимой и ле-е-том, думал я об этом...» Он ухаживал за моей приятельницей Вероникой Туркиной и женился на ней. Кончал факультет он с опозданием, писал дипломную работу о «Плодах просвещения», и я, будучи аспирантом, был назначен в оппоненты на защите. Работа была не сильная. Чтобы не погубить свое реноме на кафедре и вместе с тем выполнить долг дружбы, я выправил ее за две ночи, и Штейн благополучно получил свое «три».

арестовав вблизи линии фронта, он сказал конвоирам: «Да вы меня к немцам везете». Те обругали его и повернули лишь тогда, когда наткнулись на немецкие сторожевые посты.

Когда Александр Исаевич вернулся из лагеря, приехал в Москву, оказалось, что Наташа вышла замуж за какого-то пожилого профессора. Узнав об этом от Вероники, он, не заходя к Наташе, уехал в Рязань. А та написала ему — «не могу без тебя», бросила старичка — и за ним. Живут сейчас хорошо.

Штейн рассказал, что Саней написана пьеса, где фигурирует Вероникина семья, отец, их оставивший (кинорежиссер-документалист Туркин).

Солженицын фаталист. И хотя убежден в своем призвании, но скрытен, всего побаивается после лагеря. «А как он работает! — восхищался Штейн.— У нас дома он читал „Войну и мир“, все поля исчеркал пометками».

Это подтверждает мое читательское впечатление, как ненаивно его искусство: это плод страшного труда, усвоения традиции, «мук слова».

Как-то на днях после работы в отсутствие Твардовского сидели в редакции с Дементьевым. Говорили об Александре Трифоновиче. Отчего у него такие приступы дурного настроения, раздражительности, когда все не так уж плохо?

Дементьев говорит: «Он никак не может кончить „Теркина на том свете“, все что-то поправляет, переделывает, будто боится расстаться с этой работой, выпустить ее из рук. Может быть, потому что не знает, **что писать дальше**, когда эта работа будет кончена». Твардовскому нужна точка опоры, ясное мировоззрение, твердая почва, без фальши. Прежде, в «Далях», было, казалось, что-то найдено, уяснено. Теперь опять пауза, растерянность, которую он не хочет выказать.

12.XI.1962

6 ноября, под праздник, «Известия» неожиданно поместили рассказ Шелеста «Самородок» — о репрессированных коммунистах. Сделано это, как можно полагать, чтобы сбить предстоящий успех Солженицына в журнале и, пользуясь дозволением опасной темы, самим забежать с лагерной сенсацией вперед.

М. Хитров рассказывает, как А. И. Аджубей волновался, разыскивая чего-нибудь на «лагерную тему». Вспомнили, что был какой-то рассказ, присланный из Читы, который давно бросили в редакционную корзину. Текста не нашли, но связались с автором и срочно принимали рассказ по телефону из Читы — и тут же в номер.

Я пересказал этот эпизод Александру Трифоновичу. Он огорчился больше, чем я думал, это его прямо-таки лично задело.

На праздничном приеме в Кремле Твардовский не удержался и подошел к Аджубею. «Рассказец Шелеста был у нас,— сказал он.— Мы могли попридержать его на полгодика, до выхода Солженицына, да не могли подумать, что такое дерьмо кто-нибудь подберет».

На праздниках Александр Трифонович перечитал в верстке Солженицына и говорил потом в редакции: «Сам себе не верю, неужели мы это напечатаем?» Он написал письмо автору с отеческими предупреждениями и увещеваниями относительно грядущей шумихи и искуса славы. Просил избегать встреч с репортерами, инсценировщиками и проч. Александр Трифонович советовался по поводу этого письма в редакции. Кондратович сказал ему, что он в слишком высоких словах пишет Солженицыну о его таланте, надо бы умерить выражения. Твардовский как-то по-детски огорчился, растерялся и принес письмо мне. Я согласился с ним, что перехвалить эту вещь Солженицына нельзя, что его повесть знаменует новое летосчисление в нашей литературе. Александр Трифонович успокоился и послал письмо.

ПОПУТНОЕ

Снова прерываю свои записи ради дневника цензора Голованова. Только 14 ноября из разговора с главным редактором Гослитиздата А. И. Пузиковым он узнал подробности беседы Твардовского с Хрущевым, закрепившей ошеломляющее решение — опубликовать «лагерную повесть». Его краткая запись интересна тем, что показывает, какими сведениями о нас располагала на тот день цензура.

14.X—62. Имел место деловой разговор с т. Пузиковым.
Тв[ардовский] — Хр[ущев]
I вопрос: Солженицын (можно!)
II вопрос: Зощенко (В. Каверин). (Думает.)
III вопрос: Теркин в аду (надо подумать).
По культу... (есть данные).
«Два редактора: я и Ц[ензор].
(Надо подумать.)
А затем аппарату:
Письма (Тв.[ардовского]), звонки по телефону (Евт[ушенко])=надо навести порядок.

Справка

В момент моего пребывания на цензорском занятии 16.XI, приблизительно в 16.00, прибыл в Главлит СССР курьер журнала «Новый мир» для оформления выпуска в свет ж. № 11 — 1962. Выпуск в свет был разрешен немедленно.

3.XI.1962. Подписан к печати № 11.
В номере:
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича.
Виктор Некрасов. По обе стороны океана.
Стихи Э. Межелайтиса, С. Маршака.
Статьи К. Чуковского («Маршак»), В. Лакшина («Доверие».

О повестях П. Нилина), А. Дементьева.

Рецензии М. Рощина, И. Соловьевой и В. Шитовой, Л. Зониной и др.

16. XI—62 — «сигнал» № 11, 1962.

17. XI—62 — начата рассылка номера.

20. XI. Кругом толки о Солженицыне. Появились и первые рецензии. В вечернем выпуске «Известий» от 18 ноября статья К. Симонова, в «Правде» В. Ермилов пишет, что солженицынский талант «толстовской силы».

Были с И. А. Сацем в Переделкине, навещали там М. А. Лифшица, обедали с ним. «В тех несвободных условиях, какие показывает Солженицын,— рассуждает Лифшиц,— и стал возможен свободный „социалистический труд". Если бы я писал статью об этой повести, обязательно бы „Великий почин" Ленина вспомнил»,— то ли всерьез, то ли с иронией говорит М. А.

«Вопрос соотношения цели и средств — пожалуй, главный вопрос, который сейчас всех в мире занимает».

Навещал в эти дни и Маршака. Он после болезни лежит в расстегнутой белой рубахе, дышит тяжело, приподымается с подушек и говорит, говорит без умолку. В том числе и о Солженицыне говорит, называя его то Солженцев, то Солженцов («этот Солженцев, голубчик...»).

«В этой повести народ сам от себя заговорил, язык совершенно натуральный». Говорил еще о познавательном эффекте хорошей литературы — из «Солженцева» можно узнать, как течет весь день зэка, что едят и пьют в лагере и т. п. Но это было уже мелковато. «Голубчик, почему бы ему ко мне не приехать? Ведь, кажется, он был у Ахматовой? Так приведите его ко мне».

Как-то недавно Маршак целый вечер рассказывал мне о Горьком: о своем знакомстве с ним на даче Стасова, о расхождении потом и о поддержке Горьким их дела — ленинградской редакции Детиздата. «Горький умел очаровывать. Он высасывал из человека все и потом охладевал к нему».

«Расскажите, что делается в журнале,— просил Маршак.— Году в 1938-м или 39-м мы мечтали с Твардовским завести свой журнал. Как я теперь понимаю, это должен был быть „Новый мир"... Журнал надо вести так, чтобы каждый его раздел мог вырасти в отдельный журнал».

В ближайшие дни после выхода в свет № 11 состоялся очередной Пленум ЦК. У типографии запросили 2200 экземпляров журнала, чтобы продавать его в киосках на Пленуме.

Кто-то пошутил: «Они же доклад обсуждать не будут, все „Ивана Денисовича" будут читать». Ажиотаж страшный, журнал рвут из рук, в библиотеках с утра на него очереди.

Твардовский был на Пленуме и говорил, что сердце у него заколотилось, когда он увидел в разных концах зала голубенькие книжки. К нему подходили многие — Чернышов, секретарь Владивос-

токского крайкома, Горячев из Новосибирска. Последний, кажется, сказал: «Да у меня в области таких хозяйств сколько хочешь, но зачем о них писать?»

Из дневника цензора В. С. Голованова

Материалы № 12 ж. «Новый мир».

12-го ноября 1962 г. курьер редакции журнала «Новый мир» принес следующие материалы № 12, 1962.

1. Яшин. «Вологодская свадьба».
2. Н. Матвеева. Стихи.
3. «Дневник Нины Костериной».
4. А. Йожеф. Стихи.
5. В. Некрасов. «В Америке» (продолжение).
6. И. Пешкин. «Операция ХЛ».
7. Д. Цукерник. «Как была открыта Америка».

В «Содержании» № 12 указано:

1. В. Гроссман. «Путевые записки».
2. В. Каверин. «Белые пятна».

Материал этот еще не представлен. В свое время эти оба материала с публикации были сняты. В. Каверин — по рекомендации Д. А. Поликарпова.

Для памяти

В понедельник, 19 ноября 1962 г., в 16.00 позвонил тов. Закс и сказал следующее:

— В будущем году «Новый мир» будет публиковать книгу 5-ю И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» в № 1, 2 и 3. Сейчас редакция имеет возможность направить вам для предварительной читки всю эту книгу (уже набранную, в полном объеме), как вы на это смотрите?

— Очень хорошо. Присылайте. Если имеете возможность, пришлите два оттиска.

Тов. Закс ответил:

— Мы так и сделаем — направим вам в ближайшие дни 2 оттиска.

20.XI в Главлит СССР курьер журнала «Новый мир» принес материал: И. Эренбург «Люди, годы, жизнь», 5-я книга, 2 экз. 1 экз. передан сразу же для предварительной читки т. Криушенко.

21 ноября с. г. вечером, около 5 часов, курьер «Нового мира» принес 8 печ. листов для оформления к печати. Докладывал начальнику отдела т. Семеновой:

а) по В. Гроссману «Добро вам»;

б) по «Дневнику Нины Костериной».

По Гроссману т. Семенова приостановила оформление 10 п. л., с тем чтобы еще раз просмотреть формулировки относительно явлений антисемитизма в конце «записок» автора.

По «Дневнику Костериной» обратить внимание редакции на элемент культового характера при описании парада войск на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Указание было выполнено. Тов. Закс заявил: «Из песни слова не выкинешь...» Об этом 22.XI утром было доложено т. Семеновой.

22. XI после оформления к печати 7 п. л. журнала «Новый мир» через секретаря отдела т. Силкину передано согласно договоренности т. Криушенко эти 7 печ. листов на предмет последующего контроля.

23 ноября 1962 г. в 16.00 курьер журнала «Новый мир» представил для оформления к печати очередные п. л. (11—14). 10 п. л. было оставлено у т. Семеновой для согласования вопроса по концовке у Вас. Гроссмана.

24 ноября с утра по вызову начальника отдела т. Семеновой находился в отделе, сверяя данные старого и нового варианта статьи В. Каверина «Белые пятна», ввиду повторной постановки вопроса в ЦК КПСС.

Приблизительно около 11 ч. дня позвонил секретарь редакции журнала т. Закс и сообщил мне о том, что т. Твардовскому звонил т. Поликарпов и выражал согласие со стороны ЦК КПСС на отпечатание дополнительно 25000 экземпляров № 11 журнала «Новый мир».

Немедленно доложил об этом начальнику отдела т. Семеновой, а она, в свою очередь, доложила в моем присутствии по телефону т. Романову.

Затем я получил разъяснение: «Относительно согласия ЦК КПСС, данного т. Поликарповым,— это дело редакции, указывать дополнительный тираж 25000 в выходных данных — это тоже дело редакции. Проверка разрешения ЦК КПСС относительно дополнительного тиража 25000 будет произведена.

Анонс о предстоящем опубликовании в № 1 (1963 г.) рассказов А. Солженицына — это также дело редакции.

Все эти моменты мною так и были разъяснены тов. Закcу.

Относительно оформления к печати следующих материалов № 12 я, по указанию т. Семеновой, передал т. Кондратовичу (по телефону, 24. XI), что я не могу оформить, так как мне необходимо **посоветоваться со старшими товарищами.** При этом никаких фамилий и должностного положения этих товарищей я не уточнял.

а) «Белые пятна»,

б) о наличии явлений антисемитизма в СССР по утверждению В. Гроссмана.

26. IX вечером, по указанию т. Романова, звонил тов. Твардовскому и провел переговоры:

а) в отношении концовки путевых записок Вас. Гроссмана (о явлениях антисемитизма) Твардовский согласился с замечаниями и заверил меня в том, что он сделает соответствующие исправления.

б) по поводу статьи В. Каверина «Белые пятна» Александр Трифонович заверил меня в том, что с № 12 эта статья его решением снимается до «просветления» этого вопроса в будущем.

Приведу место из «Путевых записок пожилого человека» В. Гроссмана (позднее очерк назвали «Добро вам», но он так и не появился тогда в печати), по поводу которого было сломано столько копий. Пересказав речь плотника на свадьбе в Армении, где он говорил о сочувствии к евреям, еврейскому народу, Гроссман пишет: «Потом выступали, обращаясь ко мне, старики и молодые. Все они говорили о евреях и армянах, о том, что в вековой истории обоих народов много страданий и крови.

Я услышал от стариков и молодых слова уважения и восхищения, обращенные к евреям, к их трудолюбию, уму. И старики убежденно называли еврейский народ великим народом...

Не раз приходилось мне слышать от русских простых и интеллигентных людей слова сочувствия к мукам, постигшим евреев во время гитлеровской оккупации.

Но иногда сталкивался я и с ненавистью, переживал ее душой и шкурой своей. Случалось мне слышать черные слова, обращенные к истерзанному Гитлером еврейскому народу, от пьяных в автобусах, в очередях, столовых. Мне всегда было больно, что наши лекторы, пропагандисты, работники идеологического фронта не выступают с речами и книгами против антисемитизма, как выступали Короленко, Горький, как выступал Ленин». (Стр. 43—44 верстки к № 12.)

Конец ноября 1962

Был вечерок у Закса на Аэропортовской улице. Сидели тесно на кухоньке.

Твардовский рассказал мне, что Солженицын был у него на днях *, привез новый рассказ о войне. Когда он говорил об этом, даже глаза жмурил от удовольствия. Александр Трифонович просто влюблен, все время твердит: «Какой это парень! Он отлично всему знает цену. Поразительно, как это у себя в провинции он так точно чувствует, что добро, а что недобро в литературной жизни». Сошлись они на отношении к последним сочинениям Паустовского, на которого Александр Трифонович все еще досадует. Трифоныча привело в восторг, что Солженицын сказал о «Броске на юг» почти теми словами, что он сам: «Я думал, это будет гражданская война, бои с Врангелем, захват Крыма, а оказывается, это автор бросился из Москвы в одесские кабаки и на пляжи».

Поразил Солженицын еще вот чем — когда он был у Твардовского, принесли газету со статьей Симонова о нем. Он глянул мельком и говорит: «Ну, это я потом прочту, давайте лучше поговорим». Александр Трифонович удивился: «Но как же? Это же впервые о вас пишут в газете, а вас вроде бы даже не интересует?» (Твардовский даже кокетство углядел в этом.) А Солженицын: «Нет, обо мне и раньше писали, в рязанской газете, когда моя команда завоевала первенство по велосипеду».

Солженицын сказал Твардовскому: «Я понимаю, что времени мне терять нельзя. Надо браться за что-то большое».

Новый его рассказ Твардовский хвалит, но читать пока не дает. «Там есть кое-какие заусеницы. Надо их подубрать».

Отцовское чувство Александра Трифоновича задел Д., который встретил его на лестнице в Союзе писателей и спросил: «Ну как, будете печатать новый рассказ Солженицына?» — «А вы откуда о

---

* Солженицын привез рассказ «Зеленая фуражка» (будущий «На станции Кречетовка») и имел долгий разговор с Твардовским 15 ноября 1962 г.

нем знаете?» — «У Солженицына в Москве есть друзья»,— задорно сказал Д.

«Я-то думал, что его главные друзья в „Новом мире“,— сокрушался Александр Трифонович,— а выходит, что мы зажимщики, цензоры, а друзья — это Копелев * с компанией.

Про Л. Копелева, о котором многие говорят как о первооткрывателе «Ивана Денисовича», Солженицын рассказал Твардовскому, что тот заметил ему, прочитав впервые повесть в рукописи, о сцене работ зэков — «это в духе соц. реализма». А о втором рассказе — «Не стоит село без праведника»: «Ну знаешь, это образец того, как не надо писать». Копелев держал у себя рукопись чуть не год, не решаясь передать ее Твардовскому. А потом, после настояний Солженицына, отдал ее как самотек в отдел прозы. «Ко мне зашел с каким-то пустым вопросом, а об этом, главном, не сказал»,— удивлялся, сгорая от досады и ревности, А.Т. Ему передала рукопись А. С. Берзер **.

Трифоныч рассказывал еще о прочитанном им неоконченном романе Эм. Казакевича о 30-х годах. «Какая жалость, что уже ничего нельзя сказать ему, посоветовать. Идет хорошо, хорошо, а потом провал... В „Звезде“ он изображал людей, которых знал по фронту, с которыми воевал. Но их мирную, домашнюю жизнь он не знает. Не знает, как говорят в деревне, что это за люди. Язык часто какой-то искусственный, под Мельникова-Печерского».

Думает Александр Трифонович и о будущем своей новой поэмы: «Дочка мне говорит: „Папа, ты обещал в 1962 году совершить три чуда: разгромить роман Кочетова, напечатать Солженицына и написать нового „Теркина на том свете“. Два дела исполнил, последнее — не до конца“».

Встречался в эти дни с И. А. Сацем. И. А.— тип человека крайне субъективного: если он любит — тебе хорошо, он заботится, опекает, помогает с редким бескорыстием, любовь его деятельна. Но беда, если ты ему разонравишься: тут уже все в тебе и вокруг становится плохо.

Я сам люблю его всей душой и с тревогой замечаю маленькие пятнышки в наших отношениях, с тех пор как я пришел в «Новый мир». Может быть, тут отчасти и ревность к Александру Трифоновичу. Некрасов предупреждал меня когда-то, что Сац ревнив, как мавр, и не может себе представить, что его друзья встречаются где-то без него.

А тут еще споры вокруг новой повести Володи Войновича, которого он выпестовал. Повесть о прорабе не слишком удачная, со слабым концом ***. Но Игорь Александрович, его редактор, при-

---

* Копелев Лев Зиновьевич (р. 1912) — литературовед, критик, товарищ Солженицына по тюремной «шарашке».

** Берзер Анна Самойловна — в те годы старший редактор отдела прозы.

*** Повесть называлась «Хочу быть честным». Мне досадно теперь на мою снисходительную оценку этой хорошей повести В. Войновича. Но тогда все мы мерили невольно уровнем «Ивана Денисовича», рядом с которым все казалось блеклым.

знать этого не хочет, язвит критиков Войновича и требует печатать повесть без переделок, как она есть. Володю, конечно, замучили всяческими советами и «замечаниями», но что делать, если повесть не удалась.

Сац — «мальчик наоборот», как говорит о нем Твардовский, и когда общим местом стало обличение Сталина, он вдруг вступается за него:

«Ненависть к Сталину часто мещанская, такая же, как прежде любовь. Нельзя думать так: появился один властолюбивый, жестокий грузин и испортил дело, которое поначалу шло так хорошо. Нет, суть в том, **что** создало культ Сталину. Вопреки расхожему мнению, при Ленине тоже создавался его культ, хотя ему и не нужно это было. Сейчас трудно объективно оценить роль и место Сталина. В конце 20-х — начале 30-х годов он боролся и выдвигал себя в борьбе с „боярщиной", местнической властью секретарей губкомов, крайкомов, которые хотели видеть его лишь первым среди равных, а на местах располагать фактически неограниченной властью, автономной от центра». Что такое были эти «красные бояре», наместники, говорит Игорь Александрович, он имел случай убедиться, когда в конце 20-х годов совершил с Луначарским большую поездку по стране.

Сац вспоминал со смехом, что после письма Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» в некоторых книгах и журналах наскоро появились вклейки с исправлениями текста. «Вместо абзаца такого-то на странице такой-то следует читать... Вместо таких-то строк надо читать следующее...» И наконец: «Страницы 17—19 не читать совсем». Естественно, все подписчики накидывались прежде всего на эти страницы.

24.XI.1962

Александр Трифонович сказал, передавая мне рассказы Солженицына: «Посмотрите внимательно перед обсуждением. Но впрочем, вам остались мелкие камушки, булыжники я оттуда уже повыкидывал».

Прочитал Твардовский и пьесу Солженицына («Свеча на ветру») и сказал ему: «Теперь вы можете оценить мою искренность — пьесу я печатать не советую».

«Я думаю поговорить о ней еще со специалистом-режиссером»,— ответил Солженицын. «Но ведь он скажет „великолепно",— парировал Твардовский,— втянет вас в колесо поправок, переделок, дополнений и т. п.».

В «Новый мир» хлынул поток «лагерных» рукописей не всегда высокого уровня. Принес свои стихи В. Боков, потом какой-то Генкин. «Как бы нам не пришлось переименовать наш журнал в „Каторгу и ссылку"»,— пошутил я, и Твардовский на всех перекрестках повторяет эту шутку.

«Сейчас все доброе к нам поплывет,— говорит Твардовский,— но и столько конъюнктурной мути, грязи начинает прибивать к „Новому миру", надо нам быть осмотрительнее».

24-го вечером пировали в ресторане «Арагви» нашу победу. Подняв бокал за Солженицына, следующий тост Александр Трифонович произнес за Хрущева. «В нашей среде не принято пить за руководителей, и я испытывал бы некоторую неловкость, если бы сделал это просто так, из верноподданнических чувств. Но, думаю, все согласятся, что у нас есть сейчас настоящий повод выпить за здоровье Никиты Сергеевича».

26.XI.1962

Утром в редакции обсуждение двух рассказов Солженицына.

Солженицын очень туго шел на поправки, предлагавшиеся, впрочем, членами редколлегии довольно осторожно, бережно. «У нас новый Маршачок»,— сердился Александр Трифонович на его упрямство.

Первый рассказ все дружно хвалили. Твардовский предложил назвать его «Матренин двор» вместо «Не стоит село без праведника». «Название не должно быть таким назидательным»,— аргументировал Александр Трифонович.

«Да, не везет мне у вас с названиями»,— отозвался, впрочем довольно добродушно, Солженицын.

Второй рассказ тоже пытались переименовать. Предлагали — мы и сам автор — «Зеленая фуражка», «На дежурстве» («Чехов бы так назвал»,— заметил Солженицын).

Все сошлись на том, что в рассказе «Случай на станции Кречетовка» малоправдоподобен мотив подозрения: актер Тверитинов будто бы забыл, что Царицын переименован в Сталинград, и этим погубил себя. Возможно ли такое? Сталинград знали все.

Солженицын, защищаясь, говорил, что так в действительности и было. Он сам помнит эти станции, недальние военные тылы, когда служил в обозе в начале войны. Но был материал, материал — а случай с артистом, о котором он узнал, все ему осветил *.

Я упрекал Солженицына за некоторые излишества словесности, произвольное употребление старых слов, таких, как «оплечье», «зело». И искусственных — «венуло», «менело». «Вы меня выровнять хотите»,— кипятился поначалу он. Потом согласился, что некоторые фразы неудачны.— Я спешил с этим рассказом, а вообще-то я люблю забытые слова. В лагере мне попался III том словаря, Даля, я его насквозь прошел, исправляя свой ростовско-таганрогский язык».

Разговаривая со мной потом наедине, он свое великодушие настолько простер, что даже высказал комплимент: «А у вас есть слух на слова».

Я рассказал ему о встрече с Ю. Штейном. «У меня со всеми находятся общие знакомые,— отозвался Александр Исаевич,— даже с Хрущевым. С его личным шофером я сидел в одной камере в

* Уже в 70-е годы ко мне приехал как-то из Риги знакомый Солженицына Л. Власов, который утверждал, что это он рассказал Солженицыну этот сюжет, едучи с ним однажды в поезде, в одном купе. Случай был с ним, и он оказался как бы прототипом лейтенанта Зотова.

1945 году. Он хорошо отзывался о Никите». А сейчас стали возникать люди, узнавшие себя в повести. Кавторанг Буйновский — это Бурковский, он служит в Ленинграде. Начальник Особлага, описанного в «Иване Денисовиче», работает сторожем в «Гастрономе». Жалуется, что его обижают, приходит к своим бывшим зэкам с четвертинкой — поговорить о жизни.

Разыскал его в Рязани и К., представившийся ему как сын репрессированного. Я знал его по университету.

«Что он за человек?» — спросил Солженицын. Я сказал, что о нем думаю, и собирался было подтвердить это каким-то эпизодом, но Александр Исаевич прервал меня: «Достаточно. Мне важно знать ваше мнение. Больше ничего не надо».

Говорит он быстро, коротко, будто непрерывно экономит время и на разговоре.

«Белые пятна» Каверина не дают нам печатать.

Твардовский любит книги Географгиза. Недавно прочел сочинение «Старина-четвероног» о цолокантах. «Вот, оказывается, есть и такие интересы. Во всей книге Россия ни разу даже не упомянута, как бы нет ее вовсе... А нам кажется — мы соль земли».

Маршак звонил по телефону в редакцию и звал Александра Трифоновича к себе, а тот отговорился. «Стал вдруг замечать, что с Маршаком мне скучно,— сказал Александр Трифонович,— потому что темы общие, политические его мало интересуют. Начнешь ему что-то говорить, а он не слышит. А потом сам: „Помнишь, как у Блейка?“ И долго цитирует. Все это „рифмы-пифмы“. Неинтересно».

О Гроссмане Александр Трифонович говорит: «Буду просить его переделать конец очерка. Не только потому, что цензор не пускает, но и сам думаю: ни одному народу, в том числе и еврейскому, нельзя давать привилегию страдания».

28. XI. 1962

Твардовский иронизировал по поводу отклика на повесть Солженицына, появившегося в «Литературе и жизни».

«Эта задыхающаяся газетка поместила рецензию Дымшица *, написанную будто нарочно так, чтобы отвадить от повести... Ни одной яркой цитаты, ни напоминания о какой-либо сцене... Сравнивает с „Мертвым домом“ Достоевского, и то невпопад. Ведь у Достоевского все наоборот: там интеллигент-ссыльный смотрит на жизнь простого острожного люда, а здесь все глазами Ивана Денисовича, который по-своему и интеллигента (Цезаря Марковича) видит».

«И как Тюрин у Солженицына точно это говорит: ведь 37-й год расплата за экспроприацию крестьянства в 30-м». И Александр Трифонович вспоминал отца: «Какой он кулак? Разве что дом —

---

* А. Дымшиц. Жив человек. Литература и жизнь. 28 ноября 1962 г.

пятистенка. А мне ведь грозили исключением из партии за сокрытие фактов биографии — сын кулака, высланного на Урал».

Из дневника цензора В. С. Голованова

3.XII—62. Был телефонный разговор с зам. главного редактора т. Кондратовичем. Он сообщил о том, что «Белые пятна» Каверина в № 12 печататься не будут. Не будут также печататься в № 12 путевые заметки «Добро вам» Василия Гроссмана.

Когда я задал вопрос: «А все же, как обстоит дело с поправками, о которых у меня был разговор с т. Твардовским?»— тов. Кондратович сказал: «По этому поводу возник конфликт между Твардовским как главным редактором журнала и Гроссманом как автором. Конфликт весьма серьезный. Твардовский ни при каких условиях не может согласиться с утверждением Гроссмана о якобы широко распространенных явлениях антисемитизма, о чем говорилось на армянской свадьбе, а автор Гроссман проводит упрямо эту свою мысль. Чем закончится этот конфликт, сейчас сказать трудно *.

Проинформировал по этому поводу немедленно т. Семенову.

3 декабря был в Отделе утром, советовался с т. Семеновой по некоторым элементам очерка А. Яшина «Вологодская свадьба». Речь идет о стр. 16, 18, 21. Решено: никаких замечаний редакции не делать.

12. XII. 62. Подписан к печати № 12.
В номере:
А. Яшин. Вологодская свадьба.
Виктор Некрасов. По обе стороны океана (окончание).
Дневник Нины Костериной.
Статья М. Туровской «Мифология технической эры».
Рецензия Б. Рунина, Н. Кузьмина и др.

ПОПУТНОЕ

Мы еще жили в эйфории от успеха «Одного дня», и цензура еще относилась к нам после случившегося с опаской.

Но в начале декабря Н. С. Хрущев неожиданно посетил выставку МОСХа в Манеже. Подстрекаемый В. А. Серовым и другими руководителями Союза художников, а быть может, не только ими, он набросился на «абстракционистов» и прочих формалистов как на главную опасность в искусстве.

17 декабря 1962 года на Воробьевых горах состоялась первая из «исторических встреч» Н. С. Хрущева с деятелями культуры, писателями. Круг критикуемых расширялся. Началось с «проблемы Манежа», но дальше были подвергнуты разносу молодые поэты Вознесенский и Евтушенко. Досталось и Эренбургу за его мемуары, и Некрасову за записки, напечатанные в «Новом мире».

*** Увы, из этого текста явствует, что наши сотоварищи вели порой переговоры с цензурой, так сказать, излишне простодушно.**

Напоминаю об этом задним числом, чтобы воссоздать фон для понимания моих отрывочных записей этого времени и записей цензора Голованова о журнале.

Мало кто из читателей заметил вовремя и понял тайный смысл стихотворения Н. Грибачева «Метеорит», появившегося в «Известиях» 30 ноября 1962 года. Между тем это был первый отрицательный отзыв на повесть Солженицына в нашей печати.

Метеорит

Отнюдь не многотонной глыбой,
Но на сто верст
Раскинув хвост,
Он из глубин вселенских прибыл,
Затмил на миг
Сиянье звезд.

Ударил светом в телескопы,
Явил
Стремительность и пыл
И по газетам
Всей Европы
Почтительно отмечен был.

Когда ж
Без предисловий вычурных
Вкатилось утро на порог,
Он стал обычной
И привычной
Пыльцой в пыли земных дорог.

Лишь астроном в таблицах сводных,
Спеша к семье под выходной,
Его
Среди других подобных
Отметил строчкою одной.

Из дневника цензора В. С. Голованова
Материалы № 1

12 декабря 1962 г. получено из редакции:
1. Солженицын. Два рассказа.
2. Луконин. Стихи.
3. Ахматова. Стихи.
4. В. Кин. Из неоконченного романа.
5. Огден Нэш. Стихи.

Илья Эренбург. «Люди, годы, жизнь». Вся книга 5-я в 2 экз. получена 20 ноября. Один экз. у т. Криушенко.

В. Каверин «Белые пятна» — с № 12 (без изменений).

14. XII днем позвонил т. Закс и спросил: «Прочитали ли вы Эренбурга?»

Ответил: «Читаю». Относительно В. Каверина «Белые пятна» на мой вопрос, что означает упоминание в содержании № 1 (1963 г.) статьи В. Каверина, т. Закс ответил: «Статья В. Каверина была прочитана т. Ильичевым, который сказал, что можно на один № **оттянуть** * ее публикацию... Поэтому она включена в № 1-й условно и в случае необходимости редакцией будет передвигаться в дальнейшие номера». Об этом информировал т. Семенову.

Вечером 14.XII вместе с «Докладной запиской» сдал т. Семеновой вариант предварительной читки книги 5-й «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга.

Из статьи В. Каверина «Белые пятна»

«Перелистайте многие диссертации, статьи и книги, написанные в сороковых и пятидесятых годах. Догматизм, холодная поучительность, вульгарность мешали тогда правильному развитию литературной науки. На карте истории советской литературы остались белые пятна, и стереть их — лучше поздно, чем никогда,— необходимо (...)

Трагическая история Михаила Зощенко не известна широким читательским кругам. Книги его не издавались много лет (...)

В один далеко не прекрасный день этот широко известный писатель оказался в положении изгнанника, в полном одиночестве. От него отвернулись даже те, кого он считал своими друзьями. Его исключили из Союза писателей и перестали печатать.

В газетах и журналах, в тысячах статей, речей, резолюций его, врага всякой пошлости, стали называть пошляком, хулиганом, подонком...» и т. п. (стр. 1, 2, 6 верстки статьи для № 12, 1962).

Из дневника цензора В. С. Голованова

16.XII. Сдал т. Семеновой для принятия решения подборку новых стихов Анны Ахматовой с мнением о их непригодности для публикации.

Одновременно сдал оба рассказа А. Солженицына:

1. «Случай на станции Кречетовка».
2. «Матренин двор».

21. XII в 15.00 позвонил т. Закс и сообщил: с № 1 редакция статью В. Каверина «Белые пятна» снимает. Вместо нее пойдет художественная проза: Волынский «Сквозь ночь».

Сообщил об этом немедленно т. Семеновой.

27.XII. По указанию т. Аветисяна был вызван т. Закс, которому были по И. Эренбургу — № 1 журнала — высказаны замечания Главлита СССР. Закс все замечания принял и согласовал правку с автором. Все это было мною доложено т. Аветисяну. Итак, первые 7 п. л. оформлены к печати:

1. Два рассказа Солженицына.
2. Стихи Луконина.
3. Стихи Ахматовой.
4. И. Эренбург. Начало 5-й книги «Люди, годы, жизнь».

Сдал на последующий контроль т. Криушенко,

---

* Л. Ф. Ильичев, несомненно, знал о готовящейся «исторической встрече», призванной перечеркнуть разговор Твардовского с Хрущевым, когда просил «оттянуть».— *В. Л.*

Конец декабря 1962 г.

Маршак говорит: «Вы знаете, я подумал, кто самый крупный абстракционист? Сталин. Он все время жил в мире фетишей и абстракций».

На «исторических встречах» («Подождали бы, пока история их так назовет — а у нас „исторические“ на другой же день»,— ворчит Александр Трифонович) на чем свет стоит бранят формалистов, абстракционистов, Э. Неизвестного, «белютинцев». Начинают с абстракционизма, но целью имеют уничтожить реализм.

Впрочем, пока Солженицын в фаворе, газеты повторяют формулу: «Повесть напечатана с ведома и одобрения ЦК КПСС». На приеме Хрущев поднял Солженицына из-за стола и представил присутствующим. Суслов тряс его руку. Это было 17 декабря в Доме приемов на Ленинских горах.

25. XII. 1962

На квартире у Саца на Арбате Твардовский впервые читал нам обновленного «Теркина на том свете». «Еще что-то доделывать буду, но поле обежал»,— сказал Александр Трифонович.

Впечатление сильное. К такой сатире у нас непривычны — удастся ли напечатать?

Александр Трифонович рассказывал, что родилась поэма из главки прежнего, «военного Теркина», где появлялась Смерть. Когда в 54-м году эту поэму осудили, он не бросил работать над ней, занимался до осени 1956 года. Потом Венгрия — и опять отложил. Возвратился к ней в 61-м году. «Чувствую сам, стало гуще в середке».

24 и 26 декабря

Два дня ходил в ЦК на встречу молодых писателей и деятелей культуры с идеологической комиссией. В президиуме — Ильичев, Снастин *, Аджубей, Сатюков и др.

А мы — за ромбовидными столиками на четырех в зале. Здесь Евтушенко и Белла Ахмадулина, Вознесенский и Булат Окуджава, Аксенов и Гладилин. Начались пламенные неискренние речи. Что-то кричал с трибуны Вл. Котов, потом учено рассуждал о ревизионизме Ю. Суровцев и прочие подготовленные ораторы. Я несколько раз сгоряча выкрикивал реплики: «Неправда» и т. п. Ильичев встал за столом и сказал, обернувшись в мою сторону: «Мы знаем, кто это кричит, и если это повторится, попросим выйти из зала».

В перерыве, в курилке, ко мне подошел В. Чивилихин, знакомый с университета. «Что творится...»,— сказал я. Он горячо поддержал меня: «Да, что творится...» «Надо выступать»,— сказал я. «Да, пожалуй, надо выступить»,— ответил он. И мы разошлись по местам.

В конце заседания, когда Ильичев объявил, что заканчивает прения, Чивилихин выскочил с поднятой рукой, требуя слова. «Дать,

* Снастин Василий Иванович — работник аппарата ЦК КПСС, первый заместитель заведующего Идеологическим отделом.

дать!» — закричал я. «Только 5 минут»,— вынужден был согласиться перед гудящим залом Ильичев.

И Чивилихин понес: «Наши духовные отцы — Кочетов, Грибачев, Софронов, им стреляют в спину...»

Я рот раскрыл от изумления; почему-то я полагал, что он думает так же, как я. И как мило мы поговорили в курилке: «Надо выступать... Надо выступать...»

Моему благодушию был урок. 26-го речь произносил Ильичев, «воспитывал» творческую молодежь часа два — речь напечатана в газетах.

С Игорем Виноградовым говорил о критике. Неизвестно, что ей в этих условиях делать. Когда я пришел в «Новый мир», то задумал сначала ежемесячное обозрение журналов. Сговорил на это дело четверых: А. Лебедева, И. Виноградова, И. Соловьеву и А. Туркова. Но дело быстро посыпалось — отчасти из-за инертности наших критиков, отчасти же оттого, что ничего всерьез нельзя тронуть — и даже внутри редакции Дементьев всегда на страже, чтобы молодые «не увлеклись» и не впали в «крамолу». Первое же обозрение рассыпалось на отдельные статейки. И. Виноградов написал об очерке Ф. Абрамова «Вокруг да около». А сейчас, в свете «исторических встреч», и вообще неведомо, дадут ли что-нибудь делать.

28. XII. 1962

Встречали Новый год в редакции. Настроение уже не то, что в ноябрьские праздники.

Александр Трифонович тянул какой-то обрывок смоленской песни:

Белым снегом, белым снегом
Замело все пути.
Гляну-гляну на дорогу —
Не видать, где пройти...

И в самом деле не видать.

Утром Александр Трифонович был очень раздражен — ему подсунули книгу, вышедшую в издательстве им. Чехова в Нью-Йорке. Некий С. Юрасов дал там свое, в антисоветском духе, продолжение «Теркина».

Я понимаю, почему нервничает Твардовский — ему кажется, что это помешает «Теркину на том свете», скомпрометирует его.

Дементьев склонил Александра Трифоновича на публичный ответ С. Юрасову, но я уговорил его не без труда — воздержаться от печатания ответа в журнале. Пусть идет где-то в собрании сочинений, а нам не следует терять лицо и выступать в духе мелких пропагандистов.

Второе, что сильно взволновало Александра Трифоновича,— это обращение к нему молодого математика Р. Пименова, оказавшегося за свои высказывания или рукописные статьи в тюрьме в 1957 г. Как это — «Ивана Денисовича» печатаем, а людей все равно сажаем?

Александр Трифонович говорил об этом с Лебедевым, и тот обещал узнать и, если возможно, помочь *.

1963

7. I. 1963. Подписан к печати № 1.

В номере

А. Солженицын. Два рассказа («Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»).

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. 5.

Стихи Анны Ахматовой, М. Луконина.

Статьи И. Забелина («Человек коммунизма, природа и наука»), Т. Бачелис («Режиссер Станиславский»), Ю. Манна («Художественная условность и время»).

Рецензии Е. Стариковой, А. Берзер, Б. Зингермана и др.

10. I. 1963

Александр Трифонович в редакции. Говорили о новейшей чичиковщине. В Союзе писателей у К. Воронкова неприятность с ЦСУ.

Передали статистикам справку, а по ней оказалось, что членов Союза писателей 5000, а общественной работой заняты из них 7000! (По-видимому, у многих по две нагрузки.) Усталым голосом председатель ЦСУ Старовский объяснял, что это пустяки. В самом деле, с такими ли приписками ему приходится иметь дело!

Александр Трифонович вспоминал, как затопляли котлован Ангарской ГЭС. Все строители искренне радовались, когда рванула вода, а он не понимал — чему. Кто-то объяснил: фиктивные кубометры выработки — теперь все вода закроет.

Вчера в редакции был ленинградский приятель Твардовского А. Македонов. Они были близки еще по Смоленску. Потом Македонов сидел, стал в ссылке геологом, теперь доктор геолого-минералогических наук, но по-прежнему увлечен поэзией. Расспрашивал о Евтушенко и Вознесенском.

Александр Трифонович говорил с некоторым раздражением: «Для добрых людей такое явление, как Солженицын, это манифест. Но для таких, как наши молодые, это что с гуся вода... И потом, они так малоначитанны: „Черный обелиск“ Ремарка читали, а „Капитанскую дочку“ не прочли».

— А что вообще в поэзии интересного? — пытал его Македонов.

— Что я тебе, сторож? Читаю вот рукописи в журнале, пока с должности не согнали... Одному поэту хотел тут сказать впрямую, грубо даже: хоть бы с вами какое несчастье случилось, кто из родственников под машину попал, что ли... Нет, не дай, конечно, бог. Но не писали бы тогда таких пустяков, наверное. «...Но с общественным успехом,— продолжал Александр Трифонович,— нельзя не

* Р. Пименов был освобожден. Я познакомился с ним в редакции, когда он приходил благодарить Александра Трифоновича.— *В. Л.*

считаться, даже если сознаешь всю его неправоту. На Театральной площади хвост в тысячу человек стоит за стихами Вознесенского. Это мода. Как ни сопротивляйся узким брюкам, все равно наденешь и будешь носить, пока мода не схлынет».

11. I. 1963

В Союзе писателей поговаривают о необходимости реформы оплаты, увеличения гонорара. Чиновники возражают:

«Назовите мне писателя, у которого на книжке меньше миллиона». Так-то, литературная голытьба!

Приходил Марк Галлай. Твардовскому понравились его записки летчика-испытателя. Александр Трифонович говорил о ложной беллетризации, которая, случается, портит всю поэзию и доказательность документа.

Из дневника цензора В. С. Голованова
Прохождение № 2—1963

11 января получил материалы предварительной читки № 2, не полностью, но главные разделы. Доложены замечания цензора начальнику отдела тов. Семеновой 22. I. 63.

Утром 23. I звонил т. Кондратович: посылаем 9 п. л., в том числе — Илья Эренбург.

24. I. 1963

После переговоров с т. Семеновой имел разговор вечером по телефону с т. Кондратовичем по поводу сущности стихотворения Р. Гамзатова «О собраниях» *. Доложил т. Семеновой об этом разговоре. Оформили к печати 7 п. л. По И. Эренбургу пока оформления к печати не давал.

25 января. Состоялась встреча т. Аветисяна с тов. Кондратовичем. Был проведен специальный разговор по поводу ряда замечаний цензуры по материалам И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (продолжение книги 5-й в № 2—1963 г.). Здесь т. Аветисян конкретно указал т. Кондратовичу на те места, которые должны быть автором исправлены в соответствии с замечаниями Н. С. Хрущева (17 декабря 1962 г.) на Воробьевых горах, и др.

Т. Кондратович заявил: «Эренбург находится в Париже, в воскресенье 27. I должен возвратиться. Исправление он должен сделать сам собственноручно».

ПОПУТНОЕ

В январе 1963 года одна за другой стали появляться критические статьи о произведениях, напечатанных в «Новом мире». Особенно

---

* Стихотворение Р. Гамзатова начиналось так:

Собрания, их шум и тишина...
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания.

усердствовали «Известия». За короткий срок в этой газете, помещавшейся в одном здании с нами и набиравшейся в одной типографии, появились сразу несколько ядовитых материалов: статья В. Ермилова «Необходимость спора» — против Эренбурга, реплика «Турист с тросточкой» — по поводу зарубежных очерков В. Некрасова и, наконец, перепечатка из вологодской газеты письма студента Берсенева — против «Вологодской свадьбы» А. Яшина. Такой критический «залп» «Известий» оказался тем более неприятен, что к газете прислушивались как к официозу и в ее фарватере шли другие издания.

«Известия», 30 января 1963 г. (№ 26)

РЕПЛИКИ

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

Уважаемый Александр Трифонович!

В вологодской молодежной газете напечатана реплика по поводу рассказа А. Яшина «Вологодская свадьба». Мы сочли эту реплику заслуживающей внимания и поэтому перепечатываем ее. Думается, что и Вы отнесетесь к реплике со свойственным Вам глубоким пониманием литературных процессов.

Далее следовал такой текст:

«Недавно, просматривая свежие номера журналов, я обратил внимание на записки Александра Яшина „Вологодская свадьба", опубликованные в двенадцатом номере журнала „Новый мир" за 1962 год.

Сам я, можно сказать, вырос в тех местах, которые описывает Яшин. Не секрет, что в прошлые времена называли Никольский район и „глухоманью", и „медвежьим углом". И если бы записки Яшина появились десятилетия два назад, они бы не вызвали серьезных возражений. Но теперь в облике района многое изменилось. Остались местами какие-то черты старины, но и те уже исчезают. Веяния новой жизни одерживают верх, а Яшин все еще придерживается старого мнения о деревне как о глухой, беспросветно темной, где люди так бедно живут, что все, что было „заработано, скоплено за несколько лет,— все поглощает свадьба".

В записках нет ни одного положительного образа. Даже главные герои, как, например, невеста Галя до свадьбы показана, как безропотное существо. На свадьбе она сидит, словно истукан. И не спляшет, и не споет, и гостей не повеселит, а лишь „то и дело кланяется, как заведенная,— таков был наказ матери". Правда, дальше читаешь, наконец: „Смеется и счастливая невеста". Но затем она ведет себя так, что это никак не вяжется с торжественной обстановкой и ее праздничным настроением.

Посмотрим, что представляет собой ее жених Петя: вот он чванится, куражится, рвет на себе рубаху, все его мысли вертятся вокруг одного, как бы только напиться до бесчувствия.

Брат невесты Николай — тихоня, один из тех людей, „на которых воду возят", как пишет автор. Это тоже не образец для молодежи. Удивительно, в каких мрачных красках показана наша молодежь!

Второстепенные персонажи записок выглядят еще более отвратительными. Одни из них, как причитательница Наталья Семеновна, нечистая на руку, „тянет из колхоза все, что плохо лежит". Другие, как дядя жениха, до войны — хулиган, теперь — жулик и пьяница, зверски истязающий жену. Третьи — муж Тони — ненасытный женолюб, в прошлом — убийца, в настоящем — ловкий мошенник, не раз привлекавшийся к ответственности за свои темные махинации. „Какие кругом ужасные люди,— скажет читатель,— морально опустошенные, темные, с ограниченным кругозором. Пьянство, грязный разврат, жульничество на каждом шагу".

Не спорю, встречаются еще у нас и пьяницы, и хулиганы. Но их единицы. Нас окружают всюду честные, хорошие люди (...)

Нет, не прав А. Яшин, описывая жизнь нашего села! Такие деревни, как Сушиново, где „нет ни электричества, ни радио, ни библиотеки, ни клуба, а кинопередвижка за последние два года ни разу не заглядывала", теперь редкость. А у автора единичный случай выглядит как типичный.

В другом месте Яшин пишет, что оборудование на льнозаводе допотопное. Но он не учитывает, что рядом со старым выстроены корпуса нового завода, оснащенного современным новейшим оборудованием.

Автор записок копается во всем плохом, что есть в нашем районе, и объединяет это плохое в одно целое. Слишком уж в мрачных, пессимистических тонах показана наша жизнь. Мы не такие, как утверждается в произведении А. Яшина.

А. Берсенев, студент
Вологодского пединститута».

30. I. 1963

Начинается повизгиванье газетных шавок на «Новый мир». Все вокруг в панике, трижды на дню распространяются слухи, что Твардовского «сняли». А в редакции спокойно. Номера идут, конечно, тяжелее. Цензура придерживает Эренбурга.

Последние три книжки журнала имеют поразительный успех. На днях мы были с Дементьевым на встрече с читателями в Институте Азии и Африки. Когда собирались ехать туда из редакции, Дементьев зашел ко мне: «А ты подумал, что мы им будем говорить?» Я ответил: «Сначала изложим вкратце программу журнала, его позицию, а потом на вопросы будем отвечать».

Дементьев спросил неожиданно: «Ну, хорошо, а какая у нас программа, как ее определить?» Н-да, вопрос ребром...

Я ответил экспромтом, почти не раздумывая: «Правда, демократизм и культура». «Ну, вот и излагай»,— согласился Александр Григорьевич.

На вечере было много сочувственных записок, к нам подходили, жали руки. Говорили «„Новый мир" — это наша жизнь, каждый номер журнала — радость. Держитесь!»

Б. Закс меланхолически говорит, что он 13 лет в журнале, и все 13 лет с малыми паузами журнал ругают и ищут «порочную линию». Было это при культе Сталина, казалось бы, журнал доказал с тех пор свою правоту... Нет, снова началось. «Я уж и не удивляюсь, когда нас всюду бранят. Привык и считаю это в порядке вещей. Один раз только удивился, когда Архипов * в «Огоньке» что-то похвалил. Это меня прошибло, я даже забеспокоился».

31. I. 1963

Был в Союзе писателей на обсуждении прозы 1962 года. Сидел в заднем ряду в Малом зале. Мрачный Яшин тронул меня сзади за плечо и протянул вырезку из вологодской газеты. Я взглянул и сказал: «Это что! Сегодня письмо Берсенева перепечатали „Известия“. Он не знал еще об этом и в лице переменился. Стал рассказывать, возмущаясь, как в Вологде организовывали протест земляков, напечатанный в «Комсомолке». Многие, кто подписали письмо, сами очерк еще не читали. Подписал и секретарь райкома, с которым Яшин брался, оружием менялся, который сам ему о всех тяготах и безобразиях в районе рассказывал.

Я пробовал успокоить Яшина, мол, пройдет несколько лет и все на свои места встанет. «Да, только я прежде сдохну»,— сказал он резко и взглянул на меня недобро, затравленно.

М. Хитров рассказывал, как делались статейки в «Известиях» против «Нового мира». Толчком к реплике против Некрасова явилось какое-то интервью, которое он неосторожно давал в Париже. Реплику писал Мэлор Стуруа вкупе с зам. главного редактора Гребневым. На Эренбурга долго натравливали Ермилова. Посылали статью на просмотр Ильичеву. Словом, дело это сугубо запланированное и централизованное.

Передают наглую фразу первого секретаря ЦК комсомола С. Павлова: «Этим господам Эренбургу, Паустовскому и Твардовскому не удастся увести советскую литературу с главной линии ее развития».

Из дневника цензора В. С. Голованова

31. I. Утром по телефону получил через зав. редакцией т. Бианки исправление по материалу И. Эренбурга. В 12. 30 звонил т. Кондратович с просьбой ускорить решение. Причем сказал: «Эренбург больше ни на какие исправления не пойдет, вплоть до скандала в международном масштабе».

2. II. 63, в субботу — направлено письмо в ЦК КПСС по поводу И. Эренбурга (№ 2 журнала «Новый мир» — «Люди, годы, жизнь»).

5. II. 1963

Цензура держит полосы Эренбурга. Номер стоит. Вернулся Александр Трифонович из поездки в Карачарово к Соколову-Микитову, но похмелен, нехорош, потому в редакции не появлялся. Передают,

* Архипов В. А.— преподаватель МГУ, литературовед и критик консервативного толка.

что он кончил почти начисто «Теркина», еще поправит самые мелочи — и на машинку. Говорит: «Чего они прицепились к Яшину, я в Калининской области пострашнее сейчас видел».

8. II. 1963

Свистопляска вокруг Яшина продолжается.

Раньше было правилом: «Не обобщай».

Теперь еще и — «не конкретизируй». Хорошенькое положение у литературы!

Думал о том, что за последние полгода-год сформировалось и выявилось особое течение в прозе:

А. Яшин, Алексей Некрасов, В. Войнович, Е. Дорош — сочинения в чем-то друг другу близкие — и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкий этому роду литературы.

Устав от лжи и приспособлений «вымысла», литература обратилась к правде почти документальной, «очерковой», самой, по видимости, не связанной «условиями», достоверной. Вспоминается, что Толстой говорил о близком конце, гибели романа: стыдно придумывать, что могло случиться с вымышленными героями, а надо рассказывать честно, то, что видел и знаешь. Недурная тема для статьи: «О честной прозе».

В Москве Солженицын. Привез Александру Трифоновичу поэму 1948—1950 гг., написанную в лагере. Обещает к апрелю два новых рассказа.

Пристал ко мне: «беда» и «победа» — слова одного ли происхождения? Искали в словаре Преображенского.

Он стал больше интересоваться театром. Видно, обольщен «Современником», передал им свою пьесу.

«Иван Денисович» выходит отдельными изданиями — в «Роман-газете» и «Советском писателе». По настоянию редакторов убрал «фуй» в трех местах, зато кое-что вставил: в речь Тюрина и потом еще реплику по поводу охраны.

Из дневника цензора В. С. Голованова

12. II. 63. Позвонила т. Бианки... Просила возвратить подписной редакционный материал И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» из № 2. Немедленно информировал об этом начальника отдела т. Семенову. Получил указание: «Возвратить». 16. 45.

13. II. 1963

Книга Эренбурга снята после разговора в ЦК КПСС. Александр Трифонович был сегодня (13. II) на совещании у Л. Ф. Ильичева.

Ему кажется, что намечается некоторый «откат», потепление. Но факты говорят иное.

На совещании Александр Трифонович бросал неосторожные реплики. «Зачем нас собрали? Догадаться можно». И рассказал Ильичеву, как О. Берггольц, когда они шли на подобную встречу в 57-м, кажется, году, напомнила концовку тургеневских «Певцов»: голос из-

за реки: «Антропка! — Чево? — Иди, тебя тятька секти будет!»

Грибачев, одержимый пиететом к теории, сказал, что главная беда в бедности эстетики. Нужны, мол, труды по теории соц. реализма.

«А по-моему, не нужны»,— дал реплику с места Твардовский.

«Как же,— настаивал Грибачев,— нам нужно определение социалистического реализма». «А я скажу,— возразил Александр Трифонович,— поскольку беседа доверительная, всегда сомневался, что к слову „реализм" нужно прибавлять какой-то эпитет. Реализм он и есть реализм, или верность правде».

«А как же, есть наша правда»,— пытались поправить его.

«Нет, ленинское понимание другое,— отбивался Твардовский.— Правда одна. Иначе спрошу: а истин сколько?»

Вечером в тот же день мы были у Саца. Александр Трифонович приставал к молодым музыкантам — Саше Сацу и его приятелю,— пусть сыграют что-нибудь из 13-й симфонии Шостаковича. «Да мы не помним».— «Ну, как же не помните, если понравилось, как вы говорите, то непременно что-нибудь запомнится. Я вот хорошую прозу целыми абзацами запоминаю».

Приставал, приставал к ним, потом удовлетворился тем, что попросил сыграть «Лунную сонату», «как командировочный майор».

14. II. 1963

Для № 3 написал рецензию на булгаковского «Мольера». Дементьев недоволен: упрекает, что я слишком обнажил тему «художник и власть». Обычно Александр Григорьевич так округл, мягок в обращении, но сегодня мы с ним поругались. Дело ли критика затуманивать замысел писателя, показывать вид, подобно автору предисловия Г. Бояджиеву, будто не понимаешь, что он хочет сказать.

В газетах попытки затушевать критику Сталина. Есть сорт людей, которые относятся к периоду культа, как в цыганском романсе:

> Что прошло, никогда не настанет,
> Так зачем же о том вспоминать?

ПОПУТНОЕ

Недавно я нашел верстку этой своей статьи с замечаниями Дементьева на полях. Он отчеркнул несколько абзацев, такие, например:

«Известны эпохи, когда художнику, чтобы быть услышанным народом, приходилось искать благорасположения короля. И тут, если рассудить, гораздо меньше стыдного для самого художника, чем для тех понятий, какие сложились в обществе...»

Или:

«Король-Солнце, принимавший за чистую монету похвалы своему художественному вкусу, считавший непогрешимыми свои суждения об искусстве, заставлял драматурга безжалостно кромсать его пьесы».

Дементьев нашел здесь опасные «аналогии», написал на полях:

«Кажется, стреляем по своим. В связи с Солженицыным и перед „Теркиным на том свете“ особенно попадает в цель...»

«Боюсь, что от такой трактовки не поздоровится не только Булгакову. Притом Булгаков пишет по одному адресу. А рецензия, пожалуй, имеет в виду и другой...»

«Даже и Сталин — не Людовик. И тем более Франция при Людовике — не СССР при Сталине».

16. II. 1963

В редакции пусто. Александр Трифонович уехал на встречу с избирателями. Д. А. Поликарпов предложил ужасающую правку по Эренбургу, которая может быть условием возвращения его во 2-ю книжку журнала. Предлагает снимать чуть ли не целыми страницами, и не только места, заподозренные в «еврействе», но и направленные против культа. Побывав в ЦК, Дементьев ездил на дачу к Эренбургу, а Поликарпов сидел допоздна в отделе и ждал результатов у телефона: видно, тоже побаивается мирового скандала.

8. III. 1963

Эренбург разрешен с поправками. В ЦК пошли на компромисс, потому что Эренбург послал Хрущеву письмо, где писал о возможном международном резонансе на запрещение его книги и о том, что его деятельность эмиссара мира будет в этом случае сильно затруднена.

Наша истеричная литературная среда живет слухами и, торопя события, вопит, что Твардовского «сняли».

Между тем он был сегодня в редакции — свеж и ясен. Рассказывал о поэме Солженицына, рукопись которой прочитал. Это все подготовка к «Ивану Денисовичу», не более, считает Александр Трифонович. И нехорошо, что написано в стихах, хотя стихи крепкие, профессиональные. Понятно, почему в стихах: он сочинял в заключении, без бумаги, и это была единственная возможность закрепить в памяти придуманное. Заучивал наизусть четверостишие и сочинял следующее. Этим он поддерживал себя. Какой-то огонек душевной жизни в нем теплился. Если бы что-то подобное было рассказано в прозе, возможно, могло бы получиться что-то вроде «Былого и дум», считает Твардовский.

По словам Александра Трифоновича, Солженицын преподавание в школе совсем оставил, работает вовсю. Говорит, что некогда, более нужные замыслы есть, но вообще-то он хотел бы написать повесть о молодежи, он ведь все последние годы в школе с ней возился.

Говорили с Твардовским о закономерности сказочной, условной формы в «Теркине», о призрачности, какая цветет в бюрократическом мире. Вот газеты: часто то, что в них пишется,— выдумка. И это ясно и автору статьи, и читателям, которых он даже не пытается похитрее обмануть. Будто условились играть в такую игру.

Работа над новым «Теркиным» идет к концу: «отделочные работы», как выразился Трифоныч, «побелка, подсушка».

Из дневника цензора В. С. Голованова

20. II — совершенно неожиданно, выполнив указания Идеологического отдела ЦК КПСС, редакция журнала «Нового мира» представила вариант, после вторичного исправления автором, материала «Люди, годы, жизнь» на № 2 журнала. По указанию начальника Главлита СССР т. Романова, после тщательного рассмотрения исправлений, которые не меняют существа,— материал был мною разрешен к печати.

4. II. 1963. Подписан к печати № 2. (Так в выходных данных, но в действительности номер вышел лишь после 20 февраля.)

В номере:

К. Воробьев. Убиты под Москвой. Повесть.

В. Войнович. Два рассказа («Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра»).

В. Шукшин. Рассказы («Они с Катуни»).

В. Александров. «Фронтовые рукописи»

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, кн. 5 (продолжение).

Стихи Р. Гамзатова, С. Щипачева.

Статья М. Чудаковой и А. Чудакова («Искусство целого»).

Рецензии А. Кондратовича и др.

27. II. 1963

Из-за бесконечных задержек — сначала в цензуре, потом в типографии — только сегодня сигнал 2-го номера.

Был в университете, и Глаголев * спрашивал меня: «Правда, что набор Эренбурга рассыпали?» Ползут слухи.

Александр Трифонович был после недельного перерыва в редакции. Сказал, что отдает на машинку «Теркина». «Точку поставил. Кажется, получилось, посмóтрите. Вернул кое-что из старого варианта, но выглядит совсем по-новому».

Я составил для очередного номера обзор читательских писем по А. Яшину и В. Некрасову. Есть письма замечательные, с таким серьезным пониманием совершающегося в литературе, что диву даешься. Это не графоманы пишут, а люди, которые, может быть, впервые обращаются в редакцию. Несправедливая критика их задела почти лично. И какие трогательные слова одобрения и поддержки «Нового мира»! У меня даже настроение поднялось.

Материал мой уже набран, но Александр Трифонович и Александр Григорьевич (Дементьев) выразили сомнение — давать ли письма о В. Некрасове? Не лучше ли оставить одно имя — Яшина. Обидно за Некрасова, но тут есть тактические резоны.

Александр Трифонович прочитал в рукописи рассказы Вас. Белова и говорит: «Даровит, но молод. Думает, что надо писать так, чтобы в каждой фразе была какая-то художественная подробность, сравнение, либо что-нибудь вроде того».

Твардовский нахваливал мне книгу Н. Смирнова-Сокольского о прижизненных изданиях Пушкина. Считает, что это одна из самых

* Глаголев Николай Александрович — профессор МГУ.

интересных и дельных биографий Пушкина, какие ему приходилось читать. А написано совершенно без претензий, как простое библиофильское описание разных изданий.

Из верстки обзора писем (для № 3)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
О «ВОЛОГОДСКОЙ СВАДЬБЕ» А. ЯШИНА

Большую часть разнообразной читательской почты нашего журнала составляют отклики на произведения художественной прозы. В последнее время многие письма посвящены рассказу А. Яшина «Вологодская свадьба», опубликованному в 12-й книжке журнала за 1962 год.

Приток писем в редакцию значительно усилился в связи с тем, что в печати вокруг этого произведения завязалась полемика. По поводу «Вологодской свадьбы» выступил читатель А. Берсенев, студент Вологодского пединститута. Его заметка, напечатанная 25 января в газете «Вологодский комсомолец», 26 января была перепечатана областной газетой «Красный Север», а 30 января появилась в «Известиях». Кроме того, 31 января 1963 года в «Комсомольской правде» было опубликовано «Открытое письмо» сорока трех участников читательской конференции в селе Никольское, озаглавленное «Свадьба с дегтем».

Редакция считает необходимым дать слово читателям «Нового мира», выразившим желание принять участие в этой полемике и приславшим нам свои письма.

«...Большое спасибо редактору этого очерка. Но еще я больше благодарен моему земляку Александру Яшину за его новое произведение социалистического реализма. Вчера у нас в Доме культуры была читательская конференция. И очень жалко, Александр Яшин, что Вас не было в Вологде. Вы почувствовали бы, что у Вас много друзей, которые уважают и ценят Ваш талант как писателя-реалиста. Конечно, были люди, не скрою от Вас, которые обижались на Вас.

Многие читатели говорят, что ни одного положительного героя в Вашем произведении нет и что учиться нашей молодежи не на чем. Они глубоко заблуждаются. Таким товарищам мне хочется посоветовать: „Прочитайте еще раз, внимательно“. Я очень хорошо почувствовал Ваше теплое, любовное отношение к нашим землякам, нашему народу. И очень правильно, как говорят в народе — „молодец“, что Вы затронули столько важных вопросов жизни нашей деревни. Это только на пользу нашим руководителям, нашей молодежи, которую Вы учите смело смотреть на действительность, глубоко задуматься над смыслом жизни.

Просто замечательно, что Ваш очерк вышел в свет. И я просто рад за Ваше новое произведение, потому что оно находит отклик у всех простых и честных людей.

Желаю Вам новых успехов.

Ваш читатель *Валерий Зязин*
(Вологда)».

Из дневника цензора В. С. Голованова

27 февраля в 16 ч. 15 м. курьер редакции журнала принес материал рубрики «Трибуна читателя» — отклики на произведения А. Яшина «Вологодская свадьба» и В. Некрасова «По обе стороны океана»,— в связи с имевшей место критикой этих произведений в печати.

28 февраля в 12.15 позвонил тов. Кондратович и сказал: «Мы пришлем вам новый вариант рубрики „Трибуна читателя" на № 3 — речь идет только о „Вологодской свадьбе"... Все о В. Некрасове и его очерках нами снимается». Немедленно об этом информировал начальника отдела т. Семенову, т. к. еще утром 28. II этот 1 вариант мною был сдан ей для ознакомления.

4. III состоялся разговор с Кондратовичем по телефону (из кабинета т. Аветисяна в присутствии начальника отдела т. Семеновой) относительно того, чем обусловлена задержка №.

Кондратович ответил: «Эренбург что-то исправил, но мы в редакции этого еще не знаем». Спросил также о моем мнении относительно подборки писем по А. Яшину и Некрасову. Я ответил, что буду докладывать руководству. На мой взгляд, есть попытка отбиться от критики.

5. III. Редакцией прислан материал «Трибуны читателя» — только с подборкой писем по «Вологодской свадьбе»... Немедленно доложено т. Романову.

Из статьи Вадима Кожевникова «Товарищи в борьбе»
(«Литературная газета», 2 марта 1963 г.)

«Наука радости — неотъемлемое качество нашей литературы, выражение ее глубочайшего оптимизма. Правда, в последнее время, мне кажется, на страницах наших журналов появляется слишком много „сварливых" рассказов и повестей. В них — упрощенный показ человека, в них — „новаторство" лишь ради того, чтобы затруднить восприятие не слишком серьезного содержания. Признаться, я испытал чувство большой душевной горечи, когда прочел в „Новом мире" рассказ „Матренин двор" А. Солженицына, создавшего такое замечательное произведение, как „Один день Ивана Денисовича". Мне кажется, что рассказ „Матренин двор" написан автором в том состоянии, когда он еще не мог глубоко понять жизнь народа, движение и реальные перспективы этой жизни. Такие люди, как Матрена, в первые послевоенные годы действительно пахали на себе в разоренных немцами деревнях. Советское крестьянство совершило великий подвиг в тех условиях и дало хлеб народу, накормило страну. Это одно должно вызвать чувство благоговения и восхищения. Рисовать советскую деревню как бунинскую деревню в наши дни — исторически неверно. Рассказ Солженицына снова и снова убеждает: без видения исторической правды, ее сущности не может быть и полной правды, каков бы ни был талант.

Традиции литературы критического реализма не могут быть механически перенесены на нашу почву. Иначе — манера повествования главенствует над смыслом и образ иной, уже далекой, мертвой эпохи овладевает писателем. И вот, даже помимо авторской воли, когда писатель пытается изображать нашу действительность, исходя из принципов критического реализма, возникает исторически неверная перспектива.

Художественные средства не есть нечто нейтральное. Они не могут существовать независимо от идейного замысла...»

1. III. 1963

С. Х. Минц переписала на машинке «Теркина» и, отдавая его в руки Александру Трифоновичу, сказала: «Я боюсь. Там есть опасные места». «Где?» — поинтересовался Твардовский. «На странице 40, например».— «А по-вашему, что же, остальные места безопасные?» — спросил с ноткой досады Александр Трифонович.

4. III. 1963

Генерал Горбатов принес свои воспоминания и разговаривал с Александром Трифоновичем. Твардовский уже заглянул в рукопись и хвалит ее — за честность и непринужденность рассказа.

Я рассказал Твардовскому, как ругают чиновники Министерства культуры «Горе от ума» в постановке Товстоногова, находят там намеки на современность. «Ну, уж если Грибоедов стал опасен — это край»,— отозвался Александр Трифонович.

Недавно я дал ему для чтения номер «Невы» с очерком Ф. Абрамова «Вокруг да около». Александр Трифонович очень воодушевился, но сказал с печалью: «Я не мог бы это напечатать».

В честь юбилея Елены Феликсовны Усиевич * был банкет в ЦДЛ, куда она пригласила и меня. Шумно, весело, собралась вся когорта «Литературного критика».

Александр Трифонович произнес тост за **убежденность.** Сац потом рассказывал мне интересные подробности о том, как Е. Ф., дочка Феликса Кона, возвращалась в Россию в апреле 1917-го в одном поезде с Лениным. Ленин взял у нее красную косынку и махал ею из окна, приветствуя собравшихся на перроне. Смешной рассказ об организационном даре Владимира Ильича. Видя, что в единственный туалет все время создаются очереди, он сосчитал мужчин и женщин, взял лист бумаги и составил точный график посещения ретирадного места. Подробность не для официальной мемуаристики.

5. III. 1963

Д. А. Поликарпов запретил сделанный мною обзор писем по А. Яшину. Твардовскому он сказал: «Жалуйтесь на меня куда угодно, если хотите, но я решительно против».

7—8. III. 1963

Совещание в Кремле с руководителями партии и правительства. На второй день выступил Хрущев. Поминал, как написанные «с партийных позиций», поэму «За далью — даль» и «Ивана Денисовича».

Зато резко выступил против Эренбурга и Некрасова, любителей «жареного», т. е. сенсаций, как бы вновь приглушая тему развенчания культа. Много и сбивчиво говорил о евреях, в том смысле, что и среди них «встречаются хорошие люди».

Реакция по всему фронту, откат от XXII съезда.

---

* Усиевич Елена Феликсовна (1893—1968) — критик, известный литературный деятель 30-х годов.

Из выступления Н. С. Хрущева на встрече с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 г.

«Надо дать отпор любителям наклеивать ярлык „лакировщика“ тем писателям и деятелям искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни. А как же называть тогда тех, кто выискивает в жизни только плохое, изображает все в черных красках? Видимо, их следует называть „дегтемазами“».

«...Мне хотелось бы сказать несколько слов о товарище Эренбурге (...) Непосредственного участия в социалистической революции он не принимал, занимая, видимо, позицию стороннего наблюдателя. Думается, не будет искажена правда, если сказать, что с таких же позиций товарищ Эренбург оценивает нашу революцию и весь последующий период социалистического строительства в своих мемуарах „Люди, годы, жизнь“ (о мирном сосуществовании идеологий). „Прошлый раз И. Эренбург говорил, что идея сосуществования высказана в письме в виде шутки. Допустим, что так. Но тогда — это злая шутка“. (...) «Как видно, автор мемуаров с большой симпатией относится к представителям так называемого „левого“ искусства и ставит перед собой задачу защитить это искусство. Спрашивается — от кого защитить? Видимо, от нашей марксистско-ленинской критики. Ради чего это делается? Очевидно, для того чтобы отстоять возможность существования таких или им подобных явлений в нашем современном искусстве. Это означало бы признать сосуществование социалистического реализма и формализма. Товарищ Эренбург совершает грубую идеологическую ошибку, и наша обязанность помочь ему это понять» (...)

«Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова „По обе стороны океана“, напечатанных в журнале „Новый мир“» (...)

«Неприятное впечатление оставила поездка писателей В. Некрасова, К. Паустовского, А. Вознесенского во Францию...» и т. п.

16. III. 1963

После «встречи» не пишется, не читается. Вокруг растерянность, уныние. Перепуганные интеллигенты еще пуще запугивают друг друга.

Сац говорит, что так вели себя кукушки в прифронтовой полосе, где то и дело взрывы, стрельба. Раза два прокукуют: ку-ку, ку-ку... а потом начинают нервно, без пауз, кудахтать: ку-ку-ку-ку-ку... Сейчас вокруг всюду такие нервные, пуганые кукушки.

Этими днями прочел неплохую рукопись Анатолия Кузнецова о доярке *. Хорошо бы напечатать.

Я взял для себя за правило — говорить авторам в глаза правду об их сочинениях. Не всегда это легко. Но тут как-то меня спросили: что вы думаете о такой-то вещи? Я напрягся, стал мучительно собирать мысли, а потом понял, что надо просто сказать: ничего не думаю. Простите, но мне это неинтересно. В самом деле, какой вздор

* Повесть А. Кузнецова «У себя дома».

делать вид, что у тебя есть мнение по любому вопросу. Что я знаю — то знаю, что понял — от того не отступлю. Но есть множество явлений в жизни и в искусстве, о которых я не могу сказать по совести, не тужась, за я или против. Увы, не решил пока.

Как облегчает жизнь искренность, и как мы не умеем быть простыми и искренними.

18. III. 1963

Совещание в МГК партии на Старой площади с московскими писателями. Последнее время очень ругают руководство Московской писательской организацией и особенно С. Щипачева, который будто бы заигрывает с молодыми и потакает им.

В президиум была послана провокационная записка (критика Залесского) о Твардовском: мол, где он, и пусть ответит.

Я вспомнил собрание 1954 года с обсуждением «Нового мира». «Plus ça change, plus c'est la même chause». * Те же окрики, те же ярлыки, та же ярость и озлобление у выступающих с трибуны и то же чувство унижения и стыда за происходящее, когда сидишь в зале.

Щипачев выступил достойно, его проводили дружными аплодисментами, но тут же последовал окрик Егорычева ** — грубый, бесцеремонный. Зал был дезориентирован, растерялся. И пошло: выступление за выступлением. Неуважение к людям, распущенность инстинктов, отсутствие достоинства все еще в силе в обывательской литературной среде, а те, кого собрали вчера,— наполовину обыватели, филистеры, которые возомнили себя писателями.

Из отчета о собрании
(«Литературная газета», 19 марта 1963 г.)

«Мы участвуем в горячих, жестоких идеологических боях,— говорит А. Сурков.— То, что было сказано в выступлениях товарищей Н. С. Хрущева, Л. Ф. Ильичева на встречах с деятелями литературы и искусства, нам надо положить в основу своей деятельности. Надо все сделать для того, чтобы как можно быстрее за своим рабочим столом ответить делом на заботу партии об идейной чистоте нашего боевого оружия, о его силе и мощи.

Мы должны прямо сказать и о некоторых ошибочных тенденциях, проявившихся в последнее время. Я преисполнен уважения к замечательному публицисту Илье Эренбургу. Но мемуары его нуждаются в серьезном, глубоком критическом разборе».

«Задача советских писателей — воспитывать молодежь на положительных примерах, вести ее к светлому будущему, к коммунизму,— сказал В. Тевекелян.— С этой точки зрения мне не ясна позиция, которую занимает редакция журнала „Новый мир". Мы знаем не только опубликованную на страницах этого журнала повесть А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича", но и его рассказ „Матренин двор". Когда чи-

* «Чем больше меняется, тем больше остается тем же самым» *(фр.)*.

** Егорычев Николай Григорьевич — первый секретарь МГК КПСС в те годы, вел это собрание.

таешь рассказ, складывается впечатление, что психология крестьянина осталась такой же, какой была шестьдесят лет назад. Но это неверно! Нам нужны произведения, которые бы исторически правдиво рассказывали об огромных революционных изменениях, происшедших в советской деревне».

Из статьи С. Павлова «Творчество молодых — служению великим идеалам» («Комсомольская правда», 22.III.1963).

Под предлогом борьбы против последствий культа личности и догматизма некоторые литераторы, кинематографисты, художники стали как-то «стесняться» говорить о высоких идеях, о коммунизме. Жонглируя высоким понятием «жизненная правда», извращая это понятие, они населяют свои произведения людьми, стоящими в стороне от больших общественных интересов, погруженными в узкий мирок обывательских проблем. И вот этих-то мещан иные авторы изображают с наибольшей симпатией!

Вред подобных произведений для воспитания молодежи очевиден. Подростку, не имеющему жизненного опыта, трудно критически разобраться в таких ущербных персонажах, тем более, что школа приучает его видеть в писателях авторитетных наставников. Вот и приходится нашим педагогам воевать с дурным влиянием некоторых книг, предназначенных для молодежи. Зато буржуазная пропаганда охотно берет такие произведения на вооружение, широко переводит и рекламирует их. На VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов представители американской, французской, итальянской и других делегаций рассказывали нам, что молодежь их стран часто спрашивает: почему в жизни мы встречаем хороших советских людей, а в некоторых советских книгах пишут совсем о других? И действительно, стоит почитать мемуары И. Эренбурга, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, путевые заметки В. Некрасова, «На полпути к Луне» В. Аксенова, «Матренин двор» А. Солженицына, «Хочу быть честным» В. Войновича (и все это — из журнала «Новый мир») — от этих произведений несет таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека непосвященного, не знающего нашей жизни могут, чего доброго, мозги стать набекрень. Кстати, подобные произведения «Новый мир» печатает с какой-то совершенно необъяснимой последовательностью.

А возьмите журнал «Юность» (орган Союза писателей СССР), предназначенный вроде бы для советского юношества. Что же он преподносит нашим подросткам в качестве идеала? Очень нравятся редколлегии «Юности» похождения пресловутых «мальчиков», которые если и запоминаются читателю, то прежде всего бойким жаргоном стиляг, пристрастием к кальвадосу, то бишь к чечено-ингушскому коньяку, и ковбойской бравадой, когда речь заходит о сексуальных проблемах.

22.III.1963

Тучи сгущаются. Утром в «Комсомольской правде» статья Павлова, где выстроен уже целый ряд «очернительских» произведений, напечатанных в «Новом мире».

Александр Трифонович в ярости. Звонил Поликарпову, ругал последними словами «зарвавшегося, невежественного мальчишку»

и требовал, чтобы статья была дезавуирована в партийной печати, иначе он снимает с себя полномочия редактора.

Поликарпов крутил, просил успокоиться, предлагал ехать на грандиозное зрелище перекрытия Енисея.

Дементьев сказал мне сегодня, что Твардовский настроен непримиримо: готов уходить, но не согласен каяться, лукавить и т. п.

С Эренбургом (в № 3) тоже никак не решится. Идет борьба уже из-за отдельных фраз (просят убрать, например, выдержку из дневника погибшей в войну девушки Инны Константиновой — о том, что ее угнетала ложь культа: не хватало масла, сахара, а митинги устраивали и кричали о счастливой жизни).

Старик вдруг уперся, и как его не понять! Но Поликарпов тоже стоит, как бык, требуя поправок. А номер — недвижим.

Вчера Александр Трифонович ездил к В. С. Лебедеву с рукописью «Теркина». Думаю, говорил и о журнале.

На совещаниях стоит крик о необходимости борьбы с империализмом, с буржуазной идеологией. А в газетах Западу отводится меньше всего места, зато со сладострастием избивают и охаивают своих — писателей, молодежь, интеллигенцию.

Г. Серебрякова в «Литгазете» уже ратует за добрые чувства к охранникам («они тоже советские люди»). Говорят, она была фавориткой начальника лагеря и жила там недурно.

В «Советской культуре» тоже примечательная статейка об Арк. Райкине, где написано, что смеяться над дураками «негуманно».

23.III.1963

Сегодня (в субботу) Александр Трифонович был у Ильичева. Тот встретил его словами: «Что — пришел просить об отставке?» «Не только, сначала просить объяснений»,— и Александр Трифонович набросился на статью Павлова. Ильичев выразил к ней свое якобы отрицательное отношение, утихомиривал Александра Трифоновича, сказал, что об уходе его не может быть и речи. Твардовский сказал в ответ, что, во всяком случае, если от него ждут перемен в направлении журнала в том духе, в каком хочется Павлову,— этого не будет. Лучше пусть его заранее освободят от поста редактора. Александр Трифонович настаивал на публикации писем о А. Яшине и передал Ильичеву мой обзор.

Твардовского уговаривают выступить на предстоящем пленуме Союза писателей. Я думаю — не надо.

25.III.1963

Нынешняя весна морозная, поздняя. Вот конец марта, и — около — 10°.

25-го решилось, кажется, окончательно с Эренбургом. Номер подписывают. Вчера продолжали портить мою рецензию на Цвейга и Булгакова («Мольер»). Выкинули еще два абзаца, которых мне было жаль.

А. Кондратович написал передовую «За идейность и реализм» — в связи с «историческими встречами». Трудились в поте лица над ее исправлением Александр Трифонович, Дементьев и я. Главный тезис — художественная правда, но самое деликатное — момент покаяния, его границы и тон. Спорили до хрипоты.

Из верстки передовой статьи «Идейность и реализм» для № 4

«Партия поддерживает здоровое, жизнеутверждающее критическое направление в искусстве социалистического реализма. С одобрения ЦК КПСС в последнее время была опубликована, например, повесть А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича".

...На встрече были подвергнуты принципиальной критике ряд произведений, в том числе опубликованные в „Новом мире" мемуары И. Эренбурга.

Действительно, пока в мемуарах И. Эренбурга речь шла о давно минувших днях, многое можно было воспринимать в них как живое, объективное свидетельство очевидца. Однако теперь, когда повествование приблизилось к нашим дням, стали заметны и некоторые ошибочные тенденции, субъективизм автора, проявляющийся и в превознесении „левого искусства", и в так называемой „теории молчания", и в одностороннем изображении некоторых важных событий прошлого.

Мы знаем и ценим И. Г. Эренбурга как одного из замечательных советских писателей, видного общественного деятеля, но считаем критику его мемуаров Н. С. Хрущевым и Л. Ф. Ильичевым справедливой и несем свою долю ответственности.

Правильными мы считаем и критические замечания, сделанные Н. С. Хрущевым по поводу напечатанных в нашем журнале путевых записок В. Некрасова. Мы относимся к критике „Нового мира" со всей серьезностью. Она поможет нашей дальнейшей работе».

Как рассказывают, 23 марта «Нью-Йорк Таймс» поместила сообщение из Москвы об освобождении Твардовского от обязанностей редактора «Нового мира» и о назначении В. Ермилова на его место.

Иностранные корреспонденты почуяли, что пахнет жареным, и весь день осаждали редакцию звонками, запросами, так что мы не успевали давать опровержения то агентству Рейтер, то Франс Пресс, то Ассошиэйтед Пресс.

В Таллине заперт на складе тираж последнего номера «Нового мира»: не продают в розницу, не высылают подписчикам. Считают, видно, что запретная литература.

Джанкарло Вигорелли прислал неожиданные, как бы без повода дружеские телеграммы Твардовскому и Некрасову. «Сердечно приветствую вас, дорогой друг...» Мы посмеялись — конспирация по-итальянски. А всего-то хочет выразить сочувствие в связи с газетной травлей.

Как за каждым крестьянином с сошкой стоит сейчас уже не семеро, а 27 с ложкой — всякие контролеры, инспекторы, инструкторы, погоняльщики, так же и за каждым талантливым художником хвост парази-

тов — редакторов, надзирателей литературных нравов, цензоров, просто бездарных писак, присасывающихся к успеху...

Беда оказаться в этой толпе.

Из дневника цензора В. С. Голованова

25 марта в 15.00 редакцией «Нового мира» присланы с курьером материалы № 3 для оформления в печати. Среди них: а) И. Эренбург (исправленный после 7—8. III); б) В. Липатов «Черный Яр»; вновь стихи А. Яшина (надо доложить о них в отделе).

Наконец 29 марта 1963 года была подписана к печати часть материала № 3, в которую входит И. Эренбург. На 30.III в субботу утром в Главлит СССР, по указанию руководства, был вызван Закс, которому **в твердой форме** были высказаны замечания цензуры о повести В. Липатова «Черный Яр». Закс в семи случаях сделал исправления и редакционные вычерки, которые не изменили идейной сущности этого произведения. Об этом доложено было тт. Романову и Аветисяну.

Решено: оформить к печати, но предупредить о том, что данное произведение в идейном отношении представляет собою все то же очернение советской действительности, нахождение слоя перерожденцев (с партбилетом), эксплуатирующего людей труда, которые в «Черном Яре» живут бедно, безрадостно,— главного редактора журнала т. Твардовского.

1 апреля в середине дня по поручению руководства Главлита на эту тему у меня состоялся соответствующий разговор по телефону с тов. Твардовским, который заявил, что он считает это произведение хорошим и не видит в нем таких недостатков, которые по идейным соображениям могли бы его встревожить. О сути этого разговора я информировал тт. Семенову и Аветисяна.

ПОПУТНОЕ

К Вилю Липатову и его сочинениям отношение у Твардовского, да и у большинства из нас, было прохладное. Липатова поддерживал А. Г. Дементьев, ценя то, что он показывает крепких трудовых людей, сибиряков. Первые его повести в «Новом мире» («Глухая мята») были недурны, но чем дальше, тем он небрежнее, слабее писал. Однако Твардовский считал своим долгом отстаивать его перед цензурой.

В вечернем выпуске «Известий» 29.III.1963 напечатана статья В. Полторацкого «Матренин двор и его окрестности» — первый, не считая отзыв Кожевникова, отклик на рассказ Солженицына.

29. III. 1963

Прошел пленум СП СССР. Я не был на нем, и слава богу. Бранили, конечно, и «Новый мир». Александр Трифонович, к счастью, удержался, не выступил. Пусть подонки литературные испытывают «страх божий». Последнее слово еще не сказано, оно за нами.

Вчера обедал с И. А. Сацем. Много и хорошо говорили. Он вспоминал Луначарского, Андрея Белого и других людей, которые для меня уже прошлый век.

До 1922 года имя Сталина Сац вообще не слышал. Тот брал власть, потому что другие (Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Каменев) считались деятелями куда более значительными, но они боялись друг друга, а о Сталине думали, что он нейтрален и ничтожен сам по себе. Игорь Александрович считает крупнейшим переломом «ленинский призыв», когда были широко распахнуты двери в партию и туда хлынуло предместье — вчерашний мещанин, лавочник. Сталин, расправляясь с Троцким, усвоил бо́льшую часть его программы: «огосударствление» профсоюзов, «сверхиндустриализацию», отношение города к деревне, как метрополии к колонии.

Сац хорошо говорил о метафизичности наших понятий сегодня. Диалектика пропала, она не нужна. Даже вражда с догматизмом используется для освобождения от всякой целостной теории: «Что сегодня хочу, а книги мне не указ».

Кибернетики считают, что все дело в программировании. Но все дело в «обратной связи». Когда связь односторонняя, преимущества программы сведены на нет.

На пленуме СП 26—28 марта А. Софронов говорил, что мемуары Эренбурга «без чувства возмущения читать нельзя». Многие выступали против «очернительства» в «Новом мире». Вас. Федоров ругал два рассказа В. Войновича, «в которых наша действительность, героическая по своей сущности, преподносится в опошленном виде». Евтушенко каялся и говорил, что в его «Автобиографии», напечатанной в Париже, отразилось его «позорное легкомыслие».

1.IV.1963

После нескольких дней перерыва в редакцию пришел Твардовский.

Рассказал о встрече с Ильичевым и о том, как нелегко было сидеть три дня на пленуме. Но его присутствие в президиуме несколько сдерживало страсти. Прокофьев накинулся было на рецензию о Сосноре в «Новом мире», но потом принес извинения, видимо, не прочитал сам и «неправильно понял». Когда выступал М. Соколов из «донской роты» и требовал Твардовского, как редактора, к ответу, Александр Трифонович неожиданно расхохотался, и за ним рассмеялся весь зал. В перерыве к нему подошел Н. Рыленков и сказал: «Ты не представляешь, как ты всех подкупил тем, что рассмеялся, а не нахмурился, не рассердился». «А как бы я иначе мог на это реагировать?» — пожимает плечами Твардовский.

Из редакции вместе с И. А. Сацем и Александром Трифоновичем поехали к М. Ф. Яковлеву, куда-то за Новослободскую, в только что полученную им квартиру. М. Ф. живет холостяком, в этом же доме у него фотолаборатория.

«Давайте я вам почитаю»,— предложил после первой рюмки Александр Трифонович. Покопался в своем портфеле, извлек рукопись и прочел, блистательно прочел «Теркина на том свете» с новыми поправками. Хохотом встречались многие четверостишия, а

когда Теркин ползет к столбу, чтобы вернуться на этот свет —

И всего-то нужен кто-то
Кто бы чуточку помог...

— Сац заплакал и у меня навернулись слезы.

— Только б увидеть это напечатанным,— сказал Игорь Александрович, поднимая рюмку после чтения.

— Да,— откликнулся Твардовский.— Ну, пусть даже не напечатают, пусть полежит. Я чувствую, что работа кончена, что это сделано,— и все тут.

Вспоминал, что писал этого «Теркина» с перерывами 10 лет. В старых тетрадках есть запись разговора офицеров во время войны — мол, на том свете на бюро будут разбирать, кто в самом деле мертвый, кто живой. Тогда же набросал три строфы. Эта глава должна была идти после смерти Теркина.

Только в этот раз, хотя дважды уже прежде слышал поэму, я понял окончательно, что без всякой натяжки и скидок на комический жанр эта поэма становится в ряд главных вещей Твардовского. Тут есть некие важнейшие обобщения, «формулы жизни» — нужные не только литературе, но обществу в целом. «Сеть» и «система», царство мертвых, где правит Сталин, запах тления из-за каждой высокой двери. И упрямая философия жизни, пусть трудной, нелепой, всякой — но жизни, по которой тоскует Теркин, она и вносит в ироническое повествование серьезную лирическую ноту. Стихи таковы, что, как Пушкин сказал о «Горе от ума», на другой день по напечатании могли бы разойтись в пословицах:

«То в системе, то в сети —
Тоже сеть густая...»,

или

«Смерть она всегда в запасе.
Жизнь — она всегда в обрез»,

или

«Для того, чтоб сократить —
Надо ж увеличить...»

Обратной дорогой говорили о Пушкине, о его отношении к «Слову о полку».

Сейчас всех занимает гипотеза А. А. Зимина о позднейшей подделке «Слова». Я говорил, что, как бы то ни было, «Слово» писал великий поэт, это узнается непосредственным впечатлением, и никакая кибернетика этого опровергнуть не может. Александр Трифонович горячо с этим согласился.

2.IV.1963

Пленум СП РСФСР, собранный, казалось бы, по конкретной теме — обсуждение жанра рассказа, идет с еще большим накалом страстей. Уже кто-то из выступавших назвал «Новый мир» «сточ-

ной канавой», собирающей всю гниль в литературе, и опять, уже хором, требовали к ответу Твардовского. Совсем как у Щедрина — «а мы его судом народны-и-им». С. Баруздин звонил Александру Трифоновичу домой, требуя приехать и выступить. Твардовский советовался с нами по этому поводу. Я, как и прежде, против всяких его выступлений в этой обстановке и перед такой аудиторией. Дементьев колеблется.

«Мне кажется, они заиграются»,— сказал Твардовский.

ТАСС должен был дать для иностранной печати специальное опровержение слухов об уходе Твардовского из «Нового мира». Между тем наши «оасовцы», или «бешеные», как их еще называют, продолжают требовать кровопускания, и «Новый мир» им как бельмо на глазу.

В редакции состоялось обсуждение романа «У себя дома» Анатолия Кузнецова. Автор приехал из Тулы и произвел на меня странное впечатление.

Твардовский говорил, должно быть, час, очень подробно и дельно, большей частью «с точки зрения сапожника», т. е. сугубо профессиональной («Суди, дружок, не выше сапога»).

О героине Гале, пошедшей в доярки,— что она девочка городская, а значит, должна скучать, вспоминать о городе. Что не надо бы делать ее уроженкой той же деревни — пусть едет дояркой, но в другую. О пастухе: после появления трактора добровольно в пастухи никто не пойдет — это последнее дело в деревне. «Не будешь учиться — пастухом будешь»,— пугали в детстве.

Александр Трифонович отметил даже и то, что «навоз коровий пахнет приятно», не вызывает гадливости. «Надо, чтобы мы коров полюбили, пожалели,— говорил он.— Галя должна, если двигаться по правде, полюбить их в весеннюю бескормицу, когда можно самой не доесть, кусок хлеба из дому принести, только не видеть, как мучаются коровы».

«Я так думаю,— рассуждал Александр Трифонович.— Если самые мрачные картины изображены художественно, читатель должен жалеть, что он там не был, этого не почувствовал. Пусть даже это война или тюрьма. Ведь как ни ужасна жизнь Ивана Денисовича, а все-таки ловишь себя на том, что хотелось бы быть с ним, пережить и этот опыт: почувствовать, как сладка эта скудная еда, как греет тепло на вагонке, как дорога драная варежка на морозе. Я это впервые понял, когда читал роман К. Причард. Там, в Австралии, люди идут через полупустыню — тяжело, мучительно, без воды,— и вдруг захотелось быть с ними...»

Не буду пересказывать, что говорили на обсуждении другие, и в их числе я (о слабом финале, риторических «отступлениях» и т. п.). Но ответ Кузнецова поверг всех в растерянность. Он согласился, что все замечания резонны, дельны, но требования, предъявляемые к повести, слишком высоки, и возвращаться к ее тексту он не намерен. Сказал, неразличимо глядя сквозь темные очки, что не любит свою книгу, хочет скорее отделаться от нее и пустить в печать, чтобы заняться другой, действительно важной и достойной.

«Так не бывает, это иллюзия,— понапрасну пытался уверить его Александр Трифонович.— Нельзя запланировать себе — сначала грешить, а потом все же войти чистым в царство божие».

«Я ненавижу „Продолжение легенды“,— заявил Кузнецов,— презираю свои рассказы и не люблю эту новую книгу, которая, если говорить серьезно, лакировочная насквозь».

В нем была странная смесь искренности и озлобления, почти цинизма. С восторгом он мог говорить лишь о каком-то фильме («Прошлое лето в Мариенбаде», кажется), который видел за границей *.

«Я не понимаю,— все допытывался у него Твардовский.— Ну, вас не удовлетворяет повесть. Но почему тогда вы хотите ее напечатать? Не надо, пусть полежит. Неужели если вы видите такие ее слабизны, то не хотите сделать ее лучше?»

Так и кончился разговор недоумением и неприятным осадком. Привычно видеть на таких обсуждениях автора сопротивляющегося, отстаивающего свое детище. Но тут какая-то другая крайность. Талантливый парень, но как можно жить с таким отношением к своему труду? Его презрение ко всему, что пишется и печатается, переливало через край и даже, кажется, распространялось на всех нас, с полным доброжелательством пришедших обсудить его вещь.

Видно, в той обстановке, что сложилась сейчас в культуре, не выдержали у него нервишки. И он нехотя обидел нас, обидел Твардовского, которому куда как труднее сейчас, чем Кузнецову или кому-либо иному.

Тем не менее Александр Трифонович весь день был терпелив и кроток, не взрывался, охотно шутил, в том числе и по поводу обескураживающего поведения гостя, что показывает в нем великую силу.

ПОПУТНОЕ

Мы ничего не поняли да и не могли понять тогда в поведении Кузнецова. Между тем к этому времени он, по-видимому, уже порвал внутренне со всем, что было в нашей литературе и стране, и тайно мечтал о побеге на Запад.

Через некоторое время беспрепятственно получивший, как сотрудник КГБ, визу на выезд в Швейцарию, где он должен был якобы заняться сбором материалов для книги о Ленине, этот фаворит Союза писателей перешел на положение «невозвращенца» и поселился в Англии, печатаясь под псевдонимом Анатоль.

Вел он себя в эмиграции, по слухам, крайне уединенно и скоро умер. Возможно, он был подвержен некой душевной болезни, признаки которой, как мне показалось, были явственны и в день обсуждения у нас его повести.

---

* По-видимому, французский фильм «Прошлое лето в Мариенбаде» (1961) по сценарию А. Роб-Грийе.

6.IV.1963

Приехал из Ростова В. Фоменко. Он тяжело болел, лежал четыре месяца и все только обещает вторую часть романа («Память земли»).

Твардовскому уже не первый день звонят из МИДа, просят, чтобы он дал интервью американскому корреспонденту, любимцу Хрущева, Генри Шапиро. Твардовский отказывался, но ему заявили, что это «поручение ЦК». Из 26 переданных ему вопросов он приготовился отвечать на три.

Я очень боюсь, нет ли здесь ловушки: дать высказаться ему в зарубежной печати, а потом за это же снять. Говорил с ним об этом.

На настольном календаре заведующей в редакции критики изд-ва «Советский писатель» я прочел: «План засорен классиками». Куда дальше? Рассказал об этом Твардовскому, он замотал головой, как от зубной боли.

Тем не менее на днях вышла моя книжка «Толстой и Чехов». По этому случаю я позвал вечером Трифоныча, Саца, Кондратовича, Закса и Фоменко поужинать. Всюду почему-то было закрыто, и мы попали в захудалый «Урал» в Столешниковом переулке.

Трифоныч хорошо рассказывал о девушке — машинисте метропоезда, с которой он случайно свел знакомство на сессии Верховного Совета, они сидели рядом. «Тоска на сессии жуткая, но она, между прочим, пока доклад читали, много чего интересного рассказала. В метро счет идет на секунды, работают все время в напряжении. И все-таки то и дело кто-нибудь попадает под поезд. Каждый день она работает по новому графику, устает страшно. Вот В-ву (поэт В. был днем в редакции с белыми стихами) поездить бы так под землей в душных, без вентиляции тоннелях Сокольнического радиуса, глядишь, перестал бы писать стихи ни о чем».

Вечер нам несколько испортила вспышка Саца, выскочившего из-за стола и уехавшего вследствие спора с Александром Трифоновичем. На другой день, слава богу, он помирился с Твардовским и просил прощения у меня — славный он человек!

Рассказывают, что в Индию должна была лететь писательская делегация во главе с Кочетовым. Индусы официально потребовали убрать Кочетова из делегации, поскольку это бестактно — посылать именно его в пору натянутых отношений между Индией и Китаем. Оказывается, в Китае Кочетов едва ли не единственный советский писатель, признаваемый стойким революционером. Его издают там миллионными тиражами. Симптоматично.

Сделали вставку в передовую для № 4 — о «Матренином дворе». Цензура требует к слову «реализм» в заглавии добавить: «социалистический». Это нам боком выходит разговор Твардовского у Ильичева. Он и сам сокрушается: «Зачем я тогда высказался по поводу „реализма без эпитетов“. Никто ведь за язык не тянул, захотелось пофорсить. Теперь вот вяжутся».

Из дневника цензора В. С. Голованова

2.IV. Работаю над материалами № 4. Сегодня в 11.30 курьер журнала представил для оформления к печати 10 листов с начала, куда входят:

1. Статья по выступлению Н. С. Хрущева. «За идейность и реализм».
2. Галлай. Испытано в небе.
3. Карло Каладзе. Стихи.
4. Смирнов Ю. Стихи.
5. Щипачев С. Стихотворения.
6. А. Камю. Чума.
7. Радкевич. Стих. «Трактористка».
8. Ржевская. Второй эшелон. Рассказ.

4 апреля. Передовая — редакционная статья послана в ЦК КПСС — т. Поликарпову.

5 апреля. Редакция отозвала подписанный ею к печати 1-й вариант редакционной передовой статьи — для исправлений. Ввиду занятости руководства 3, 4 и 5 апреля не представилась возможность доложить руководству о замечаниях по материалам № 4. Вопрос, видимо, будет отложен до понедельника 8.IV.

5.IV в 16.00 редакция прислала исправленный вариант врезки к А. Камю — «Чума».

29. 3. 1963. Подписан к печати № 3.

В номере:

В. Липатов. Черный Яр. Повесть.

И. Исаков. Конец одной «девятки» (из невыдуманных рассказов).

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга 5-я (окончание).

Стихи Д. Самойлова, А. Яшина.

Очерк Леонида Иванова «В родных местах».

Статья проф. А. Чижевского «Эффект Циолковского».

Статья Н. Ильиной «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре „дамской повести“».

Рецензии Н. Коржавина, В. Лакшина и др.

13.IV.1963

Сегодня же сигнал № 3 «Нового мира» с рецензией о «Мольере». Звонила Е. С. Булгакова: «Как я благодарна вам. Я плачу, плачу...»

Александр Трифонович эту неделю не ходит. Пишет текст ответов на вопросы Г. Шапиро.

Отовсюду ползут малоприятные слушки. В «Дружбе народов» выкинули из № 5 статью Ю. Буртина о Твардовском, сказавши, что к маю Александра Трифоновича наверняка отрешат от должности и неловко будет выходить с похвалами ему. На Ученом совете в ИМЛИ В. Ермилов сболтнул публично, что ему-де предлагали «Новый мир», но он отказался. Все это сочится отовсюду и дергает нас, а Твардовского в первую голову.

Еще дурная новость. Очерк Ф. Абрамова «Вокруг да около», напечатанный в «Неве», осужден решением Секретариата ЦК. Прихо-

дится снимать уже набранную статью И. Виноградова о нем. Досадно.

Ф. Абрамов был вчера у нас в редакции, просил Дементьева познакомить его со мной. Мы посидели с ним полчаса на диване в комнатенке Закса и хорошо поговорили. Он хвалил журнал, критику в частности, и за позиции, и за профессиональный уровень: «В сущности, это единственный журнал, где есть критика, достойная так называться». Упоминал Виноградова, Роднянскую, мои статьи: «Вы не представляете, какое вы дело делаете. В нашей питерской провинции это виднее. Вы заставили читателя читать ваш журнал не выборочно, а подряд, страницу за страницей, вплоть до маленьких рецензий».

Говорили и о его последней вещи («Вокруг да около»). Его собираются наказать по партийной линии. Дело передано в Ленинградский обком.

Я спросил его, как удалось напечатать. Он рассказал, что редколлегия «Невы» раскололась. За него были С. Воронин и Хватов.

Цензура сильно потрепала текст. Конец очерка был таков: Мысовский подходит к крыльцу сельсовета, а там ликование — включен приемник и передают сообщение о новом спутнике Земли, запущенном на орбиту. Мысовский поднимает глаза кверху и долго смотрит на синее бесконечное небо, которое бороздит этот новый спутник, а потом опускает медленно взгляд на землю. «Да, небо — это небо. А земля — это земля». Так кончался рассказ. Слова «небо» и «земля» были выделены курсивом. Не мудрено, что это сняли: космос — главная гордость.

Абрамов сейчас проездом в Москве, едет лечиться в Карловы Вары. Говорит, что кончает три новых рассказа, обещал прислать нам. «Рассказы трудные, с мыслью»,— зачем-то предупредил он.

В это время вошел Игорь Виноградов и я их познакомил. Абрамову я хвалил статью Игоря «Тридцать процентов», увы, у нас не пошедшую, о его опальном очерке.

Газеты продолжают печатать нападки на самые различные произведения, напечатанные «Новым миром»: «Шире круг, шире круг!» В «Известиях» появилась статейка «Кочка и точка зрения», ругающая рассказ В. Войновича.

Из статьи «Известий» от 9 апреля 1963 г.

«Талант — это умение видеть широко и верно. Без этого невозможно правдивое отображение жизни в художественном произведении. Писатель В. Войнович отступил от этого правила. Он показал наших современников в искаженном виде. Думается, что и стройка и строители ему понадобились лишь для того, чтобы воплотить в рассказе порочную в идейном отношении посылку о том, что и в нашем обществе честному человеку, правде нелегко пробить дорогу. Однако вся наша жизнь опровергает этот неверный тезис.

Горький говорил: есть точка и кочка зрения. В. Войнович, взявшись

писать о наших днях, встал на кочку зрения. А с кочки, как известно, кругозор ограничен.

Ю. Узюмов, инженер-строитель».

Г. Горький

18.IV.1963

Всю зиму я исподволь разбирал и перебелял для публикации дневники Маркса Щеглова. Написал к ним небольшое введеньице и теперь хочу напечатать — если в журнале не удастся, то хоть в книге.

Был у Маршака. Он стар, плох, но очень оживлен, нервен, взволнован в связи с присуждением ему Ленинской премии. Принес ему книгу о Толстом и Чехове, которую он по телефону потребовал у меня, узнав о ней от Твардовского.

Александр Трифонович приезжал к нему недавно и читал ему «Теркина...». Маршак считает поэму вещью замечательной, совсем новой в сравнении с прежним вариантом: «прежде был немного фельетон против бюрократов», а теперь вещь очень серьезная, и швов не видно. Особенно понравилось Маршаку, как Теркин удирает с того света, уцепившись за поручни порожняка. «Смерть — она всегда в запасе, жизнь — она всегда в обрез»,— твердил он.

Маршак расхвалил Твардовского, а на другой день испугался, позвонил ему и уговаривал повременить, не давать читать «выше»: «Если хочешь взойти на костер — тогда неси...»

«Сейчас маленький 37-й год,— говорил мне Маршак,— и все люди проясняются, кто чего стоит». Сегодня ему принесли письмо членов редколлегии журнала «Юность» о выведении Евтушенко за его грехи из состава редколлегии — с тем чтобы и он подписал. Маршак отказался. Тогда мальчик, приносивший письмо, просиял и сказал, что еще двое членов редколлегии тоже отказались это подписать.

«И когда мы бросим эту манеру — кормить буржуазных акул...— возмущался Маршак.— То мы их кормим Пастернаком, теперь вот Евтушенко — а они знай набрасываются».

Самуил Яковлевич читал мне, по обыкновению вслух, свою многострадальную статью о молодой поэзии, давно обещанную журналу. Там много было и о Вознесенском, и о Евтушенко. Но старик хитер, переделал ее так, чтобы ни одного имени не назвать, а только учить с олимпийских высот, как вреден успех. Сам он вроде от этого наркотика не отказывается.

Розалия Ивановна, неизменная экономка и бонна Маршака, силком усадила меня обедать, иначе Маршак не хотел есть. И тут я рассказывал ему о том о сем. О том, как Благой разбирает пушкинского «Анчара», о последнем письме Солженицына в редакцию журнала конвойных войск «К новой жизни» и о журнале нашем.

Из дневника цензора В. С. Голованова

С 9 по 19 апреля я был болен, на бюллетене.

Весь материал № 4 Главлит со специальным письмом направил в ЦК КПСС.

Сегодня, 19 апреля в 12 ч. 45 м. позвонила т. Бианки и сообщила: в № 4 весь роман Камю «Чума» с номера снимается. Будет прислана замена этого материала. Задала вопрос: может ли редакция получить назад весь материал № 4, оформленный к печати?

Я немедленно информировал по телефону начальника отдела т. Семенову о снятии романа Камю, а также о возможности возвратить рабочий редакционный экземпляр № 4.

Т. Семенова ответила: «Возвратить можно. Это подтвердит и т. Романов П. К.».

20.IV.1963 г. курьер журнала «Новый мир» в 14.15 привез замену в № 4 журнала — вместо Камю «Чума» Хуан Гойтисоло «Чанка», перевод с испанского (предварительная читка).

22. IV в 15. 00 звонок из журнала «Новый мир», сообщили: Е. Ржевская «Второй эшелон», Е. Габрилович «Из прошлого» с № 4 снимаются. Взамен пришлют Троепольского. Доложил т. Семеновой.

22.IV в 16.00 курьер журнала «Новый мир» привез материал Г. Троепольского «В камышах» (из тетрадей охотника). Одновременно через курьера согласно просьбе редакции возвращено 4 п. л. рабочей редакционной верстки, уже оформленных «к печати», для перестройки № 4.

ПОПУТНОЕ

Мы мечтали напечатать роман А. Камю (в переводе дочери Бальмонта) и натерпелись с ним. Цензура отослала его в ЦК, а там стали консультироваться с главным редактором «Иностранной литературы» Б. С. Рюриковым. Он и погубил дело, сказав, что не стал печатать роман у себя как сомнительное сочинение.

Потом еще более подвел нас Арагон. Его запросили, стоит ли печатать Камю, и он, по-видимому из вздорной профессиональной ревности, заявил, что не надо этого делать. Мол, Камю всегда был оппонентом французской компартии. Так роман и погиб для журнала.

20.IV.1963

Пришел в редакцию, а там Дементьев, Кондратович, Закс — все в сборе и в тревоге. Отдел культуры ЦК, куда передали № 4 из цензуры, предложил переслать его для обсуждения в секретариат ССП.

Дементьев уверяет, что это просто путаница, аппаратная неразбериха, спихивание ответственности, и ничего страшного в этом нет. А мне сдается — хотят удушить журнал, взять не мытьем, так катаньем.

Хуже всего, что Александр Трифонович не в порядке — слаб, хвор и нервен до предела. Говорил с ним сегодня по телефону — голос хриплый, немощный. Он хочет встречаться с Н. С. Хрущевым — иного пути нет. Текст для интервью с Г. Шапиро написан хоть и с помощью Дементьева, да не слишком ловко. По просьбе Александра Трифоновича и я сидел над текстом, присланным им на машинку, еще часа 2, правил и делал пометки, чтобы Дементьев ему

показал. Принял ли он мои поправки, пока не знаю. Сегодня этот текст должен идти на просмотр к Л. Ф. Ильичеву.

22. IV. 1963

Утром прибежал за мной на квартиру наш курьер: Александр Трифонович просит срочно в редакцию. Я пришел. Он показал мне сильно переделанный текст интервью. Стало лучше — определеннее, острее. Какие-то мелочи поправили еще — и пошло в ЦК, Ильичеву.

Теперь этому интервью, бывшему для него обузой, Александр Трифонович придает значение как способу «легализации» журнала.

Говорил с Твардовским о словосочетании «культ личности». Как-то неловко его употреблять. Это эвфемизм, символ чего-то другого. Давненько это было в ходу в споре народников и марксистов вокруг теории «героя» и «толпы». Но сейчас — почему не «страх личности»? «В годы страха личности...» — можно было бы и так писать.

Звонила некая Павлова из ведомства Б. Н. Пономарева (международный отдел ЦК). Спрашивает: «Кто рекомендовал Сартру „Матренин двор“?» Александр Трифонович отвечал с большим достоинством: «Рукописи Сартру никто не передавал до публикации, а все, что мы печатаем, мы тем самым рекомендуем». «Сокрытие правды — тоже неправда,— говорил Александр Трифонович.— Не может быть для одних одно, а для других — другое. Я в литературе работаю уже несколько десятков лет, и так никогда не было и не будет».

Твардовский возмущен статьей Н. Сергованцева в «Октябре» против повести Солженицына. Как они себе это позволяют? Не может быть, чтобы вещь, одобренную Президиумом ЦК и Хрущевым, так спроста стали бы разносить. И кроме того, какая степень низости, гадости — упрекать несчастного, голодного, полуумирающего человека (Ивана Денисовича), что он на еду с жадностью набрасывается.

Я рассказал Александру Трифоновичу, что виделся с Маршаком. Оказывается, Трифонычу пришлось дважды выступать на Комитете по Ленинским премиям, чтобы его не провалили.

23.IV.1963

По поводу интервью из ведомства Ильичева ответа нет.

Хороший разговор с Твардовским — сначала о моей книге, потом о литературе вообще. Ему понравились слова Толстого, что художник, чтобы действовать на других, должен быть ищущим. Если он все нашел и только учит — он не действует. «Как странно,— сказал Александр Трифонович,— я не знал этого высказывания, но сам давно об этом думал, даже говорил что-то похожее в речи на съезде... Когда я сказал в речи, что „действительность не вполне действительность, если не закреплена искусством“, на меня в кулуарах накинулись, вроде я в какой-то идеализм впал. А ведь это верно».

Вспомнили о статье «Партийная организация и партийная литература». Я сказал, что не сомневаюсь, что речь там шла не о ху-

дожественной литературе, а о писаниях партийных публицистов. «Я тоже всегда это подозревал,— живо отклинулся Александр Трифонович,— слово „писатель“ употреблялось тогда в ином смысле, как и „литература“».

Вспомнили и о высказывании об этом Крупской, недавно простодушно обнародованном «Дружбой народов», что вызвало немалый конфуз и скандал.

О статьях наших литературных теоретиков Твардовский заметил: «Когда не могут сказать прямо, чего хотят, начинаются этакие извития речи...»

Говорили и о журнале.

«У нас нет верного понятия о масштабе дела, которое мы делаем,— сказал Александр Трифонович.— Для современников всегда иные соотношения, чем в истории. Камер-юнкер Пушкин мог казаться кому-то третьестепенной подробностью в биографии могущественного Бенкендорфа. А выходит наоборот. Ильичева забудут, а мы с вами останемся. Это я так думаю, а там — кто знает».

24.IV.1963

До пяти часов вечера ждали звонка по поводу посланного в «верха́» интервью.

В 10 часов утра Ильичев звонил Твардовскому домой, но тот, как назло, выходил за сигаретами. И потом — ни звука. Александр Трифонович ждал в редакции, а Ильичев явно бегал, совещался. В самом конце дня наконец позвонил. Я был при этом разговоре и не мог не отметить мужество и достоинство, с какими Твардовский его вел. Ильичев имел неосторожность сказать ему, что дня два разыскивал его.

— Как вы изволили выразиться, Леонид Федорович? Искали два дня? Да я уже двое суток сижу у телефона, в уборную не выхожу, жду вас,— желчно и агрессивно сказал Твардовский.

Ильичев неожиданно стал поздравлять Твардовского с удачным текстом, «вот только „Вологодская свадьба“ и „Тишина“ зря упомянуты, ведь их критиковали».

— Но я не считаю, что «Вологодскую свадьбу» критиковали справедливо, я думаю, что это правдивое, поэтичное описание людей деревни и их быта. Я никогда не верил в Яшина как в поэта с разными «Аленами Фомиными» *. А тут я сам, прочтя «Вологодскую свадьбу», ему позвонил, поздравил; здесь я не могу идти против себя.

— Но тогда хоть скажите,— продолжал Ильичев,— что ее критиковали в печати.

— Хорошо, я напишу после слов в тексте — «поэтичная „Вологодская свадьба“... подвергшаяся несправедливым нападкам в печати».

Ильичев был, видно, разочарован, но поневоле согласился

* Ранняя поэма А. Яшина «Алена Фомина» (1949) была отмечена Сталинской премией.

оставить это место как есть. Тогда перешел в наступление Александр Трифонович. Он настаивал, чтобы интервью одновременно с «Нью-Йорк Таймс» было бы напечатано в советских газетах. «Я же и для своих соотечественников писал, для одних американцев я не стал бы стараться».

— Конечно,— ответил Ильичев,— посылайте в любую нашу газету, хоть в «Литературную», я все поддержу.

— Нет уж, Леонид Федорович,— возразил Твардовский,— хорошо бы напечатать в «Правде». И пусть это не будет моей частной инициативой. Если ЦК одобрил текст, я считал бы нормальным, чтобы вы его и послали в редакцию.

Ильичев вынужден был согласиться.

25.IV.1963

Генри Шапиро — толстенький, круглый, пришел в редакцию, чтобы получить у Твардовского текст интервью. Он был разочарован и ошарашил Александра Трифоновича требованием — переделать все по-своему. «Какой-то Рáдищев * — это для Америки неинтересно». Его можно было понять, но он и представить не мог, что стояло за врученным ему текстом. Твардовский уперся, не разрешая менять ни строки, иначе ничего не стоит нарваться на неприятности.

Дементьев звонил в Главлит, зондируя, что происходит с номером.

После ухода Шапиро пили чай с конфетами, судачили в доброй надежде, что появилась возможность перемены к лучшему.

А вечером — речь Хрущева, в ней пожелание к каждому советскому человеку быть милиционером в душе и почитать авторитеты. Тяжко жить с такими понятиями о коммунизме.

Из дневника цензора В. С. Голованова

25.IV в 16.15 позвонил зам. главного редактора журнала «Новый мир» т. Дементьев, который говорит следующее:

«В. С.! Мы вам передали, как цензору, наш № 4 журнала. Прошло очень много времени, а от вас нет никаких сведений — с чем вы согласны, с чем не согласны. Это буквально наносит вред нашему журналу. Ведь в мире идет разговор, что наш журнал закрывают, что редактор Твардовский будет снят с руководства журналом, что цензор — отстранен от работы. Ведь что получается — мы сдаем журнал в цензуру, а от цензуры фактически не получаем конкретных замечаний и указаний, а если мы их получаем, то в ЦК КПСС. В таком случае создается впечатление о том, что цензура — лишнее звено, что нам правильней было бы нести свой журнал в ЦК КПСС».

Я разъяснил т. Дементьеву о том, что согласно «Положению о Главлите» вопросы политико-идеологического характера докладываются нами в ЦК КПСС и что Главлит самостоятельно по важнейшим воп-

---

* Текст Твардовского начинался так: «Наша литература издавна — со времен Радищева и Пушкина — выступала в особом историческом качестве...»

росам, связанным с развитием литературы, никаких решений не принимает.

Кроме того, я напомнил т. Дементьеву, что т. Кондратович, который ведет № 4, хорошо осведомлен о том, где находятся материалы № 4 и какие предложения и рекомендации даются по журналу. В частности, мне официально через зав. редакцией т. Бианки известно о снятии с № 4 Камю, Ржевской и Габриловича. Вместо этих материалов мною на № 4 получены в качестве замены другие материалы».

28 апреля 1963 г. в 15.00 позвонила тов. Семенова и сообщила: «В Главлит СССР поступила выписка из протокола заседания секретариата правления Союза писателей СССР, где 27.IV была заслушана информация гл. редактора журнала „Новый мир" т. Твардовского.

Принято к сведению, что:

1) Редакционная статья № 4 журнала редакцией переработана.

2) С № 4 снят роман А. Камю «Чума» и заменен более прогрессивным произведением испанского автора Гойтисоло «Чанка».

3) С № 4 сняты: а). рассказ Ржевской; б) воспоминания Габриловича — они заменены очерком Троепольского.

Главлит СССР получил эту выписку для сведения».

3 мая 1963. После доклада тт. Семеновой и Аветисяну о состоянии материалов журнала № 4 т. Аветисян дал указание: «Можно оформить № 4 к печати за исключением редакционной передовой статьи, по которой Главлит СССР еще не получил никаких указаний от Идеологического отдела ЦК КПСС».

Указание т. Аветисяна реализовано. В материал Галлая после переговоров с т. Крошкиным внесена правка т. Кондратовича. № 4 подписан в 13.00 3 мая 1963 г.

3 мая к концу рабочего дня позвонил зам. главного редактора журнала «Новый мир» т. Кондратович и информировал меня о следующих обстоятельствах:

«т. Черноуцан по 2-му варианту редакционной статьи для № 4 дал указание: исключить абзац, где говорится об оценке рассказов Солженицына „Случай на станции Кречетовка" и „Матренин двор". Т. Ильичев просмотрел и одобрил интервью т. Твардовского, данное им корреспонденту „Юнайтед Пресс Интернейшнл" Г. Шапиро. Решено редакционную статью переделать, с тем чтобы в ней использовать ряд положений, усиливающих требования к литературе. Вариант будет представлен 6 мая». Информировал тт. Семенову и Аветисяна.

ПОПУТНОЕ

На этом завершаются записи «Тетради № 1» цензора Голованова, случайно оказавшейся у меня под рукой. К сожалению, последующих его тетрадей не сохранилось или, во всяком случае, они не попали ко мне. Но я цитировал эти скучные канцелярские строки, потому что они фиксировали многое, не попавшее в мой дневник, и главное, с той стороны сцены, которая не была видна не только читателям, но чаще всего и нам, редакторам журнала. Записи Голованова, оставляющие за скобками существо замечаний и запретов

цензуры (устность — одна из основ аппаратной деятельности, многое покрывающая тайной), вместе с тем показывают механику отношений редакции «Нового мира» с Главлитом. Здесь приведены записи за несколько месяцев, но их легко моделировать и по отношению к последующим 7 годам деятельности журнала, руководимого Твардовским.

3.V.1963. Подписан к печати № 4.

В номере:

Г. Троепольский. В камышах.
М. Галлай. Испытано в небе.
Стихи К. Каладзе, Ст. Щипачева, Ю. Смирнова.
Статьи Е. Поляковой и Н. Гудзия.
Рецензии В. Огнева, И. Соловьевой и др.

Из интервью А. Т. Твардовского корреспонденту «Юнайтед Пресс Интернейшнл» Г. Шапиро, напечатанному под названием «Литература социалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией» («Правда», 12 мая 1963 г.)

«По-моему, „Один день..." — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением».

(В перечислении авторов «Нового мира».) «...Александр Яшин, автор многих стихотворных книг, опубликовавший отличный, полный поэзии очерк „Вологодская свадьба"».

(Об Эренбурге.) «...Строго и взыскательно критикуя Эренбурга, руководители партии характеризовали его как одного из замечательных советских писателей, талантливого публициста, видного общественного деятеля. Что касается печатания мемуаров Эренбурга, то, как вы знаете, в третьем номере „Нового мира" закончена публикация пятой книги».

12.V.1963

Вчера к концу редакционного дня прислали из «Правды» полосу со статьей Твардовского. Пошли ко мне домой. Мама хлопотала с закуской. Александр Трифонович был в счастливейшем настроении, ребячился, веселился. Повторял: «Антонина Сергеевна, вы на нас не сердитесь, что мы немного выпиваем. Это важный день. Последние месяцы у нас, как у журнала, была временная прописка, а теперь — постоянная».

Сегодня утром я побежал к киоску пораньше, чтобы купить «Правду» и удостовериться, что статья вышла. Александр Трифонович потом тоже признавался мне, что не мог дождаться, когда принесут газеты, и выскочил на улицу, точь-в-точь как в его стихотворении «Московское утро»:

Надев свои новые брюки в полоску,
К газетному я направляюсь киоску.

В редакции обсуждали статью И. Саца о художественных взглядах Луначарского. Там достается импрессионистам, модернистам и

т. п. Многие в редакции сердятся на эту статью; только мы с Твардовским, не желая вконец обескуражить Саца, ее и поддерживаем. Конечно, Игорь Александрович в своих суждениях о живописи и резок, и односторонен, да и вообще «мальчик наоборот», но как не дать ему высказаться?

14.V.1963

Маршаку вручали Ленинскую премию. Мы с Твардовским ездили на церемонию в Свердловский зал Кремля.

На квартире у Маршака был устроен ужин. Я сидел на диване между Твардовским и Б. Ливановым. Все было недурно, Маршак был слаб, но мил. Несколько больше, чем нужно, шумел Ливанов: кричал, актерствовал, лез целоваться. «Как ты думаешь, когда умру, мне рукомойник поставят?» (то бишь мемориальную доску). Просил Твардовского: «Саша, поднимись сейчас и скажи тост — „за великого русского артиста Ливанова... Тебе ничего не стоит, а мне лестно“». Александр Трифонович отнекивался, но был Ливановым задавлен, встал и сказал: «За артиста Ливанова». «Великого» все-таки проглотил.

15.V.1963

60 лет Сацу. По инициативе Александра Трифоновича устроили ему торжественное чествование в редакции. Саца приветствовали тепло, дружески, так что все, как мне кажется, остались довольны.

16.V.1963

Александр Трифонович ходил к Ильичеву. Тот уговаривал его поехать в Италию, там оживилась деятельность Европейского сообщества писателей, а Александр Трифонович включен Вигорелли в высшее руководство этой организации. Как видно, нам выгоден этот «мост» между Западом и Востоком. Ильичев говорил, что поездка Твардовского была бы очень важна. Александр Трифонович, в свою очередь, напомнил о снятых цензурой материалах. «Вот у нас сняли письма по поводу „Вологодской свадьбы“, а вы ведь читали, наверное, в „Правде“ о Вологде недавно, какое там безобразие со знаменитым вологодским маслом. Эти почище „...свадьбы“. Почему „Правде“ можно, а нам нельзя?» Ильичев сказал, что не читал этой статьи (а мы-то ее в редакции обсуждали целое утро), чем изрядно удивил Александра Трифоновича. По поводу же писем сказал, что Твардовский-де публично выразил свою оценку очерка Яшина — и этого достаточно.

Александр Трифонович заступался перед Ильичевым и за роман «Чума» Камю, говорил, что это значительная вещь антифашистского толка. Ильичев отнесся кисло, но обещал, что «изучит» этот вопрос.

В эти дни еще досадная история с «Известиями». Оттуда звонили в редакцию и просили подготовить им полосу из материалов 4-го номера «Нового мира». Мы порадовались, но они гнусно надули нас. Дали передовую не целиком, как обещали, а в выдержках,

процитировав лишь места, мало для нас приятные — вынужденные, покаянные, так что мы выглядим в самом срамном виде. Тут и наша вина: как можно было довериться и не спросить на просмотр полосу? Александр Трифонович все говорил: «...всякое даяние — благо», а теперь взбешен, звонил Аджубею, выражал возмущение. Тот ничего внятного не ответил. Сказал только: «Я это учту».

28.V.1963. Подписан к печати № 5.

В номере:

Чингиз Айтматов. Материнское поле. Повесть.

М. Галлай. Испытано в небе (окончание).

Стихи Р. Гамзатова, С. Щипачева, Е. Винокурова. Подборка: «Стихи в боевом строю» (М. Кульчицкий, Н. Отрада, Н. Майоров).

Воспоминание Е. Ратмановой-Кольцовой.

Статьи и рецензии А. Дементьева, Ф. Светова, В. Непомнящего и др.

Начало июня 1963 г.

На редколлегии обсуждали «Чуму» Камю, хотим попробовать все же ее напечатать.

Говорили о новом рассказе Солженицына «Для пользы дела». Удивительно, что всякий раз этот писатель поворачивается по-новому. Вот что значит талант! Одна только подробность нехороша (тут мы все сошлись). Не надо, чтобы негодяй директор был еще и своекорыстен. Это мельчит смысл. Ну да Солженицын найдет, как поправить.

Александр Трифонович собрался было написать по моей просьбе для 6-го номера статью о Мих. Светлове (его юбилей грядет). К Светлову он относился с личной «биографической нежностью (тот печатал его на заре литературной деятельности в «Октябре»). Твардовский говорил, что начал статью, написал две странички, а потом перечитал его стихи и расхолодился. Решили — пусть пишет Паперный. Он был у нас, и Александр Трифонович долго толковал с ним, передавая некоторые свои наблюдения.

Думал после разговора с М. Хитровым, рассказавшим, как живется ему в «Известиях»: в нашем мире кажущейся железной необходимости и регламентации, в жизни, расписанной и предопределенной сверху до мелочей, построенной на ожидании «указаний» и «накачек», огромное значение, как ни парадоксально, приобретает малая, казалось бы, частная инициатива, добрый личный порыв, благое начинание. Думаешь: можно ли пробить эту стену — и немеешь в обреченном бездействии. А оказывается, только попробуй: стена пробивается неожиданно легко, если твое движение идет по ходу жизни. Сопротивление не так уж мощно, поскольку среда инертна. А сколько энергии дремлет и пережигается из-за жалких опасений: «ничего сделать невозможно», «что я могу» и т. п.!

4.VI.1963

Вечером в редакции виделся с Солженицыным. Подарил ему свою книгу и «Этимологический словарь» Преображенского, обещанный давно.

Говорили о его рассказе. Мне показался натянутым мотив выгоды, личной материальной выгоды для директора, отбирающего у техникума новое здание. Это лишнее. Неожиданно легко он согласился.

Сказал и об искусственных словечках, избыток которых, на мой взгляд, только мешает. Часто эти словечки придуманы изобретательно, дают эффект. Но не отвлекают ли они от существа дела? Отмечаешь про себя при чтении: «Ах, как ловко, даже щегольски сказано!» А читатель не должен бы специально замечать эти красоты у глубокого писателя.

Солженицын говорит, что только что, в Солотче, перечитывал Чехова и что даже у него, скажем в «Ариадне», встречаются небрежности в языке. Я заступился за Чехова и сказал, что по мне любая его зрелая вещь куда выше блистательного в литературном смысле Бунина (недавно я перечитал «Жизнь Арсеньева» и не смог восхититься). Солженицын согласился, что у Бунина, при всех его достоинствах, есть какая-то неприятная ограниченность и самодовольство старого барина.

Александру Исаевичу не откажешь в наблюдательности; он посмотрел на меня сегодня пристально и спросил: «Почему вы хромаете?» — а ведь, этого, кажется, никто не замечает.

Прочитал повесть В. Тендрякова «Находка». Местами отлично написанная, но умозрительная вещь.

Прежде это был рассказ, но когда Тендряков несколько месяцев назад пришел в редакцию разговаривать о рукописи, Твардовский посоветовал ему расширить рамки повествования. Главным казалась ему не история подкидыша, а фигура инспектора рыбохраны Карги. Он предлагал подробнее рассказать о нем, о его отношениях с начальством рыбнадзора и т. д.

Александру Трифоновичу очень понравилось, как пишет Тендряков лес. Он говорит, что завидовал, когда прочел у него: «перекрученные березки».

Но мешает избыток мелодраматизма, схемы в истории с ребенком. А самое лучшее, как и обычно у Тендрякова, начало: сцена с рыбаками у костра, где взято все так круто.

Боюсь, что Александр Трифонович напрасно сбил Тендрякова, посоветовав ему расширять этот сюжет, писать повесть. Получилось жиже, слабее.

В ЦК партии прислали донос по поводу моей рецензии на Булгакова. Черноуцан говорил об этом с Дементьевым, и Александр Григорьевич, по его словам, с негодованием отверг подозрение в «эзоповщине».

Я, странно сказать, верю в закон вторых встреч, таких неесте-

ственных в плохих романах, но таких обычных и натуральных в жизни. Так жизнь дважды сводила меня с Марком Щегловым, с Виктором Некрасовым.

Сегодня Некрасов подтвердил это мое наблюдение, вспомнив о первой, почти неправдоподобной встрече с Сацем во время войны. Его ранили в каком-то польском городе, кажется в Сандомире. Он лежал на плащ-палатке посреди улицы и сопротивлялся попыткам отправить его в госпиталь. Подбежал офицер в польской форме, капитан по званию, и распорядился, не слушая его протестов: «В тыл его, в тыл».

Некрасов едва за пистолет не схватился.

Потом в разговоре с Сацем, вспоминая войну, они восстановили, что в один день были в Сандомире. Некрасов сказал, что был там ранен в центре города и польский капитан его спроваживал в тыл. «Позвольте, отлично помню раненого офицера, который едва меня не застрелил в ярости, когда я велел отправить его в госпиталь...» — «Так это были вы?»

Случайность? А может быть, закон? В этом разливанном людском море добрые люди, или, как по-старинному говорилось, «родственные души», непременно находят друг друга...

Писал об Островском — предисловие для Гослитиздата — не без удовольствия, но с чувством хорошего знакомого, профессионально налаженного дела. И еще 20 таких предисловий могу написать. Но ведь и скучно, хочется другого, хочется попробовать себя на том, что не дается так легко, увидеть какой-то барьер впереди... Я знаю какой, но пока из суеверия помолчу *.

7.VI.1963

Александр Трифонович говорит: когда вместо «удой» в печати и сводках стали говорить «надой», это знаменовало коренную перемену в животноводстве. «Удой» естествен и ненасилен. «Надой» — по плану и согласно указаниям.

Возмущались в редакции клеветой на Солженицына. В Ленинграде, в редакции «Звезды» некто Дьяков публично утверждал, что Солженицын попал в лагерь не за политические разговоры, а как предатель. «Какие мерзкие, гнусные люди,— говорил Александр Трифонович.— Мы им этого не простим».

На днях в редакцию забегал Корней Чуковский. Благодарил, шутовски кланяясь в пояс Твардовскому, за его «замечательный... фельетон (так он назвал интервью Г. Шапиро) в „Правде“», заявил, что счастлив был дожить до этого дня.

9.VI.1963

Перечитал «Записки покойника» Булгакова, думал об их публикации. Между прочим, он пишет слово «чорт» через «о». «Черт» через «е» — привычный, литературный, домашний. «Чорт» через

---

* Я начинал писать статью о Солженицыне. (*Поздн. примеч.*)

«о» — страшный чорт Гофмана и Достоевского, это и в самом деле нечистая сила. Вот что делает одна буква. Так же, как у Блока: «В соседнем доме окна жолты... «Жолты» совсем иной цвет, чем «желты». А В. В. Виноградов еще хочет реформировать орфографию и писать «мыш».

11.VI.1963

Впал в благодушие на даче, предался «неге сельской жизни», читал и работал с удовольствием. Вчера приехал в город — куча неприятностей...

Цензура опять придерживает 6-ю книжку, особенно недовольны Тендряковым и дневником Марка Щеглова, подготовленным мной и горячо одобренным Твардовским. По дневнику два главных замечания: 1) упоминание с сочувствием о Б. Пастернаке; 2) сомнения Марка по поводу Постановления о музыке 1948 г. Говорят: «Здесь приоткрывается механизм нашей пропаганды».

Еще бы, а чего иного они желали? Как ложь и фальшь не назвать ложью и фальшью? Воистину царство мертвецов...

Солженицын подарил мне выпущенный «Советским писателем» на скорую руку «Один день...». Издание действительно позорное: мрачная, бесцветная обложка, серая бумага. Александр Исаевич шутит: «Выпустили „в издании ГУЛАГа“».

13.VI.1963

Твардовский просил меня поехать на совещание представителей всех редакций у А. В. Романова — председателя нового Комитета по кино. Собралось человек 20—25. Романов сказал речь, меня ошеломившую.

«Надо покончить с разнобоем в оценке фильмов. А то что происходит, товарищи? Открываешь одну газету, например „Труд“, там дана оценка новому фильму. Смотрю другую газету, например „Литературную...“,— совсем другая оценка... Это дезориентирует зрителей, и с этим надо кончать... Общая оценка должна быть единой, расхождения возможны в частностях...» «Выпускаются фильмы с неприемлемым содержанием. Их три вида, три главных ошибки: 1) неверный „настрой“; 2) в основе фильма откровенно ложная идея; 3) анекдотическое содержание, лишающее фильм „типичности“.

Некоторые фильмы не будут выпускаться на экраны совсем, другие будут выпущены ограниченным тиражом. („Двое в степи“ по Э. Казакевичу, „Третья ракета“ по повести В. Быкова.) Когда они появятся на экранах — задача печати разъяснить, что в них неверно.

Надо бережно относиться к режиссерам, занятым современной темой, не бить их за художественные слабости.

Зарубежные фильмы мы не можем не покупать не только по экономическим соображениям, но и потому, что идет торговля кинопродукцией с Западом — „метр за метр“, а мы не можем отказаться от распространения своей идеологии за рубежом».

Говорил о комедии и ругал прочитанный им сценарий «Берегись автомобиля». Пересказал его и возмущенно воскликнул: «Нелепость какая-то... Это же совсем не смешно!.. Между тем жизнь полна комедийными положениями... Недалеко ходить. Вот я подъезжаю к нашему зданию в машине, милиционер свистит: „Здесь нельзя останавливаться“ — уже смешно! Шофер пытается переставить мою машину в другое место — снова ему свистят: опять смешно!!»

Романов говорит размеренно, солидно, округло поводя руками. Разогревает себя, поднимает голос, когда говорит о тех, кого надо разобрать и клеймить.

Стало очевидным, что этот бюрократический спрут в виде новоиспеченного Комитета задавит киноискусство в 2—3 года. И нет этой дури конца и края.

Чудесно отвечал Романов на вопрос какого-то журналиста-лизоблюда, как все же избежать разнобоя в оценках, ведь не всегда знаешь, что нужно писать? «Что вы, маленькие, товарищи? — сказал Романов.— Не знаете, как отнестись к фильму?.. Ведь есть телефон, всегда можно узнать, как фильм оценивается... Ну, нет меня на месте, всегда кто-нибудь из аппарата присутствует, кто может пояснить...»

Привожу его слова по записям в блокноте. Когда я рассказывал Александру Трифоновичу и другим нашим о том, что услышал, изумление их было велико.

Открыто говорится, что думать никому не следует, существует система указаний — и амба! Это уже напоминает практику 1946—1948 гг.

А вечером того же дня — противоположное впечатление. Был у Саца, и Игорь Александрович очень сокрушался и бранился по поводу признания журналом в передовой статье «ошибок», совершенных В. Некрасовым. Кипятился, кричал обидные слова, рассуждал совершенно нетерпимо, укорял Твардовского. Как было бы легко жить, если бы можно было выпускать журнал и делать это так, чтобы без малейшего упрека совести.

А то можно жить, конечно, с вполне чистой совестью, но уже ничего не делая. Надо выбирать. Рассуждение, знакомое по стихам Н. А. Некрасова, написанным в прошлом веке соредактору по «Отечественным запискам» М. Салтыкову:

...И возвратись, собравшись с силой,
На оный путь, журнальный путь.
На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей
И где мы снисхожденье купим
Трудом у мыслящих людей...

Так, все так, но как ни утешайся, все же в таких случаях, как с этой передовой, чувствуешь себя скверно, на душе кошки скребут.

14.VI.1963

Был у Е. С. Булгаковой. Говорил с ней о возможной публикации в «Новом мире» «Записок покойника». Она рассказала, как была задумана повесть, и возможное окончание ее.

Аристарх Платонович (Немирович-Данченко) возвращается из Индии — читает в театре лекцию о своей поездке (эту лекцию сам Булгаков изображал в лицах). Максудов ждал Аристарха с таким нетерпением — и тут понимает, что напрасно. Герой встречается с женщиной из производственного цеха (художницей Госье?). У нее низкий грудной голос, она нравится ему. Бомбардов уговаривает жениться, она вскоре умирает от чахотки.

Премьера пьесы тяжела Максудову, отзывы прессы оскорбительны и неприятны. Он чувствует, что накануне самоубийства. Едет в город юности — Киев. (Тут Булгаков руки потирал от удовольствия — хотелось еще раз написать о Киеве.) И герой бросается с Цепного моста в Днепр.

Булгаков уверен был, что умрет в 1939 году, и спешил докончить «Мастера», а потом хотел вернуться к «Запискам покойника».

«Булгаков не умел писать о том, что не пережил сам,— говорила Елена Сергеевна.— В молодости, когда мы познакомились и его ужасно ругали газеты за пьесы, я как-то сказала ему: „Ну что вам стоит написать пьесу о Красной Армии, и ваши дела поправятся“. Он посмотрел на меня страшными глазами и сказал со смертельной обидой в голосе: „Как вы не понимаете, может быть, я очень хотел бы написать о Красной Армии, но я не могу писать о том, чего не знаю“».

15.VI.1963

В отсутствие Александра Трифоновича принимал в редакции делегацию болгар: Камена Калчева, Пенчо Данчева и др. Между прочим, они спросили: «Как вы думаете, деятельность писателя должна сосредоточиваться в Союзе писателей или в редакциях журналов?» Я ответил: «На мой взгляд, за рабочим столом».

Видел: на серой полосе асфальта вспучиваются бугорки, потом трескаются мелкими трещинами, и оттуда тянется кустик какой-то кудрявой, нежной травки. Какая же сила хранится в земле и в семени, которое разбухает, лопается где-то в темноте, под асфальтом, под подошвами тысяч ног, и вдруг разрывает могучую прижавшую его плиту своим слабеньким зеленым росточком. Может быть, это и не ново. Но вся великая символика литературы основана на коренных в природе вещах: земля и небо со звездами (комета 12-го года, небо Аустерлица, «крест» у Толстого), степь и лес, сад, дорога, море и т. п. Природа — главная эстетическая ценность, какая предложена человеку и судит его.

18—21.VI.1963

В Москве прошел Пленум ЦК. А я с 19 по 24 был в Ташкенте, пригласили оппонентом на защиту диссертации. Ездил в колхоз «Ле-

нинизм» к Абдуле Артыкову, «другу Хрущева», побывал в Самарканде.

24.VI.1963

Пришел в редакцию и окунулся в неудачи и огорчения. «Находку» Тендрякова цензура сняла из номера. Сняли, убоявшись неведомо чего, и тихую статью Анастасьева о драматургии, шедшую по моему отделу.

Александр Трифонович проболел весь Пленум, а сейчас уехал в Дагестан — вручать премию Расулу Гамзатову.

Скверные для нас, для журнала, вести о речи и репликах на Пленуме.

Сегодня прочел в верстке путевые заметки И. Орлова «Жарким летом» — и возмутился их мелкостью, бессодержательностью. После того как посидели с Троепольским «в камышах», погуляем еще беспечными туристами и по речке.

Я высказал свое впечатление Дементьеву, Кондратовичу, Герасимову. Они в один голос: а что печатать? Это нельзя, другое — нельзя, приходится выбирать хоть из бессодержательных, но заведомо безвредных вещей.

Разговор вышел бурный, и все почувствовали, что кризис недалек. Коли так будет продолжаться, честнее разойтись: журнал теряет всякий смысл.

Я решил дождаться Трифоныча и говорить с ним.

26.VI.1963. Подписан к печати № 6.

В номере:

Н. Дубов. Мальчик у моря. Повесть.

К. Паустовский. Третье свидание.

И. Орлов. Жарким летом.

М. Щеглов. Студенческие тетради.

Стихи М. Карима, П. Бровки, Дм. Сухарева, переводы Н. Чуковского из Ю. Тувима.

Статьи И. Саца (о Луначарском) и З. Паперного (о М. Светлове).

Рецензии И. Соловьевой, Л. Лазарева, И. Виноградова, Арс. Тарковского и др.

2.VII.1963

В очередной речи * говорится о том, что литературная критика не оправдала себя и что оценку литературным произведениям должны давать партийные «кадры», что аппарат должен сам решать все в вопросах искусства. Как в сельском хозяйстве — один с сошкой, семеро с ложкой, так тут — один с пером, семеро с топором (чтобы вырубать крамолу, стоя за спиной пишущего).

Тем временем мы лихорадочно ищем, что печатать в очередных номерах. Я подготовил «Записки покойника», переименовав их, с

---

* Имеется в виду речь Н. С. Хрущева на Пленуме.

согласия Елены Сергеевны, в «Театральный роман». Уже после того, как я предложил ей этот вариант, она разыскала автограф Булгакова с поисками заглавия — и, в числе других, «Театральный роман».

Сейчас читаю «Перекос» С. Залыгина (о коллективизации), «Мертвую дорогу» А. Побожьего, которую рекомендует Сац. По другим временам все это надо бы печатать, а сейчас как?

5.VII.1963

Пять председателей колхозов из Новгородской области прислали в редакцию отчаянное письмо о положении в их хозяйствах: люди бегут из колхоза, работать некому, технику у МТС в согласии с последними постановлениями купили поношенную, большая часть машин и тракторов стоит из-за отсутствия запасных частей, планирование идет сверху и разрушает разумное использование земли и т. п. «Больше вести так хозяйство невозможно»,— пишут они.

Твардовский, которого я впервые видел сегодня после его поездок в Италию и в Дагестан, крайне взволнован всем этим.

«Такое письмо можно писать, лишь махнув на все рукой, в таком настроении: хотите снимать — снимайте!»

А вчера в «Известиях» «письмо земляков» Ф. Абрамову по поводу очерка «Вокруг да около». Очередная дутая «коллективка», как с Яшиным. «Народился новый литературный жанр — „письма земляков"»,— невесело шутит Твардовский.

Подумали и решили переслать письмо пяти председателей колхозов в «Известия» Аджубею. Александр Трифонович написал в сопроводительном письме, что тут случай такой, когда, на его взгляд, нужно быстрое вмешательство печати, а так как у ежедневной газеты тут все преимущества перед толстым журналом, он надеется на выступление «Известий».

Как бы не так! Ну да все равно, пусть Аджубей почитает. Жаль только, что для тех людей, что писали письмо, издавая, по сути, вопль отчаяния, ничего, скорее всего, не изменится, и каждому придется решать за себя, в одиночку. Александр Трифонович и сам понимает, что Аджубей вряд ли решится: то, что сейчас не «в кон», неприятно ему, и он предпочитает этого не видеть. «Есть род людей, особенно в аппарате, — рассуждал Александр Трифонович,— которым совсем не важно, что происходит на самом деле, а важно лишь то, что пишется в печати. Отражение важнее положения».

Сегодня Александр Трифонович звонил В. С. Лебедеву, чтобы сговориться с ним и передать Хрущеву рукопись поэмы. Кто-то усомнился, удачен ли момент. «По-моему, не шутя, сейчас для этого самое подходящее время,— отвечал Твардовский.— После Пленума важно показать, что литература жива. Я убежден, что „Теркина..." напечатают».

Александр Трифонович прочел остановленную цензурой «Находку» Тендрякова в новой редакции. Конец повести раздражает его фальшью, искусственностью девицы и самого Карги.

6.VII.1963

Болтун-цензор Виктор Сергеевич Голованов — колоритная фигура в нашей нынешней жизни. Его резиденция в Гослитиздате, и Светлана * понесла подписывать к нему книгу Макогоненко о Пушкине, которую она редактировала, а Голованов неожиданно разоткровенничался — о «Новом мире» говорил, о Солженицыне, словом, обо всем.

Он, как нарочно, из журналов цензурует нас и журнал Московской патриархии. «Что вы думаете, у них тоже бывают ошибочки,— объяснил он Светлане.— А в „Новом мире" меня все любят, и Б. Г. Закс, и А. И. Кондратович... Товарищи по Главлиту говорят мне: да брось ты этот журнал, с ним одни неприятности, вот выговор схватил за „Тройку, семерку, туз" Тендрякова. А я не бросаю, это дело интересное и важное. С Александром Трифоновичем у меня хорошие отношения. Я все разговоры с ним записываю, на всякий случай... Вот в этом сейфе тетрадь хранится... А Солженицына новый рассказ („Для пользы дела") — сложный: здание у детишек отбирает номерной институт, а ведь мы все для обороны делаем, готовы на любые жертвы... А тут детишек жалко... Ну, номерной, во всяком случае, придется им переменить — напишут просто НИИ, но ведь и это, по существу, не годится...»

Так он болтал, благодушествуя, и никак не подозревал, что его собеседница — жена сотрудника «Нового мира».

К общему удовольствию я пересказал сегодня весь этот разговор Александру Трифоновичу и Заксу, предварив воспоминанием, как в Ташкентском аэропорту, в клозете ресторана, один пьяный говорил другому, смачивая затылок холодной водой над грязным умывальником. «Н-нет, все это оч-чень сложно... Тут надо знаешь как стараться... Я 20 лет в контрразведке служу и знаю, что главное — это держать язык за зубами».

Твардовский очень веселился, заставил пересказать все подошедшему Сацу, а сам припомнил один свой разговор с Головановым.

«Вы же не хотите,— сказал ему Александр Трифонович,— чтобы в будущей истории литературы вас называли ретроградом. Куда лучше, если о вас будут говорить как о просвещенном деятеле, как о Гончарове или Никитенко».

Александр Трифонович принес мне в подарок зеленую общую тетрадь, купленную в Италии. «Пишите в тетрадках, непременно пишите в тетрадках, это же так удобно».

После работы пошли в «Будапешт» поужинать: Сац, Александр Трифонович, Закс, Коля Томашевский и я. Пока шли, не торопясь, по Петровке, я говорил Твардовскому о том, что меня огорчает последнее время в журнале. Сказал о вещицах, подобных запискам Орлова. Если ничего лучшего нельзя напечатать — честнее

---

* Кайдаш Светлана Николаевна (Лакшина), моя жена — работала редактором в Гослитиздате.

будет уйти, а не держать над кабаком (как у Слепцова) вывеску «Русский лебедь». К чему самим обманываться и читателя обманывать?

«Да, конечно, плоховато,— согласился Александр Трифонович.— Но главное сейчас „Теркин...". Если это пойдет, то и все наладится. А нет, так и я уйду. Вот вы пойдете, наверное, в университет, преподавать. Но ведь и я могу... Я ночью сегодня думал: если месяца три мне поготовиться, я, наверное, мог бы читать курс XIX века... Ведь у меня диплом есть».

И горько, и трогательно было это слышать. И почему-то, вопреки логике (ведь ничего не случилось), повеяло надеждой на то, что все будет хорошо.

За столом он кое-что любопытное рассказывал об Италии, о провале там на заседании КОМЕСа * Рюрикова и Суркова. В целом поездка была удачной, хотя, как видно, эти впечатления заслонены новыми.

Много говорил о Дагестане, где он чествовал Расула. Даже читал по блокнотику шуточные стихи Карло Каладзе, приписанные им Твардовскому.

Очень неприятное впечатление осталось у А. Т. от И. И. Анисимова, дутого академика. На торжественном обеде Александр Трифонович произнес тост в честь Гамзатова, сказав что-то о добром сердце поэта. Расул пустил слезу, расцеловался с Александром Трифоновичем. И тут встал, чтобы держать свою речь, Анисимов. «У нашего Расула злое сердце, партийное сердце»,— сказал он. Даниялов, первый секретарь обкома партии Дагестана, исправляя возникшую неловкость, умно и тактично поддержал Твардовского.

Ездили в горы, в Цада, в родной аул Гамзатова. Мать, которую Александр Трифонович стал поздравлять с наградой сыну, ответила: «Лучше б он хоть раз помолился за те четыре года, что мы не видались». Старуха больше обеспокоена душеустройством сына, чем его успехами.

Поразили Твардовского березки на высоте 2000 метов и каменное ложе естественной ванны, где они с Расулом плескались в теплом источнике.

Даниялов спросил Александра Трифоновича: «Какой, по-вашему, самый большой недостаток в партийном руководстве литературой?» «Слишком много руководства»,— отвечал Твардовский.

8.VII.1963

Александр Трифонович разговаривал с В. С. Лебедевым о «Теркине на том свете», рукопись которого прежде передал ему.

Лебедев: Я убежден, что это будет напечатано. Но, конечно, вещь трудная. Все ли правильно поймут?

А. Т.: Я уверен, что народ поймет правильно.

---

* Европейское сообщество писателей.

Лебедев: А читать — одно наслаждение. Вы правы, это совсем новая вещь в сравнении с вариантом 1954 года.

Поцелуи, поздравления, пометок на рукописи никаких.

Н. С. Хрущев, вернувшись из Киева, будет, кажется, встречаться с Твардовским среди первых.

9.VII.1963

Цензура держит, не подписывая, рассказ Солженицына. На запросы отвечают: «Читаем». Возник в редакции разговор, сколько потребно времени, чтобы прочесть рассказ в 2 авторских листа? Кто-то заметил: «Да его мигом проглотят — это же интересно».

А Твардовский: «Кузьма Горбунов, когда был политредактором, так рассуждал: читаешь материал и вот по строчкам ползешь, все скучно, знакомо. Вдруг чувствуешь, что стало интересно,— вооружись. Пока идут цитаты, пересказы классиков марксизма-ленинизма — можно глазами скользить, все в порядке, а как заинтересовался — тут что-то не то... Я всегда на себе проверяю».

С Дементьевым и Александром Трифоновичем пошли после работы закусить на верандочку в Столешниковом. (Когда-то там был «Красный мак», а теперь забегаловка от «Урала».)

Вспомнили по какому-то случаю о паскудных нападках на Солженицына. «Я могу сказать, как Кутузов,— заявил вдруг Александр Трифонович,— „будут они у меня конское мясо есть“. Попомните мое слово, так и случится».

Зашел разговор о Маяковском. Твардовский говорил, что у него трех хороших строчек подряд не найти: одна-две есть, ну а уж третья непременно выверт, трюк, неловкость, просто небрежность. Зная, что тут он небеспристрастен, я заступился за Маяковского, меня поддержал Дементьев, и забушевал спор.

Александр Трифонович говорил, что Маяковского у нас внедряли силком 20 лет, как кукурузу или картошку при Екатерине, против воли большинства читателей, и теперь уже трудно определить реальное его место. Страсти накалились, и, чтобы разрядить обстановку, я вспомнил деда Чайковского, человека старорежимного, дворянского воспитания, который считал Маяковского самозванцем в поэзии и со стариковским упрямством слышать о нем не хотел.

«Видно, хороший человек был ваш дед»,— задумчиво сказал Александр Трифонович. И стал живописно, с подробностями рассказывать про своего деда — Гордея Васильевича, бомбардира, умершего ста с лишним лет от роду. Рассказав о его смерти, Александр Трифонович заметил: «Я все это так ясно помню, лучше помню, чем то, что было на каком-нибудь Пленуме три месяца назад».

11.VII.1963

Сборник Марка Щеглова (2-е издание), составленный мной, задержан в главной редакции «Советского писателя». Читает его Б. Соловьев, ему поддакивает В. М. Карпова. Опять возражают против лучших статей: о драме (набрасывает тень на Корнейчука),

о Леонове, об опере «Снегина». Опять, как и в 1958 году, книга Марка попала в недобрую полосу.

12.VII.1963

С утра в редакции Александр Трифонович в моем присутствии говорил с главным редактором Гослитиздата А. И. Пузиковым, просил, молил задержать вторую верстку двухтомника поэм. «У меня есть планы... Я кое-что хочу сделать по составу во втором томе». Потом положил трубку и подмигнул мне. «Думаю я о некой поэме, да не могу ее Пузикову назвать. Первый том получился толстый, а второй — тощий. Так хорошо было бы туда подбавить одну вещь... Совсем по-другому бы все издание заиграло».

Ему по-детски хочется видеть «Теркина на том свете» напечатанным. И в то же время мучительное самоограничение — сказать-то о поэме нельзя.

«Я теперь, выходит, ничего не могу напечатать, не показав „наверху". Мария Илларионовна говорит: это что же, Саша, вроде „я сам буду твоим цензором"? И, кажется, права».

Днем обсуждали «Мертвую дорогу» Побожьего. Были: Сац, Кондратович, Твардовский и я. Александр Трифонович говорил точно и умно о жанре этой вещи. Вообще о том, что если у нас нет хорошей беллетристики, будем шире печатать воспоминания, записки.

Он сказал то, о чем и я думал: читатель недоволен уровнем нынешней прозы. Тут только немногие вещи, вроде Солженицына, не оскорбляют его чувства правды. И читатель — инженер, летчик, геолог и т. п.— сам берется за перо, чтобы сказать: вот как на самом деле было!

Я добавил, что эта документальная литература обычно предвещала подъем реализма, заполняла паузу и была вестником новой литературной поры. В русской литературной истории в XIX веке так было дважды: в 40-е годы с «физиологическим очерком» и в 60-е с очерками разночинцев (Н. Успенского, Решетникова, Левитова).

Твардовский стал агитировать меня написать об этом статью. Но мне это не с руки, потому что лучшие вещи документального жанра печатались у нас же в «Новом мире».

Сговорились, е. б. ж. (если будем живы), сказать об этом в редакционном обращении к читателям в конце года.

Побожьего Александр Трифонович просил искоренять вкравшуюся в его рассказ беллетристику, «красоты слога» и не стесняться дать больше деловых, конкретных подробностей строительства дороги.

Александр Алексеевич показал нам карту трассы, изготовленную когда-то для МВД. Конечно, это была сумасшедшая затея, погубившая множество людей,— Сталин и Берия с этим не считались, дорогу строили лагерники и немногие вольнонаемные. Сейчас дорога оставлена и забыта, валяются по тундре рельсы и шпалы. Но кто знает, говорил Побожий, может, через какое-то время такая дорога и понадобится для освоения Севера и туда вернутся люди.

14.VII.1963

В газетах наш ответ китайцам вместе с их письмом, которое я читал еще раньше в редакции. Читал я ответ с радостью и с сознанием, что могу подписаться под этим текстом. Казарменный коммунизм, тупая догматика, расовое самодовольство — все это противно донельзя. Китай в еще более страшной карикатурной форме переживает наши 30-е годы. Надо же, чтобы так мучительно развивалась история социализма. Китайцы ловят нас иногда на теоретической непоследовательности (тезис «общенародного государства» и т. п.). Но лучше уж такая «непоследовательность», чем социальное людоедство под знаменем марксизма.

15.VII.1963

Рассказ Солженицына подписан цензурой. Вымарки пустяковые: слово «забастовка», еще что-то в этом духе. Тип «волевого руководства» — забрано в кавычки.

16.VII.1963

В Москву прилетел Виктор Некрасов. Его вызывают 19-го в Киев для разбора его персонального дела и «гражданской казни». Некрасов встречался с Александром Трифоновичем. Тот предложил ему поехать в командировку от «Нового мира» куда-нибудь на Красноярскую ГЭС, пока шум уляжется. Некрасов ехать не хочет.

19.VII.1963. Подписан к печати № 7.

В номере:
Е. Драбкина. Удивительные люди.
А. Солженицын. Для пользы дела.
Н. Мельников. Строится мост.
Стихи В. Шефнера, М. Алигер, М. Танка.
Статья Е. Дороша «Воспоминания о Маяковском».
Рецензии А. Туркова, Ф. Светова, Т. Мотылевой.

23.VII.1963

Меня пригласили в «Советский писатель» и официально объявили, что книга Щеглова может быть переиздана лишь без всяких дополнений и изменений, повтором 1-го издания. Я вскипел, наговорил дерзостей и сказал, что требую от издательства мотивированного отказа, а тогда соберу комиссию по литературному наследию.

Как мне уговорить теперь обремененного и без того тысячью забот Твардовского принять участие в этом неприятном деле?

В редакции обсуждали (без Александра Трифоновича, он не приехал) повесть С. Залыгина «Перекос». Залыгин рассказал, как пришло ему в голову написать эту вещь. Все, что он читал о коллективизации («Люди на болоте» Мележа, Стаднюк, даже Шолохов),— все его не удовлетворяло, потому что рассказ всюду ведется от лица Давыдовых и Нагульновых, то есть тех, которые проводили коллективизацию, а не тех, которых коллективизировали,

не крестьян. Когда же Шолохов изображал «середняка» Майданникова, он выдвигал смехотворную проблему «бычков», тогда как главное — ломка всей психологии, веками сложившегося уклада, а это было ой-ой как больно! В «Перекосе» время показано глазами Степана Чаузова, и оттого так трудно вводить посторонние мотивировки, которые, как хотелось бы Александру Григорьевичу Дементьеву, объяснили смысл коллективизации в целом, и т. п.

Обсуждали: Дементьев, Герасимов, Закс, Кондратович, Берзер, Марьянов и я. Все говорили о значении этой вещи, о неожиданной художественной удаче автора. Говорили о том, что пора сказать о 30-м годе громко — ведь это узел всех нынешних проблем деревни да и предвестник репрессий 1937 года.

Обсуждение, проходившее в кабинете Александра Трифоновича, шло к концу, когда раздался телефонный звонок. Я подошел — Черноуцан разыскивает Твардовского, просит его завтра непременно приехать в ЦК, к Ильичеву.

Я взял машину, поехал к Сацу (там его нет), потом на дачу, во Внуково. Застал Александра Трифоновича ослабевшего, не в форме. Он бранил записки И. Орлова, прочитанные им в готовом номере («вот от чего можно запить»), и упрекал меня, что я не задержал в верстке.

О своей поэме говорил с горькой обидой, что из посторонних источников узнал, будто назначено чтение у Н. С. Хрущева и что «Алеша (Аджубей) будет читать».

Опять возвращался к мыслям об отставке. Говорил, что во время бессонницы думал и даже Марии Илларионовне сказал: «Коли не нужен, уеду в областной город, подготовлюсь и буду преподавать историю литературы».

«Вот Гоголь, Саша, тоже хотел историю преподавать, а что из этого вышло?»— не утерпела Мария Илларионовна.

Сговорились вроде на том, что завтра он приедет в Москву, чтобы идти к Ильичеву к 2 часам дня.

26. VII. 1963

Ничуть не бывало. 24-го он не появился, но к следующему дню обрел форму и поехал к Ильичеву. Разговор шел о предстоящей в Ленинграде конференции Европейского сообщества писателей. В этой акции сейчас очень заинтересованы — показать, что Запад не отвернулся от нас после «исторических встреч» и найти в Европе почву для контактов. Александр Трифонович для нашего начальства —«окно в Европу», вот его и вызывают для консультаций.

Отправился сегодня из дому в редакцию — и вдруг чудесное зрелище: через улицу Чехова идут три ослепительных джентльмена — Твардовский, Некрасов, Солженицын,— все чистенькие, бодрые, деловые. Шли от редакционной суеты потолковать на улице. Позвали меня, и дойдя до Страстного бульвара, мы расположились на скамейке, спиной к моему дому. Александр Трифонович рассказал кое-что о встрече с Ильичевым. На Форуме европейских писателей докладчиками от ССП назначены Рюриков и Новиченко,

это смешно. Но Ильичев говорил с Александром Трифоновичем в высшей степени любезно, и, как всегда в таких случаях, Твардовский склонен впасть в благодушие и надеется на добрые перемены. Он сговорился в ЦК, что В. Некрасов поедет от журнала в командировку в Красноярск.

Александр Трифонович рассказывал, что в Италии его совсем не знают как поэта, а лишь как редактора либерального журнала. Сейчас там выходит первая его книга, и это... сборник статей. «Ведь я пишу с рифмами, ритм соблюдая, даже содержание обычно есть — а для них все это не поэзия. Надо писать без рифм и чтобы было непонятно — тогда другое дело».

Насторожила меня одна фраза Александра Трифоновича о поэме, что не следует торопиться с ней, надо, чтобы условия созрели... Видно, кто-то его пугнул. Неужели опять будет тянуть? Не к добру это; сделавши первый шаг, показав поэму Лебедеву, надобно делать и второй.

Солженицын, явившийся в белом картузе, в каком в чеховские времена ходили землемеры и помещики средней руки, жаловался на нездоровье, головные боли. Сказал, что пишет нечто, осенью, быть может, привезет показать и для этой работы пропадает в библиотеке. В Москве оказалось невозможным заниматься, все узнают его, так он приспособился ездить в Ленинград, сидит там в Публичной библиотеке и очень доволен.

Рассылается 6-й номер журнала. Вчера, едучи на электричке с дачи, видел, как в вагоне читали дневники Марка Щеглова. Странное чувство: его уж семь лет как нет, а голос его я въявь слышу.

30. VII. 1963

Читаю прельстительные статьи о кибернетике как о «науке будущего», которая создаст разумное, творящее существо, вроде бы ничем не отличимое от homo sapiens.

Чудаки-филологи, которым это претит, обороняются, выдвигая аргументы, ставят под сомнение научно-техническую сторону дела. На это математики и физики отвечают: вы в этом не разбираетесь, мы все это сможем осуществить — всего-то столько-то и столько-то миллионов лампочек, имитирующих нервные клетки, и модель мозга готова.

Но дело-то не в этом. Я готов допустить возможность создания сверхсовершенного робота, имеющего «мозг», систему «саморегуляции» и т.п. Но этот «мозг» не может быть принципиально выше программы, заложенной в него человеком. «Типовой мозг» и ужасен тем, что будет «типовой», т.е. усередненный, безиндивидуальный. Как будто не хватает людей с типовыми, стандартными мозгами!

Главный вопрос не в том, что **сможет** наука, главный вопрос — что **нужно** человечеству. Убежден, что тезис кибернетиков —«нельзя возводить барьеры на пути человеческого познания, нельзя ставить пределы науке»,— этот тезис фальшив и антигуманен.

Главный камень преткновения в разговорах о кибернетике — это наука и мораль. Нужно ли это людям, человечна ли эта зада-

ча — вот коренной вопрос, а не самодовольное «наука пойдет до конца, потому что не может остановиться».

Наука уже шла, шла и дошла до ядерного взрыва, и ученые-атомщики, вполне миролюбивые и добрые люди, после Хиросимы схватились за голову, да поздно (об этом хорошо написал в своей книге Юнг).

Мало ли что вообще может предложить наука: газы, бактериологическая война — это тоже продукт «саморазвивающегося знания».

Если ребенок хочет узнать, как горит бумага, он может поджечь дом из благородной страсти к чистому познанию. Разум взрослых в том, что его не пускают к спичкам. Наше общество — ребенок. Оно столь малосовершенно в социально-нравственном смысле, столь малосознательно и человечно, что ученые могли бы лучше понимать свою ответственность.

Что касается будущего, если представлять его как «царство разума», ему не нужна будет подмена людей «механическими мыслителями» и «кибернетическими поэтами». Вся цель человеческого развития в том, чтобы то природное, естественное, что есть в человеке, поднять на высочайшую вершину духовности и разума, развить это в себе и окружающих, а не передоверить автоматам, которые хороши лишь как помощники, снимающие ношу тягостного труда, помогающие в борьбе с природой. Зачем отдавать им то, что радостно — привилегию творить и мыслить?

«Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать...» (Пушкин).

1. VIII. 1963

Приехал в редакцию, а Закс говорит: «Только что звонил Твардовский и предлагает вам ехать с ним в Ленинград на сессию Европейского сообщества писателей, как бы представителем от журнала». Я тут же согласился, выезжать завтра, собраться едва успею.

3. VIII. 1963

В Ленинград приехал утром на «Стреле». В «Астории», где штаб-квартира совещания, неразбериха, ажиотаж вокруг номеров. Мне предложили дальнюю, но вполне комфортабельную гостиницу «Россия» на Московском проспекте. Устроился и пошел искать Твардовского. Миша Хитров, который здесь от «Известий», навел меня на след. Мы нашли Твардовского на Волковом кладбище в компании с Сурковым и Рюриковым. Постояли у могилы Блока и потом вместе вернулись в «Асторию». Тут он рассказал сенсационную новость: сегодня Хрущев принял И.Эренбурга. Случилось это так: Эренбурга приглашали в Ленинград, чтобы показать европейским писателям, что он жив-здоров, а он прислал обиженное письмо Суркову, что он-де на пороге могилы и не знает, кто он, что он в своей стране: его не печатают, сочинения его остановлены и т.д. Твардовский просил В. С. Лебедева внимательно познакомиться с этим письмом старика. Тот рассказал о нем Хрущеву, и вот состоялась встреча. Эренбург

и не догадывается, заметил Александр Трифонович, чья тут была инициатива.

Вечером поездка несколькими автобусами в Петергоф, к фонтанам.

Меня знакомили с некоторыми знаменитостями. Рита Райт подвела меня к У. Голдингу (большой, рыжебородый шкипер) и Натали Саррот (маленькая, с конопушками на лице). С Сартром я был знаком раньше.

Европейские знаменитости высыпали на петергофскую лужайку большим стадом, и это почему-то неприятно было видеть. Все же писатель — существо индивидуальное, его естественнее видеть в одиночку, у письменного стола.

4. VIII. 1963

Утром нас с гостями водили в «Эрмитаж». Почему-то повели с заднего входа, и начался стремительный пробег по векам в обратной перспективе — с импрессионистов. Посмотрели Матисса, Марке, Пикассо. Здесь, у одного из полотен, познакомился я с Роб-Грийе, похожим на грузина, и поддержал знакомство с очень милой дамой, Натали Саррот, Натальей Ильиничной, как она велит себя здесь называть. Родилась она в Одессе, сносно говорит по-русски. В ней много приятного: «Мне так надоели французы и так нравится Россия,— сказала она.— Я приеду умирать сюда».

Вечером повезли в Смольный. Пока показывали комнату Ленина, я возобновил знакомство с Вигорелли. Милейший господин. Он, конечно, вспомнил нашу встречу во Внукове.

Из Смольного поехали на Пискаревское кладбище. Там хорошо, драматично говорила Берггольц, и Дудин читал ее стихи. Все были тронуты, а Сурков, как обычно, даже дал лишку, опустившись на колени. Остальные растерянно переглядывались, не следует ли и им сделать так же? Нескромность в этом была и фальшь рядом с обычной его сипатой патетикой.

5. VIII. 1963

Первый день совещания. Тема: проблемы романа в литературе. Европейцы якобы в большинстве своем считают, что роман умирает, придумали какой-то «новый роман», по существу, «анти-роман». А мы должны им доказать, что роман в классических его формах живет и здравствует. Доказать во что бы то ни стало.

Приехал Шолохов. На перроне вокзала его встречало все партийное начальство Ленинграда и чуть не под руки ввело в зал.

Во вступительной речи Вигорелли много говорил о независимости КОМЕСа. Сообщество выступило против франкистской Испании, державшей писателей в тюрьмах, и одновременно ратовало за освобождение Тибора Дери из венгерской тюрьмы, что и случилось в 1960 году. Т. Дери здесь, и его приветствовал дружной овацией весь зал.

Такого живого, неформального председателя собрания, как Вигорелли, пожалуй, и не увидишь. У нас обычно выбранные в

президиум сидят чинно до конца заседания, лишь слегка подвигая голову на шее, чтобы перешепнуться с соседом. В лучшем случае с надутым видом играют карандашиком или записывают что-нибудь ради формы. Не таков Вигорелли. Он то и дело срывается со сцены, что-то на ходу организует, договаривается с кем-то о выступлении, летает по кулуарам, кого-то обнимает, на кого-то покрикивает, вздымая руки, досадует на бесцветную речь очередного оратора и непостижимым образом в нужный момент вновь оказывается на председательском месте, сидит на сцене в наушниках, слушая синхронный перевод, и на лице его отражается немедленная реакция на все, что он там слышит: то улыбается умильно и размеренно кивает головой, то бурно сердится на выступающего, то демонстративно делает вид, что засыпает.

Его итальянская экспансивность рядом с серьезностью, ответственностью и джентльменством очень привлекательна.

Случилось так, что вечером я ужинал в «Астории» за одним столиком с президентом сообщества Унгаретти и даже помог ему сверить для «Правды» (он говорит по-французски) текст его речи. Он очень стар, но еще не потерял вкуса к русской водке. К русским, как он мне объяснил, у него давняя симпатия. В 20-е годы у него была любовница — русская княгиня, и с ее помощью он перевел на итальянский несколько стихотворений Сергея Есенина, чем очень теперь гордится. Его роль в сообществе сводится, похоже, к почетному председательствованию; он царствует, а правит Вигорелли. Тем не менее за ужином он показал себя любезным собеседником и раза три просил обновлять маленький графинчик. Нашу компанию разделили Н. Томашевский и римский профессор Дебенедетти.

Я еще допивал кофе, когда Твардовский тронул меня за плечо и попросил с ним выйти. Прилетает Эренбург, надо ехать его встречать.

6. VIII. 1963

Вчера вечером Александр Трифонович был расстроен и возмущен до крайности, что никто из руководства Союза писателей не захотел поехать встретить Эренбурга, да и его отговаривали —«поздно», мол. Послали машину с Ляшкевичем, сотрудником Литфонда, «т. е., иными словами, послали завхоза», возмущался Трифоныч, «а старик-то обидчивый, пересядет на другой самолет да и улетит обратно в Москву». Вот мы и бросились спасать положение, в порядке частной инициативы, что ли. Такси возле «Астории» не было. Но на удачу я сговорил левака, да еще на роскошном черном «ЗИМе».

Эренбург был очень рад, что Александр Трифонович его встретил. Сразу сказал нам, что встреча с Хрущевым была очень удачной. «Как ваша октябрьская»,— добавил он, обращаясь к Твардовскому.

С аэродрома я поехал в гости к Глебу Горышину на свободной машине. А Эренбург укатил с Твардовским и сразу же повел его к

себе в номер «Астории», угощая подробными рассказами. Сегодня Александр Трифонович мне их пересказывал.

Хрущев был очень милостив, сказал, что Эренбург имеет право печатать все, что захочет, что для него не существует цензоров. Эренбург попытался объясниться насчет давнего письма, скверно Хрущевым истолкованного на встрече, где речь шла о «мирном сосуществовании». Но Хрущев замахал на него руками: мол, оставьте, все это пустое. Эренбург попробовал заступиться и за молодых поэтов — Вознесенского, Евтушенко: посекли, мол, и хватит. Хрущев и тут с ним не спорил.

«Теперь скажите, Никита Сергеевич, ехать ли мне в Ленинград?» — спросил Эренбург. «А что там такое?» — встрепенулся Хрущев. «Да конгресс европейских писателей».—«А-а. Конечно, поезжайте. А может, и мне поехать?»— живо отреагировал непоседливый Никита. Он был, по словам Эренбурга, в отличном настроении, и еще только войдя в комнату, сказал с улыбкой, потирая руки: «Ну, китайцам мы отписали...»

Да, китайцы на этот раз, видимо, здорово выручают многострадальную нашу литературу!.. Да и не только литературу. Эренбург говорил с Н. С. о реабилитации Раскольникова и имел успех.

Вечер 5-го я провел в гостях у Горышина близ Сенной площади. Там был талантливый и неврастенический парень — молодой поэт Глеб Горбовский. С ним я познакомился еще утром, обедая в каком-то ресторане на Невском. Он читал свои стихи — надрывно, слегка ломаясь, юродствуя, но временами пробиваясь к мучительно-правдивому тону. Нет, он действительно талантлив. Сам Горышин показался мне добродушным парнем. Он познакомил меня со своим приятелем В.Конецким, о котором я писал нелестную рецензию («Робкие мужчины»). Тот пробурчал что-то неловкое о «робких» и «мужественных» мужчинах. Видно, рецензия моя ему запомнилась. Впрочем, расстались мы дружелюбно.

Все это было 5-го. А 6-го в кулуарах Дома писателей, где идет сессия КОМЕСа, меня познакомили с Д. Граниным. Он немного неуклюж, малоразговорчив, но производит приятное впечатление.

Посидев в застолье с французами, он вдруг соблазнился идеями «нового романа». «Может быть, в самом деле уже нельзя писать романы так: „он очень устал, вернулся домой и лег спать“. А надо: „он вернулся домой и лег спать“. Откуда я знаю, может быть, он устал, а может, от тоски спать завалился. Надо писать только о том, что наглядно, что очевидно. Остальное пусть додумывает читатель».

Я отвечал ему в том духе, что нельзя поддаваться соблазну регистрировать хаос случайностей: дело художника как раз преодолеть и организовать этот хаос. А для этого, наверное, надо и мотивировать, и объяснять, конечно, в той только мере, чтобы не наскучить думающему читателю и не отнять у него привилегию понимать события самому.

В своем увлечении Гранин не был одинок.

Что-то похожее говорил мне уже здесь Залыгин. Забавно, как французский модерн ошеломил таких российских медведей, как

Залыгин и Гранин. Они будто новую землю открыли. Опасен все же грех нашего неведения!

После дневного заседания мы с Твардовским и Н. Томашевским пошли гулять по Ленинграду. Прошлись набережной и по Кировскому мосту к Петропавловке. Пройдя крепость, вернулись Дворцовым мостом. Твардовский будто видит Ленинград впервые, ко всему прислушивается, всматривается во все. Ходить с ним легко, приятно.

Вечером за ужином Вигорелли, поддержанный другими итальянскими писателями, начал браниться с Сурковым. «Если и другие советские делегаты будут выступать, как Рюриков и Симонов, мы уедем. Мы приехали сюда не для того, чтобы нас воспитывали. А ваши люди выступают так, что всем понятно, что они говорят не для собравшихся писателей, а для двух-трех человек, сидящих в зале (намек на Снастина, Черноуцана и др.). Потом, мы в Италии знаем русских писателей Казакова, Тендрякова — где они? Почему нет никого из молодых писателей?»

Сурков отбивался довольно неуклюже.

Едучи в машине в свою гостиницу, я разговаривал с редактрисой из «Литгазеты» (забыл сейчас ее имя), и она рассказала, что была на совещании в номере «Астории» у В. И. Снастина. Там Анисимов вопил, что «хватит обороняться, надо наступать», Суркова бранили за либерализм и распределяли роли — кто кому из заблуждающихся иностранцев будет «отвечать». Я понял, что так недалеко и до скандала — краха всего предприятия.

7. VIII. 1963

Утром рассказал Твардовскому о своих вчерашних впечатлениях. Он и сам знает, что ситуация стыдная.

Днем он подбил Эренбурга, не дожидаясь дальнейшего, выступить. Речь Эренбурга была хорошо принята всеми. Я подошел в кулуарах, чтобы пожать ему руку. Неподалеку стоял Черноуцан; Эренбург спросил о его впечатлении от выступления. Тот, не зная указаний, замялся, покраснел, бедняга.

В перерыве между заседаниями Твардовский провел полчаса на диванчике со Снастиным, Черноуцаном и Г. Марковым, внушая им — и по всей видимости бесполезно,— что нельзя выпускать на трибуну таких критиков, как Анисимов. Обмануть никого в такой аудитории нельзя, все видят, что это не литераторы, а чиновники, функционеры.

У Вигорелли настроение несколько поправилось, когда выступили «молодые» писатели — В. Аксенов и Д. Гранин.

Гуляли с Александром Трифоновичем, постояли в Летнем саду у памятника Крылову, потом прошли к Инженерному замку, вспоминали о неприятностях, ожидавших здесь Павла I.

Вечером роскошный банкет в «Европейской», наверху в длинном зале под стеклянным куполом. Танцевали, зажигали пунш. Я был за столом между итальянцами и болгарами. «Как мне все это нравится, весело, как в Италии»,— сказал Доменико Порцио. Тут же был философ Энцо Пачи, с которым мы объяснялись по-французски. «Меня

интересует не философия искусства, а то, как в искусстве выражается философия человека»,— сказал он, отвечая на чей-то вопрос. Тронули меня болгары — Камен Калчев, Блага Димитрова, которые тепло говорили о «Новом мире». Вообще имя нашего журнала как пароль, и действует магически на самых разных людей. Калчев вспоминал нашу встречу в «Новом мире». «Мы не понимаем, почему ругают у вас „Матренин двор"?»— спрашивала Блага Димитрова. И все вместе, чокаясь со мной, говорили: «Держитесь, друзья!»

Кульминацией вечера — когда потух свет и оркестр заиграл туш — была длинная цепочка официантов в черных фраках; они вошли, держа над головой подносы с пирогами с зажженными на них сотнями свечей.

Вигорелли лихо отплясывал с тоненькой брюнеткой в красной кофте — переводчицей, Симонова подхватила мадам Кайюа. То-то было забавно! С мадам Кайюа он плясал лучше, чем возражал на одном из первых заседаний ее мужу.

Когда вечер догорал, я обнаружил сбоку длинного зала небольшую комнату-кофейню с круглыми столиками. Там и сидел, умеренно добавляя коньячку, Александр Трифонович под присмотром Марии Илларионовны, а с ними вместе Панова и Дар, Гранин и еще кто-то. Они пригласили меня подсесть. Несколько позирующий Дар *, муж Пановой, карликового роста, с трубкой в руке, говорил Твардовскому: «Слушайте, я выражаю мнение народа, а народ говорит, что Твардовский пишет все лучше и лучше и временами приближается в поэзии к Ахматовой и Цветаевой». Этого комплимента только не хватало Трифонычу! Но он лишь сказал кротко: «Я никогда не был вашим собутыльником. Бросьте этот разговор». А наклонившись ко мне, прибавил вполголоса: «Я бы мог сказать, что я о таких сравнениях думаю, да помолчу».

Разошлись поздно.

8. VIII. 1963

Утром Александр Трифонович был ясен, свеж. Мы встретились с ним у подъезда «Астории», и он сказал: «Сегодня последний день. Терзают, чтобы я выступил. Ни за что не буду». Пора было садиться в машины, чтобы ехать в Дом писателей. Вдруг Александра Трифоновича подхватил Сурков, отвел его в сторону, и я потерял его из виду.

Сижу на заседании и слышу — третьим оратором объявляют Твардовского. Я было обиделся, что он был со мной неискренен, но вскоре понял, что это экспромт. Закончил он свое краткое выступление очень эффектно, стихами: «Вся суть — в одном — единственном завете...»

Обычно зал делился по своим реакциям на тех, кто хлопал

---

* Это о нем забавная эпиграмма:

Хорошо быть Даром.
Получаешь даром
Каждый год по новой
Повести Пановой.

одним, не аплодировал другим. Но тут была овация всего зала, горячо хлопали и наши, и зарубежные писатели. Всех подкупила искренность, немногословие и убежденность Александра Трифоновича после сухомятки в речах большинства ораторов. Последние строки стихотворения: «...сказать хочу, и так, как я хочу» он произнес с каким-то особым накалом и сошел с трибуны. Даже Эренбург, которого Твардовский слегка задел в своей речи, хлопал с энтузиазмом.

В перерыве, окруженный восторженной толпой, Твардовский нашел меня глазами, подошел, потащил куда-то, говоря по дороге: «Я умираю от стыда и раскаяния. Скажите, что это было?» Я уверил его, что он говорил так хорошо и складно, что я даже хотел обидеться, решив, что он заготовил эффектную речь и скрыл это от меня. В ответ он показал пригласительный билет на вчерашний банкет, на обороте которого наспех было набросано несколько тезисов. «Я не хотел, да Сурков перед самым заседанием насел. И Вигорелли сказал: „Я не буду с вами здороваться, если не выступите“. Вот и пришлось соображать на скорую руку».

Тут подошел А. Прокофьев (глава ленинградских писателей, которому Твардовский при мне советовал: «Царствуй, лежа на боку!»), подошли Панова, Эренбург, сели в буфете выпить воды за столиком. Коньяку ни-ни. Все хвалили Твардовского за его речь, и он успокоился, растеплился немного.

Вечером, как заранее сговорились, я встретился с Хитровым и мы распили прощальную бутылку вина и погуляли немного вместе по любимым питерским местам: по улице Росси, по набережной Фонтанки, потом на Мойку и к Арке Главного штаба. А кончили у Исаакия. За 10 минут до отхода вскочили на поезд, и — прощай, Ленинград!

9. VIII. 1963

Многое, конечно, не успеваю записывать, да и забывается на другой день. Жизнь обгоняет записи. Часто лень вынуть тетрадку или приходится писать задним числом, а все равно я понукаю себя. Ведь легко и вовсе разлениться, бросить дневник совсем. А было бы жаль. Какие-то крохи большой истории есть, возможно, и здесь. Не знаю, сохранятся ли какие-то слова, мнения, факты, если я не запишу их хоть небрежно, иной раз полуграмотно, косноязычно, но хоть как-то запишу.

Утром на вокзале нас встретил Кондратович с машиной. Поздоровавшись, тут же огорчил тем, что цензура задержала «Театральный роман» Булгакова.

Днем, в редакции, Закс рассказал подробнее. Главлит считает, что это пасквиль, плевок и памфлет, оскорбление, нанесенное Художественному театру и системе Станиславского. Никакие резоны, что это юмористическое сочинение, дружеский шарж, не помогают. Верстку передают в ЦК, Черноуцану.

Я поехал на дачу и три дня остывал от ленинградских впечатлений.

12. VIII. 1963

Твардовский был в редакции и рассказывает, что в Ясную Поляну с иностранными гостями он не поехал, зато был на пароходной прогулке по каналу, которая всех чужеземцев привела в восторг. «Давно бы так,— иронически комментировал их радость Александр Трифонович.— А то все разговоры да разговоры в закрытом помещении. Ни тебе выпить, ни искупаться...»

С. Х. Минц перебеляет на машинке текст «Теркина...», который В. С. Лебедев просил Твардовского взять с собой, когда группа руководства КОМЕСа полетит в Пицунду, где отдыхает Хрущев. Поездка должна состояться завтра. Возможно, Александру Трифоновичу придется остаться там после приема гостей для решения судьбы его поэмы.

Твардовский досадует, что его речь напечатана не в «Правде», куда он ее отдал, а в «Литгазете», где к тому же ошибки: вместо «образов»—«образцы», или наоборот.

14. VIII. 1963

Ура! «Теркин...» разрешен. Я понял это из утренней газеты, а потом поспешил в редакцию. Но опоздал немного... Трифоныч был с утра и рассказывал, как все совершилось. Предполагается печатать «Теркина...» в ближайшем «Новом мире» и одновременно (даже с неизбежным опережением) в «Известиях». Это, конечно, подрывает успех поэмы у нас в журнале. Ну да бог с ним, тут расчет малый в сравнении с серьезностью случившегося.

16. VIII. 1963

Вошел с утра в большую нашу комнату, Твардовский сидит за столом, читает почту. Я расцеловал его, поздравил.

Он ждал, когда его свяжут с Аветисяном, заместителем начальника Главлита, чтобы говорить с ним о романе Булгакова. Разговор состоялся, но без большого успеха. Александр Трифонович тщетно уверял Аветисяна, что это не пасквиль на Художественный театр, а шарж, добрый юмор. Ссылался на Герцена: тот, кто свою силу чувствует, не боится юмора, насмешки. «А если мы так оберегаем авторитет Станиславского и его „системы" — значит, дело-то нехорошо».

Говорил, что и Мих. Булгаков в искусстве фигура не мелкая — и о нем надо бы подумать. Но Аветисян был непробиваем для аргументов.

«Странно, что вы застряли на Булгакове,— сказал Александр Трифонович.— В № 6 будет печататься одна поэма — там уж у вас будет простор для работы»,— не удержался и подъязвил Твардовский. Аветисян, разумеется, понял, о чем речь, начал его поздравлять, но вопрос о Булгакове так и остался висеть в воздухе.

Поэму сегодня сдали в набор — для журнала и для «Известий».

Я попросил Александра, Трифоновича рассказать, как дело было в Пицунде, и он с удовольствием повторил для меня этот рассказ.

Только прилетели и расположились в домиках для гостей, прибежал Снастин: «Зовут!» Все отправились в парк, где их встретил Хрущев.

Осматривали разные чудеса роскошной виллы. Гостеприимный хозяин показывал бассейн, где нажмешь кнопку — и пошли двигаться стеклянные сферы, чтобы защититься от непогоды, дождя.

Потом в зале был некий официальный момент — произносились приветственные речи. Обращаясь к зарубежным писателям, Хрущев говорил не очень любезно. Подоплека этого та, что на другой даче, за его забором, отдыхает Морис Торез. К нему еще накануне приехал из Ленинграда Андре Стиль, бывший на сессии наблюдателем, и высказался тенденциозно, что-де КОМЕС коммунистов-писателей не пригласил, а буржуазных литераторов в Ленинграде принимают со всей сердечностью. Со слов Стиля М.Торез выразил свое недовольство Хрущеву. Н.С. ходил к нему объясняться.

Так или иначе, но Хрущев простодушно обратился к собравшимся гостям: «Вот среди вас есть и писатели, защищающие интересы социализма, и писатели — защитники интересов буржуазии...» Это вызвало протест Сартра: «Буржуазных писателей здесь нет».

Пошли к столам, и за обедом атмосфера потеплела. Вигорелли сказал, наклонившись к Хрущеву, что он хочет процитировать ему один пункт устава КОМЕСа и произнес его на память: «Сообщество принимает в свои ряды коммунистов, но не принимает антикоммунистов, которых приравнивает к фашистам». Хрущев закивал, это помогло дальнейшему общению.

Твардовский держал себя строго, не пил, почти не ел, потому что знал, что ему, возможно, предстоит читать Хрущеву поэму после обеда. (По предварительному разговору с Лебедевым выходило так, что иностранцы разъедутся, а Александр Трифонович прочтет поэму в узком кругу, пригласят лишь Федина, Шолохова.) Предложение Хрущева читать за обедом, в присутствии всех гостей, было неожиданным. Правда, Унгаретти и Вигорелли успели откланяться, но все прочие оставались.

Чтение длилось минут 40. В середине Александр Трифонович один раз прервался — попросил разрешения закурить (при Хрущеве не курят), сделал две затяжки и продолжал читать. Хрущев слушал внимательно, порой хохотал в голос, по-деревенски. Если что-то не нравилось ему или было непонятно — он хмурился. И синхронно менялось выражение лица Снастина и других «сопровождающих». За обедом у Сартра не было переводчика, и Александр Трифонович спросил его потом, не скучал ли он во время чтения? Сартр ответил: «Нисколько. Я наблюдал выражение лица Хрущева и лица людей, его окружавших. Это был очень интересный спектакль».

Когда чтение закончилось, Хрущев встал, протянул Твардовскому через стол обе руки и поздравил с удачей. И следом подошел к нему и обнял его Шолохов. Было только два явственно недовольных лица — Чаковский и Прокофьев. Последний думал, что и его

попросят читать стихи. Он решил так, потому что Хрущев сказал с полнейшей непринужденностью: «Я слышал, что у Александра Трифоновича есть что-то новенькое. Может быть, мы попросим его прочесть?» Это было наполовину инсценировкой, наполовину импровизацией.

«Может быть, разрешите и рюмочку в честь этого?»— спросил Твардовский, выслушав поздравления Хрущева. И Хрущев радостно согласился: «Давайте и я с вами выпью, пока врач не видит». Твардовский сознался, что, когда наливал, руки у него дрожали.

Тут же подлетел и Аджубей, сказал, что он просит поэму для «Известий»,— «отказать нельзя было». Все же Хрущев попросил оставить рукопись, чтобы прочесть глазами. Один стих там все-таки смущал его.

Вскоре выяснилось, что речь идет о четырех строчках, где говорится о том, что Теркин не с мертвым «большинством», а с живым «меньшинством». Как объясняет Александр Трифонович, он имел в виду лишь большинство мертвых во множестве ушедших поколений человечества. Но тут находят какую-то неприятную аналогию в связи с советско-китайской полемикой, опасения, впрочем, не совсем ясные.

Прямо на аэродроме в Москве Твардовского встретил ответственный секретарь «Известий», которому было поручено взять у него рукопись. Но Твардовский сказал, что не может этого сделать, пока текст не вернется из Пицунды.

На другой день Лебедев позвонил оттуда, что все в порядке, можно печатать.

17.VIII.1963

Твардовский вычитал гранки «Известий». Звонил ответственный секретарь редакции Драчинский, просил снять строчки о «большинстве-меньшинстве». Твардовский стал было их переделывать, а потом махнул рукой и убрал вовсе. «Сами по себе они не плохи, но я посмотрел — и без них ничего, даже связь лучше».

Звонил Аветисян. Просил-упрашивал снять строки о цензуре, где речь идет о трудоустройстве дураков и самых безнадежных — «тех, как водится, в цензуру, на повышенный оклад».

«Это же просто неверно, оклады в Главлите небольшие»,— взывал Аветисян. Потом позвонил второй раз: «Подумайте, что о нас будут говорить». «А вы зачем на себя принимаете?»— не без лукавства спрашивал Александр Трифонович.

Потом, положив трубку и обращаясь ко мне, сказал: «Может быть, это жестоко. Вот он придет домой и как жене и детям этот номер „Известий“ покажет?.. Да уж пусть. Они заслужили».

Вспомнил по этому поводу пушкинское послание «На выздоровление Лукулла», в котором прототип узнал себя по строчке, где говорилось, что он крал казенные дрова.

Все эти переговоры с цензором были маленькой местью за мучения последних месяцев и позабавили нас немало.

А тут позвонил Драчинский и играючи говорит: «Цензура не

хочет подписывать поэмы, Александр Трифонович...» — «Ну что ж, будем выходить без одобрения цензуры?»

18.VIII.1963

Вышел номер «Известий» с полосой «Теркин на том свете» и кратким введением Аджубея, упоминающим о пицундском чтении.

19.VIII.1963

Я уговорил Александра Трифоновича вместе поехать к Черноуцану объясняться по поводу Булгакова. Когда шли по длинным коридорам и переходам здания ЦК, Твардовский, хитро сощурившись, процитировал себя: «А дверей — не счесть дверей, и какие двери!»

Черноуцан встретил нас дружелюбно, но немного оробел под двойным напором. «Мы пришли провести с вами работу... Это у нас запущенный участок»,— пошутил, едва мы вошли, Александр Трифонович. И объявил, что речь пойдет о Булгакове. Черноуцан выслушал нас терпеливо, посмеиваясь, но не уступал. Его суждения сошлись с цензурными: роман Булгакова — пасквиль, подрыв авторитетов, системы Станиславского.

«Берете грех на душу,— пугал его Александр Трифонович.— У нашего Закса в сейфе лежит список ваших грехов и благодеяний. Ведь мы все запоминаем»,— смеясь, говорил Твардовский.

Черноуцан взял с нами игровой тон. «Нет, вы серьезно верите, что это можно напечатать? Да нет, вы меня разыгрываете! Не может быть, чтобы вы сами не понимали, что это невозможно».

Твардовский настаивал, что искусственным способом нельзя поддержать авторитет того или иного лица, что шарж, юмор никогда не вредят серьезному делу, что, наконец, Булгаков такой писатель, что имеет право на опубликование каждой его строчки. Я сказал, что так бы следовало запретить и чеховскую «Попрыгунью» за клевету на Левитана. И вообще, произведение такой ценности, как роман Булгакова, неизбежно будет опубликовано через 5 или 10 лет, но напечатают его обязательно.

Сбитый нашим напором Черноуцан возражал неубедительно, вяло, но стоял на своем.

Александр Трифонович говорил ему:

— Ну ведь вы видите, как странны все эти наши запрещения. Девять лет назад сожгли «Теркина на том свете», буквально подвергли аутодафе, собрали все верстки по списку и сожгли. А теперь поэма разрешена и вы знаете, что в этой редакции она сильнее, глубже первого «Теркина...» 1954 года. И оказывается, ничего опасного для советской власти нет — вчера напечатали в газете.

От Черноуцана отправились на Смоленскую, к Сацу.

По дороге Александр Трифонович говорил, что всегда дивится тому, как все строго регламентировано в казенном учреждении, где мы были. К Черноуцану одна дверь, а к Поликарпову уже двойная — с тамбуром. Черноуцану приносят чай с лимоном и бумажной салфеткой, а Поликарпову — тот же чай с лимоном, но еще и два бутерброда — с копченой колбасой и сыром, и салфетка ему — льняная.

У И. А. Саца был еще Е. Н. Герасимов. Чокнулись за появление поэмы. Александр Трифонович сказал: «Вот погружусь в какие-то мелочи, заботы, дела, а потом готов ущипнуть себя: „Теркин...”-то напечатан!»

Возвращаясь домой, уже в машине, условились, что я подготовлю ему кое-какие бумаги относительно Марка Щеглова, чтобы он завтра на секретариате мог выступить по поводу его книги.

Вспоминая наш визит к Черноуцану, Александр Трифонович говорил: «Со Станиславским действует та же культовая психология. В стране был один вождь — Сталин, и во всех областях науки и искусства должен был быть один, непременно один, обожествляемый авторитет. В физиологии — Павлов, в литературе — Горький, в театре — Станиславский. А Булгаков на культовый принцип замахнулся. Черноуцан-то, может, в душе и понимает, что это глупость, но уже посоветовался с Поликарповым, а тот уступать не велит».

20.VIII.1963

Сегодня Александр Трифонович записывал «Теркина на том свете» на радио да еще сидел на секретариате СП. Приехал в редакцию усталый. Сказал только мне: «Ну, со Щегловым все в порядке. Лесючевский * обещал двинуть его книгу. Я вслух прочитал выдержку из статьи о Леонове, которую ему ставили в криминал, все согласились, что теперь без опасений можно это печатать».

В.Некрасова исключают из партии. Сац написал по этому поводу записку Твардовскому, которую я ему передал.

21.VIII.1963. Подписан к печати № 8.

В номере:

А.Твардовский. Теркин на том свете.

М.Шитов. Березовские повертки. Рассказ.

А.Ковтун. Севастопольские дневники.

Воспоминания П.Виноградской, статьи А.Шарова, М.Кузнецова.

Рецензии Ю.Буртина, О.Михайлова и др.

25.VIII.1963

Я начал вплотную заниматься давно задуманной статьей о Солженицыне. Идет туго. В голове сумбур, но сумбур не бесплодный. Из этого должно что-то выйти, хотя трудно удержаться в рамках цензурности.

В пятницу (23.VIII) был у Конюховой в «Советском писателе». В издательстве Лесючевский высказался иначе, чем мне рассказывал Александр Трифонович. Лесючевский снова уползает, как уж, в трясину рецензирования, согласований, советов и т.п. Он сам изъявил к тому же желание читать рукопись.

---

* Лесючевский Николай Васильевич — многолетний директор издательства «Советский писатель», чиновный трус и доносчик, в свое время посадивший Ник. Заболоцкого.

26.VIII.1963

Александр Трифонович говорил по поводу повести С.Залыгина: «Не надо начинать так: „Месяц зацепился за тучу“ и тому подобные красоты природы. А надо: „21 марта 1931 года в селе Красный Кут сгорел амбар с посевным материалом“. И дальше давать картину: кто как к этому отнесся, что сказал».

Твардовский считает, что Залыгин злоупотребляет внутренними монологами, не слышно авторской речи, а авторская речь — большая сила. «Современные прозаики,— рассуждает Александр Трифонович,— любят диалоги, даже простое сообщение переводят в прямую речь. Но диалоги не должны быть информационными. Диалог должен двигать действие. Вот „Жизнь Клима Самгина“ написана с одной точки зрения — самого Самгина, но и автор не отказывается от права высказаться. Авторская речь — большая ценность в повествовании, если есть, что сказать. Обычно ею пренебрегают, потому что она становится пуста, сказать нечего».

В связи с повестью Залыгина Александр Трифонович снова коснулся коллективизации: «Раньше говорили прямо — революция сверху. Теперь у теоретиков некоторая невнятица. Конечно, нельзя отрицать, что в деревне был и настоящий кулак. Беда в том, что раскулачивали не одних кулаков, а крестьянскую массу, среднее крестьянство. После революции все могли воспользоваться полученным правом на землю. У отца, Трифона Гордеевича, было что-то около 10 га, правда, землица плохая, неудобица. Был и собственный лесок (2 га), плохонький, но свой».

Твардовский говорил о сложности психологии крестьянина, в которой смешано и хорошее и дурное.

«Береза, на которой остается повеситься Степану Чаузову в конце повести,— может быть, лишний нажим, и, во всяком случае, противоцензурна». Александр Трифонович березу советовал убрать, а подробность сильная!

О В.Некрасове стало известно следующее: его исключили из партии на райкоме. Сначала потребовали, чтобы он написал заявление: критику Н.С.Хрущева и в печати признаю целиком правильной. Но он не стал этого делать, а написал лишь, что выступает впервые в жанре зарубежного очерка и работа могла ему не удаться, отсюда и недоразумение. Эти объяснения не удовлетворили начальство. Теперь исключение должен подтвердить обком. Друзья Некрасова считают, что важен был бы звонок Александра Трифоновича в Киев. Но он подумал и послал вместо этого телеграмму: «Вместе с тобой тяжело переживаю случившееся. Желаю уверенности, спокойствия, веры в партию»— что-то в этом духе (записываю по памяти).

Главная беда, как шепнул мне Александр Трифонович, что Хрущеву прокрутили магнитофонную запись пьяной болтовни Некрасова, где он высказывался, не сдерживая себя, и оттого малы шансы выручить его, обратившись к Н.С.

27.VIII.1963

Тендряков принес три рассказа. Я прочел и вынужден был согласиться с Твардовским, уже прежде их смотревшим: рассказики, увы, так себе, написаны небрежно, спустя рукава. Два последних, поправив стилистику, можно бы напечатать.

Александр Трифонович критически отозвался и о рассказе М.Рощина, нашего молодого сотрудника отдела прозы, о новичке на заводе. Тут он, по-моему, не совсем прав. В рассказе любопытная мысль. Я пытался убедить в этом Трифоныча, но пришел Дементьев, разбранил рассказ, и его окончательно забраковали. «К сочинениям наших сотрудников вы должны быть особенно требовательны»,— все время повторял Александр Трифонович.

Утром Твардовский был в «Известиях» у Аджубея. Спрашивал о судьбе письма новгородских председателей колхозов. «Там все в порядке,— отвечал Аджубей,— мы разобрались. Я передал их письмо в Бюро ЦК по РСФСР. Им не хватало удобрений, теперь им их подбавят. Там все дело в удобрениях». «А я сомневаюсь, что все дело в удобрениях»,— сказал мне Александр Трифонович.

Аджубей показал Твардовскому читательские письма о «Теркине на том свете». Есть и отрицательные, эти от наших «бешеных».

«Вот видите, Александр Трифонович,— сказал Аджубей,— есть и такие читатели, что готовы нас рядом, вот тут, на Пушкинской площади, на фонарях повесить». «А я думаю,— комментировал Твардовский,— что вешать-то нас с Аджубеем будут все-таки в разных местах».

«Известия» хотят печатать письма читателей под заголовком: «Ждем „Теркина" на этом свете». Твардовского это сердит. Глупо поэту ехать на одном, пусть и удавшемся, герое. «К Теркину я больше не вернусь»,— говорит Твардовский.

О Солженицыне Аджубей, между прочим, спросил: «Говорят, опять скользкую вещь написал?» Твардовский возмутился.

Александра Трифоновича удивил гонорар, полученный им за публикацию «Теркина» в «Известиях» — едва по 30 копеек за строку: никогда еще так мало не платили.

С. Щипачев приносил сегодня в редакцию новые стихи, довольно острые по смыслу, но, по обыкновению, слабенькие. «Нет, Степа, этого нельзя печатать, пусть полежат в столе»,— обескуражил его Александр Трифонович.

Щипачев рассказал, как ездил недавно к себе на родину, в село Щипачи, где-то под Свердловском,— бедность, грязь, оставленные, заколоченные избы. За ним увязалась местная кинохроника — снять сюжет «поэт в родной деревне», и увидели, что снимать нельзя. «Так и не снимали?»— спросил кто-то из нас. «Нет, почему же, снимали... В открытом поле».

«Были у меня в этой поездке,— говорит Щипачев,— и другие, светлые впечатления... Молодой город Асбест, я написал про него стихи, вот их можно печатать, а о деревне, видишь, нельзя».

«А ты что же, когда про свой Асбест пишешь, начисто отключаешь все другие впечатления?»— спросил Твардовский не без

яда. Но потом сам же спохватился, не обидел ли ненароком добродушного и безобидного Щипача, и стал говорить что-то любезно-примирительное.

Сидели в редакции дольше обычного, ждали «сигнал» № 8 с поэмой. И как только посыльная Оля принесла пачку журналов на подпись «В свет», отправились в «Асторию» на улице Горького праздновать это событие: Дементьев, Марьямов, Твардовский, Орест Верейский и я.

Верейский завел разговор о том, какими могут быть иллюстрации к новому «Теркину». Александр Трифонович говорит: «А что, если сделать все самое наиреальное — бюрократов за столами с телефонами, папками, и лишь едва заметно, какими-то деталями намекнуть, что это „тот свет"?»

С Дементьевым мы почему-то заспорили о Горьком. Я сказал, что непонятна ненависть Горького к страданию, к человеческой слабости. Как он скверно пишет об этом в письмах из недавнего «Литнаследства» *. И вообще в Горьком, в особенности в последнюю пору, много фальшивого, претенциозного. Дементьев возражал, что нелюбовь Горького к слабости, страданию надо понимать в каком-то особом философском смысле, а не как у Ницше. Александр Трифонович взял мою сторону, вспомнил бессмертный афоризм, оправдание всех репрессий: «Если враг не сдается — его уничтожают». Вспомнил и о том, что в «Челкаше» еще молодой Горький отдал преимущество босяку перед крестьянином, которому приписал жадность. «На крестьянский народ он смотрел как мещанин Кунавинский слободы»,— сказал Александр Трифонович.

В отношении Твардовского к Горькому есть, впрочем, и личная нота. Горький, прочитавший по просьбе Исаковского «Страну Муравию», написал, что это слабое подражание то ли частушкам, то ли стихам Прокофьева. Недавно В. Перцов не преминул уколоть Твардовского, напомнив этот эпизод. Но Горький, впрочем, редко был провидцем в литературных судьбах. Не принял ни Шолохова, ни Фадеева. Зато до небес вознес Сергеева-Ценского и изо всех сил пригревал Льва Никулина.

Марьямов, только что вернувшийся с Чукотки, рассказывал, как слушали там «Теркина» моряки, когда он читал им его по «Известиям» в кают-компании в присутствии капитана-наставника Севморпути.

30.VIII.1963

Сегодня Твардовский звонил Лесючевскому о своих «трех претензиях» к издательству:

1) почему задерживают уже сверстанную книгу воспоминаний Льва Любимова «На чужбине» (эти записки эмигранта печатались впервые в «Новом мире»)?

* т. 70 — «М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка». М., 1963.

2) почему задержан сборник стихов Анны Ахматовой, на который Е.Книпович, по обыкновению, дала «брутальную» рецензию?

3) отчего опять остановилось движение в печать книги М. Щеглова?

Говорил Александр Трифонович резко, почти зло.

После работы пошли в мои комнатушки на Страстном: Твардовский и Дементьев. Хорошо говорили «за жизнь», «за литературу» в моем послеремонтном неустроенном жилье.

Александр Трифонович много раз возвращался к полученному им недавно письму Ольги Берггольц. Она пишет, что рада, что новый «Теркин» не разочаровал ее, а то она боялась, кабы он не был хуже прежнего, 1954 года.

«Не могу, когда мне вспоминают первую мою вещь, это так бессовестно,— огорчался Александр Трифонович.— Меня же самого как бы тем же старым вариантом „Теркина"— попрекают... Впрочем, Пушкина вот тоже,— сказал он, улыбнувшись собственному сравнению,— полжизни звали „певцом Руслана" и ничего нового у него не хотели признавать».

Твардовский рассказывает, что этот «загробный Теркин...» писался так долго, что кое-что из него сублимировалось в «Далях» — в главе «Фронт и тыл», в вагонном разговоре с критиком и т. д. Какие-то образы, строки невольно расходились и по другим вещам, пока поэма лежала. «Я лучше всех знаю недостатки нынешнего „Теркина...",— говорит Александр Трифонович,— знаю, что тут темновато, усложнено, плохо, но поправлять уже не буду, пусть как на нынешний день сложился, так и живет. Но разве я когда-нибудь это перед мерзавцами покажу? Нет, я не доставлю им такой радости...»

Я достал гитару, и мы потянули негромко «Вот мчится тройка почтовая...», «Белым снегом...» и др. Даже Демент позвенел немного своим тенорком.

Вспоминали о недавней передаче по радио «Теркина на том свете» в исполнении автора. Я слышал и сказал Александру Трифоновичу, что было хорошо, но временами торопливо, а надо бы помедленнее, «с расстановкой». Оказалось, Твардовский тоже слушал себя: сидел в субботу вечером один на даче на крылечке и несколько раз даже рассмеялся.

Рассказал Александр Трифонович о каком-то чудиле, который явился к нему на дачу с рукописью своей крайне беспомощной пьесы и бутылкой гаванского рому. Он был уверен, что даже если пьеса плоха, стоит Твардовскому к ней прикоснуться, поправить кое-что, и она засверкает алмазом. «А я, как назло, и гаванский ром не люблю».

Александр Трифонович прочитал биографию Достоевского, написанную Л. П. Гроссманом. Говорил по этому поводу, что Гроссман пытается оправдать даже такие слабости Достоевского, какие оправдать нельзя, дружбу с К. П. Победоносцевым например. «Это все равно как если бы я стал дружить с Ильичевым и на задушевные темы с ним говорить, а вы все меня бы за это нахваливали».

31. VIII. 1963

В «Литгазете» напечатана статья Ю. Барабаша «Что есть справедливость?» — против рассказа Солженицына «Для пользы дела».

Из статьи Ю. Барабаша («Литературная газета», 31 августа 1963 г.)

«Итак, неудача... Но разве застрахован от этого хотя бы один художник, тем более художник ищущий?

Конечно, нет.

И быть может, не стоило бы говорить об этой неудаче А. Солженицына, если бы недостатки рассказа „Для пользы дела" не имели много общего с тем, что критика отмечала, например, еще в „Матренином дворе". Речь идет о попытках решать сложнейшие идейно-нравственные проблемы, судить о людях и их поступках вне реальных жизненных связей, оперируя абстрактными, не наполненными конкретным социальным содержанием категориями. Там — „праведница", без которой якобы не стоит ни село, ни город, ни „вся земля наша". Здесь — „маленькие" люди, расшибившие себе лбы в бесплодных попытках ответить на поставленный „вне времени и пространства" схоластический вопрос что есть справедливость?

Казалось бы, „Для пользы дела" — самый современный из рассказов А. Солженицына, почти наши дни, но если вдуматься, если отбросить такие сугубо внешние приметы, как катамараны и пальмы на рубашках, да короткие ежики, да „архисовременные" суждения ребят о литературе,— если все это отбросить, то окажется, что взгляд писателя на жизнь, его позиция остались такими же несовременными, во многом даже архаичными, как и в „Матренином дворе". „Нового", подлинно современного Солженицына мы здесь не узнали...

А ведь перед нами, несомненно, крупный и честный талант, своеобразие которого — в обостренной чуткости к любому проявлению зла, неправды, несправедливости. Это большая сила, но — только в сочетании со знанием и глубоким пониманием законов, по которым движется жизнь с умением ясно видеть направление этого движения.

Думается, верится — встреча с „новым" Солженицыным — впереди...»

10. IX. 1963

Пишу, по просьбе Твардовского, традиционное перед подпиской редакционное обращение к читателям для № 10. Включаем в проспект имена И. Эренбурга и В. Некрасова. Без них выходить нельзя, сочтут, что мы отреклись от их сотрудничества.

Александр Трифонович заезжал в редакцию, он никак не уедет в Болгарию, куда давно собирался. А его уже требуют в США, напоминая о прошлогодней договоренности.

Твардовский разбирал сегодня почту. Говорит мне: «Есть письма, где читатели меня бранят: „Куда пропал ваш талант? Где замечательный народный язык, зачем эти слова „сеть", „система", „но-

менклатура", „цензура"?" Я понимаю, что этот мой „Теркин" не так прост, не так общедоступен, как прежний, не так, что ли, простодушен... Тогда я на 20 тысяч хвалебных писем получил одно отрицательное. Теперь ругают куда чаще, даже угрозы есть. Но имеется и другой род писем, от которых меня в дрожь бросает; в самом деле задумаешься, как поэму разрешили. Один, к примеру, пишет: „Вы говорите „Пушки к бою едут задом", не пора ли их повернуть?"».

Александр Трифонович с огорчением говорил о последнем письме ЦК по поводу экономии хлеба. «Причину ищут не там. Говорят: много хлеба идет на корм скоту. Но в известном возрасте свинья на килограмм скормленного ей хлеба дает килограмм привеса. В ресторанах еще до войны все отходы передавались свиноводческим совхозам. Да что говорить! На обеде у Хрущева в Пицунде среди икры, крабов и всех роскошеств стола не найдешь хлеба: им обносят, нарезав тонкими ломтиками,— для воодушевляющего примера...»

12. IX. 1963

Обращение «От редакции» готово. Новая повесть Е. Герасимова придержана в цензуре.

Хитров рассказывал вчера, как нервничал Гребнев, заместитель Аджубея, когда в «Известиях» печатался «Теркин на том свете».

«Не знаю, не знаю, эту полосу я бы не подписывал,— говорил он, ухмыляясь и потирая руки.— Вот увидите, это особая группа — Солженицын, Твардовский, и их еще разоблачат. Впрочем, я ничего не говорю, это сугубо личное мое мнение».

Вот не боится же в этом смысле демонстрировать свою независимость! А ведь самый законопослушный чиновник.

Б. Сучков в «Знамени» тоже, не стесняясь, объявляет сотрудникам: «На поэму откликаться не будем. Что поделаешь — это неудача Александра Трифоновича. Не станем его обижать!»

А со слов Светланы знаю и такое: Голованов, который смотрит на нее почти как на родственницу, ведет с ней доверительные разговоры: «Неужели вам нравится поэма Александра Трифоновича? Это даже интересно. Зайдите ко мне, поговорим, мне трудно даже представить: что там может нравиться».

И это говорят, не прикусывая язык, люди служащие, хорошо знающие, кем одобрена поэма. В эту сторону гнуть безопасно.

14. IX. 1963

Г. Владимов принес рассказ о сторожевой собаке, которая одичала после того, как разогнали лагерь, при котором она служила. Рассказ — прозрачная аллегория, притча, но, пожалуй, его можно было бы напечатать, если добавить «верному Руслану» больше живого, собачьего. Запоминается сцена, как собака сопровождает в городе первомайскую демонстрацию, думая, что это колонна зэков.

Владимов много занят кинематографом, снимает «Большую руду». На студиях паника. Из 120 картин 100 закрыли. В Главке

сидят сейчас Дымшиц, Сытин. Постепенно идем к временам, когда, как при Сталине, выпускали 6—7 картин в год.

17. IX. 1963 Подписан к печати № 9.

В номере:
Е. Герасимов. Семья Алешиных.
В. Тендряков. Рассказы радиста.
Л. Волынский. Краски Закавказья.
Стихи Р. Гамзатова, Н. Матвеевой.
Статья Е. Тарле «Пушкин как историк».
Рецензии А. Туркова, К. Чуковского, А. Гладкова, В. Твардовской и др.

25. IX. 1963

Пытаемся спасти «Театральный роман» Булгакова. Я пригласил В. О. Топоркова и просил написать предисловие. Он согласился, принял предложение, и я передал для «безвозмездного использования» мою заметку, написанную при предыдущей попытке публикации. Есть надежда, что с послесловием Топоркова роман пропустят.

Вчера решили соорудить небольшую подборку писем в связи с новым рассказом Солженицына, обруганным в «Литгазете» Ю. Барабашем — есть очень неглупые, теплые письма. Весь вечер читал эту почту и, кажется, подобрал то, что нужно.

Статье о Солженицыне не видно конца. Все продумано, а пишется медленно, трудно.

17. X. 1963

В Москве — паника у булочных. Исчез белый хлеб, нет манки, вермишели. Очереди, народ злится, и никто не стесняется говорить, что думает.

Конец октября 1963 г.

В редакции уныние. Обращение к читателям в № 10 задержано. Цензура недовольна тем, что дух статьи прежний и упомянута в числе анонсируемых авторов фамилия В. Некрасова.

В конце концов в отделе культуры ЦК разрешили, попросив сделать 2—3 поправки. Сделали. Тогда начальник Главлита Романов написал Ильичеву донос на журнал по всей форме: «Вопреки решениям партии направление журнала прежнее». Ильичев просил дать заключение по этой докладной своих сотрудников. Фактически все свелось к двум главным упрекам: упоминание фамилии В. Некрасова и еще то, что в статье не упомянуто о значении для литературы «исторических встреч». Дело тянулось две недели. В эту пору, как ни смешно, нам удалось напечатать свое объявление о подписке (где упомянут и В. Некрасов) в «Литгазете», обставив цензуру. (Звонил по этому поводу Ю. Барабашу.)

Наконец 29.X Твардовский был у Снастина. Вернулся расстроенный, рассерженный, возбужденный. Они проговорили со Снас-

тиным часа два, и «я не помню, когда я так кричал», рассказывал Александр Трифонович. Но в результате наше «От редакции» разрешили.

Рассказывают о гонениях на театры. М. М. Яншина, руководившего Драматическим театром им. К. С. Станиславского, приказом Фурцевой сняли с должности. Он будто бы, вспылив, на одном из обсуждений спектакля, сказал ей: «Я 40 лет занимаюсь театральным искусством. Почему меня все учат, как ставить спектакли? Вы учтите, Никита Сергеевич учит...» Через три дня он был снят.

19. X. 1963

В «Литгазете» статья Н. Селиверстова «Сегодняшнее — как позавчерашнее» — против рассказа Солженицына «Для пользы дела».

21. X. 1963 (в действительности 31. X) подписан в печать № 10.

В номере:
Г. Троепольский. В камышах.
К. Паустовский. Книга скитаний.
И. Шмелев. Русская песня. Рассказ.
Л. Волынский. Краски Закавказья (окончание).
Стихи М. Алигер, К. Кулиева.
Статья А. Бовина «Истина против догмы» (полемика с Китаем).
Трибуна читателя (3 письма о рассказе А. Солженицына «Для пользы дела»).
Рецензии А. Абрамова, М. Рощина и др.

Из обращения «От редакции» («Новый мир», № 10, 1964 г.)

«Любому толстому журналу, в том числе и нашему, трудно рассчитывать на то, что все его двенадцать годовых книжек будут встречены читателями с одинаковым интересом. Но мы всегда стремимся и будем стремиться избегать всякого рода подделок под литературу, поверхностной и иллюстративной беллетристики, считая основным достоинством произведения непосредственную правду жизни, глубину постижения ее писателем, идейную принципиальность.

⟨...⟩ Мы хотим видеть нашу критику лишенной мелочных пристрастий, принципиальной, озабоченной существенными интересами литературы и жизни общества. Оттого мы считаем и будем считать своим долгом борьбу против иллюстративности, литературной беспринципности, серости, низкого культурного уровня. Только соединение органической близости интересам и нуждам народа с высокой духовной культурой может принести в наши дни признание художнику».

29. X. 1963

Приезжал Солженицын. Говорил, что главы, нам прежде переданные для чтения (свидание в тюрьме и др.), — это кусок боль-

шого романа, над которым он работает *. А к следующей осени обещает кончить для нас другую вещь — повесть «Раковый корпус». Речь идет о ташкентской больнице, где его спасли. Он просит командировать его туда от журнала в январе или феврале.

Все единодушно, и Александр Трифонович в том числе, отговаривали его печатать главы ненаписанной еще вещи. Пока они и выглядят как фрагмент, и будут беззащитны перед недоброжелательной критикой. Солженицын же настаивал, что они кажутся ему вполне законченными, должны оставлять цельное впечатление. Он говорил, что хотел бы заявить «женскую тему» в лагерной литературе, которая вот-вот все равно прорвется.

Твардовский отвечал ему, что «глав» неоконченного произведения мы никогда не печатаем, лучше потерпеть и познакомить читателя с целым. Я напомнил, как молодой Толстой спешил с постановкой одной своей комедии, а А. Н. Островский сказал ему: «Зачем такое нетерпение?» — «Да комедия-то острая, на тему дня».— «Неужели ты думаешь, что **они** поумнеют?» — парировал Островский.

В результате Солженицын не стал настаивать, сказал, что понимает интересы журнала, верит, что мы лучше знаем положение, и доверяется нашему решению.

О повести «Раковый корпус» А. И. сказал, что не предвидит трудностей для ее появления в печати. Возник вопрос, можно ли объявить ее в проспекте? Твардовский и все мы советовали переменить, пока хотя бы условно, название. «Больные и врачи», например. Солженицын это отверг.

Потом в пустом кабинете Марьямова мы говорили с А. И. наедине, и он объяснил мне: ему не хочется, чтобы, пока он не будет появляться перед читателями, его считали автором повести «Больные и врачи». В этом названии есть нечто заведомо нейтральное, и может даже почудиться отступление, заранее обдуманное равновесие. Вот если бы одни «Больные»... Об этом еще можно бы подумать.

Говорили о Булгакове. Я рассказал ему о наших попытках напечатать «Театральный роман». Стал было толковать ему и о «Мастере», но выяснилось, что он где-то успел его прочитать.

«Какой удивительный писатель! — сказал Александр Исаевич.— Вот 20 лет прошло с его смерти, а все не можем напечатать. И какой разнообразный!»

Я предложил Солженицыну полечить его новейшими способами у моего друга В. Г. Он ответил, что сейчас хорошо себя чувствует, практически здоров и не хочет экспериментов. Впрочем, просил за своего приятеля — геолога, у которого запущенный рак. (Этот человек — герой его будущей повести — лежал с Солженицыным.) Я обещал узнать, сможет ли В. Г. помочь ему. Вечером мы созвонились по телефону.

---

* Впоследствии выяснилось, что 1-я редакция романа «В круге первом» была целиком написана Солженицыным еще до «Ивана Денисовича». Это обстоятельство он в свое время тщательно скрывал и предложил главы как бы из новой книги.

31. X. 1963

В редакции был Е. Евтушенко, читал новые стихи. Александр Трифонович говорил о них так жестко, что Евтушенко едва не расплакался. В словах Твардовского немало справедливого, и все равно Евтушенко жаль. Александр Трифонович упрекал его за манерность, «литературность», за отсутствие художнической объективности, какого-то интереса вне себя. Евтушенко был смят, подавлен и ничего не отвечал.

Я вступился за него. Меня поддержали Кондратович и Дементьев. В результате, с некоторыми переменами в составе, цикл Евтушенко пойдет у нас.

Я рад, что так вышло, да и Твардовский понял, что пережал. Он говорил потом Дементьеву, что так и надо: хорошо получилось, что он говорил без скидок, со всей суровостью, а в результате обсуждения все-таки можно напечатать.

Уже подписанный 10-й номер задерживают печатанием, так как не могут решить проблему тиража. Говорят, что нам установили 113 тысяч, а мы самовольно будто бы объявили 120 тыс. Только бы ущемить нас хоть в чем-нибудь!

Твардовский дал мне читать текст лекции М. А. Лифшица, с которой он недавно выступил в ЦДЛ (о коммунизме и «нравственном законе»). Интересно, смело и верно. Припоминает слова героя повести Солженицына: «...долго терпит да больно бьет».

Есть два способа реакции на неприятные факты. Свидетельство силы — когда их обсуждают, говорят о них прямо. Слабости — когда успокаивают себя, что ничего дурного не было и нет, ссылаются на старую риторику, которая никого убедить или обмануть уже не может. Как быть, если все изовралось до последней крайности? Если верить диалектике, шелуха старой формы должна спадать с нового, народившегося и уже чужого для нее содержания, да что-то не видно этого шелушения.

В газетах и журналах с каждым месяцем все развязнее бранят Солженицына, подкусывают повесть, ругают новые рассказы. С этой критикой я хочу повоевать в своей статье. Ругают его люди, которые, помимо всего иного, не думают о завтрашнем дне, о своей репутации. Солженицын, мне кажется, такой писатель, для всеобщего и безусловного признания которого необходимо лишь одно малое условие — время. Всякий, кто бесцеремонно нападает сейчас на Солженицына или на Твардовского,— получит самую незавидную аттестацию у будущих поколений.

10. XI. 1963

Исполнилось 60 лет Е. Н. Герасимову. Небольшой компанией (Кондратович, Дементьев) ходили отметить это событие в ресторан.

Из редакции позвонили Черноуцану относительно романа Булгакова. Он уперся и слышать не хочет о публикации этой вещи, теперь даже и с послесловием В. О. Топоркова.

11. XI. 1963

Маршак вернулся из Крыма почти слепой, с катарактой на обоих глазах. Слабым голосом звал меня к себе по телефону, и я ждал застать полутруп, а увидел его таким, как обычно,— кипящим, волнующимся, одержимым. В Крыму он сочинил сказку в стихах, переводил В. Блейка, писал свои «четверостишия» да еще для нас половину статьи привез.

Как всегда, не дает рта раскрыть, говорит сам.

«В литературе я больше всего ценю такое качество, как материальность».

«У Велемира Хлебникова, может быть, всего ценнее вещественность его поэзии».

И о своей тоске: «Я всегда был оптимистом, но сейчас начинаю понимать Гоголя, который говорил, что вокруг ему мерещатся одни свиные рыла. Или вот тоже Саша Черный: у него были приступы мизантропии, когда все и вся становились ему противны. Вот и мне кажется, что кругом слишком мало людей, с которыми можно поговорить».

«Мы все никак не можем выйти из зощенковского периода нашей истории».

Зло и остроумно говорил об Илье Сельвинском, но вспоминал, что в 20-е годы многие считали его серьезным поэтом. «Я помню как в 30-м году, примерно за месяц до самоубийства Маяковского, ко мне пришел Пастернак, который перед этим разговаривал с Маяковским. Пастернак сказал: „Маяковский сердится на Сельвинского, как мальчик, у которого нет варенья, на мальчика, у которого оно еще есть“».

Маршак расспрашивал о Твардовском, о наших журнальных баталиях. «Я боюсь за Твардовского,— сказал он,— чтобы в этих жестоких обстоятельствах не растерял он свою душу. Ведь самое лучшее — его лиризм, и жаль, что в последней поэме его немного. Это такая чуткая душа. Но последнее время, мне кажется, он почерствел... Берегите его, если можете!»

Потом Маршак «продекламировал» мне вслух свою статью и снова кинулся в рассуждения:

«Надо быть верным жизни. Но искусство — не просто „отражение“. Вот Гоголь, он почти не знал средней России, просто не жил в ней, за исключением тех дней, что провел в гостях у калужской губернаторши... Как же он написал „Мертвые души“?»

15. XI. 1963

Наконец-то сигнал № 10 ! Последняя задержка с уже подписанным номером произошла из-за статьи А. Бовина против китайцев. Дело в том, что два дня назад по взаимному согласованию с руководством Китая прекращена всякая полемика. Пришлось обращаться к Ильичеву, т. к. листы уже отпечатаны и даже сброшюрованы. Найдено такое решение: сменить дату подписания в печать с 31 на 21 октября. (Хрущев выступил с предложением прекратить полемику 27. X.) Поскольку тираж целиком отпечатан в типографии,

в выходных данных каждого номера от руки подчищают цифру 31 и специальным штампиком ставят 21. Это задержит рассылку подписчикам на несколько дней.

В. И. Снастин вызывал к себе и «воспитывал» Кондратовича. Заявил, что линия журнала расходится с линией партии. Кондратович это обвинение с негодованием отверг. «До чего доходит дело,— рассуждал Снастин.— Мой 17-летний сын спрашивает: „Папа, а когда будет продолжение Эренбурга?"» «Значит, вы плохо воспитываете сына?» — бросил реплику Кондратович.

Вообще же Кочетов в «Октябре» со своими подручными, вроде Д. Старикова, усиленно насаждают сейчас концепцию, что Твардовский и «Новый мир» выражают кулацкие настроения. И это имеет успех у таких, как Снастин. Исподволь подводится «социальная база». «Вот зачем вы печатаете „Матренин двор"? — рассуждал Снастин.— Хотите показать, как все неблагополучно в сельском хозяйстве. А идет все это будто бы от ошибок, допущенных в коллективизацию».

Это Матрена, с кошкой и фикусом,— кулак?!

Был И. Виноградов. Говорил о каких-то астрологах, которые пророчат скорый конец Хрущеву.

«Сейчас бы и начинать работать, только что-то понимать стал, но не тут-то было...»

Мне показалось, что у Виноградова начинает спадать его прежняя самоуверенность. Он становится мягче — и это приятно.

16. XI. 1963

Александр Трифонович в редакции. Он несколько разочарован перечитанной им в верстке повестью Залыгина, которую предложил назвать «На Иртыше». Во-первых, после редактуры, казавшейся ему же необходимой, ушло то, что бросало свет на все повествование — трагический образ березы в конце повести. Во-вторых, временами в самом залыгинском «письме» ему чувствуется искусственность. «Март стоял» — к чему тут инверсия?

Старый коминтерновец, «русский чех» академик Кольман прислал небольшие воспоминания о Я. Гашеке. Он встречался с ним в пражских пивных, когда Гашек провозгласил создание партии «умеренного прогресса в рамках законности» и т. п. По настоянию автора воспоминания прочел и Александр Трифонович. Сегодня он объяснялся с Кольманом по телефону. Сказал, между прочим, что «сам я человек пьющий, но не хотел бы, чтобы меня вспоминали потом, как вы Гашека, по преимуществу с этой точки зрения». Кольман сказал, что не понимает, как это поэт, создавший «Теркина...», может быть равнодушен к творцу «Швейка...».

По этому поводу Александр Трифонович сказал потом мне: «Как он не видит разницы: Швейк старается любым способом улизнуть с войны, а Теркин воюет всерьез».

После работы ужинали у меня на Страстном: Александр Трифонович, Закс, Кондратович. Твардовский весь вечер восхищался воспоминаниями Брусилова, которые он перечитывает, пересказывал

без конца эпизоды из этой книги. Но общий фон настроения — тусклый. Отдельное издание «Теркина на том свете» задерживается, несмотря на клятвенное обещание Лесючевского выпустить книгу «молнией».

Затихли и разговоры о поездке в Америку, хотя это как раз меньше всего огорчает Александра Трифоновича.

Мы с Заксом снова завели разговор о том, что надо бы поговорить в «верхах» о «Театральном романе» Булгакова.

«Ну что вы мне толкуете,— отвечал он с раздражением.— Если я сейчас пойду к Ильичеву, разве об этом буду говорить? Книгу мою не печатают, журнал душат, и придется ставить вопрос так: Твардовский я или не Твардовский. Не пугайтесь, друзья, но решающее объяснение назревает».

Подробнее, чем прежде, рассказал о последней встрече со Снастиным. Удивлялся его недалекости и говорил, что невольно дошел до крика, объясняясь с ним. «Нам сообщили статистику. В Москве столько-то тысяч абортисток до 16 лет. А это все ваши Эренбург и Аксенов виноваты. Эренбурга вы боитесь тронуть, все, что он напишет, прямо так в печать пускаете». Александр Трифонович возражал ему, говорил, что кое о чем с Эренбургом мы спорим, но это не такой писатель, чтобы за него все переписывать.

«Мы и у Ленина, когда надо, купюры делаем»,— выпалил Снастин. «А вот это уж зря,— мгновенно воспользовался его признанием Твардовский.— Зачем же искажать Ленина?» И в таком градусе шел весь разговор. «Как вы не понимаете, нам приходится сейчас хлеб выколачивать, а вы нам палки в колеса...» — негодовал Снастин. «То есть как это выколачивать? У кого выколачивать?..» — сбил его снова Твардовский. И так вся беседа.

Говорили о хлебе. Кто-то сказал, что вся беда оттого, что руководит распределением общественного продукта «шайка разбойников». «Нет,— возразил Александр Трифонович.— Это „организм организмов". Я у Халифмана вычитал, что так живут муравьи, инстинктивно объединяясь в кучу и защищая интересы друг друга».

Метафора «муравейника» у Достоевского энтомологически, научно точнее, чем можно думать.

Заговорили об антисемитизме. Александр Трифонович рассказал, что на днях к нему домой явился незнакомый человек, прорвался в квартиру, и Твардовский пригласил его в кабинет, сели. Он учитель физики, взволнован, озирается по сторонам. «Меня затравили те, которых недавно защищал Бертран Рассел... Вы понимаете, о ком я говорю?» Александр Трифонович сказал ему: «Ничем, к сожалению, не могу вам помочь...» — «Но почему?» — «Потому что я сам — еврей!» Встал и выпроводил совершенно раздавленного столь неожиданным оборотом дела просителя.

19. XI. 1963. Подписан к печати № 11.

В номере:

К. Паустовский. Книга скитаний.

И. Грекова. Дамский мастер. Рассказ.
В. Некрасов. Новичок. Из блокнота.
В. Лихоносов. Брянские. Рассказ.
Статья А. Гладкова о Платонове.
Рецензии Ф. Светова, С. Рассадина, Н. Коржавина и др.

19. XI. 1963

Всюду толки о хлебе, об очередях. Говорил об этом с Е. Дорошем. Странная вещь: как будто все понимают, что нужно делать, кроме как раз тех, от кого все зависит. Надо, по-видимому: 1) Повысить материальную заинтересованность путем покупки, а не сдачи зерна. Ведь золото все равно уплывает сейчас за границу — за тот же хлеб.

2) Дать наконец колхозу сеять то, что ему выгоднее — в общем балансе окажутся все культуры, если верно установить закупочные цены. Только так будут у нас и пшеница, и гречиха, и горох, и лен.

Почему нельзя провести такие простые, естественные и разумные меры? Кто этому сопротивляется? Ясно кто. Что будут делать тогда инструкторы, инспекторы, контролеры, погоняльщики? — несть им числа...

В ЦДЛ на днях подошел ко мне Владимир Максимов. Рассказал, что Кочетов, опубликовавший его повесть, во 2-м номере будущего года планирует напечатать «Двор посреди неба». Редактирует роман «сам» Дима Стариков. Максимов пытался попрекнуть меня, что «Новый мир» его отверг. Но, впрочем, сам же рассказал, что зам. Кочетова по «Октябрю» П. Строков говорил, соблазняя его: «В „Новом мире" вы никогда этого не напечатаете, цензура не даст, даже если редакция согласится. А у нас — пожалуйста».

Максимов обижался на меня, когда я сказал ему, что рад его успеху, роман есть роман, если печатают, то и благо, но вот статьи в «Октябре» не стоило бы ему писать. Много людей так себя погубило.

Из интервью В. Кочетова «Время больших надежд»
(«Комсомольская правда», 16 ноября 1962 г.)

«В 10-м номере мы опубликовали повесть Владимира Максимова „Жив человек". Повесть яркая, оригинальная по форме и острая, глубокая по содержанию. Открыли мы или не открыли новый талант в лице В. Максимова, и мы ли это сделали — пусть судят читатели. Но одно достоверно, что путь молодого писателя был нелегким. С повестью „Жив человек" его выпроводили за порог не одной редакции. И не от избытка внимания к себе вынужден был талантливый молодой писатель пойти печататься в сборнике „Тарусские страницы"».

21. XI. 1963

Вернувшись с заседания Московского отделения СП, Е. Дорош с возмущением рассказал, как провалили выдвижение кандидатуры Солженицына на Ленинскую премию. Ну что ж, достаточно и того, что он будет выдвинут от нашего журнала.

В Союзе же писателей либеральные интеллигенты — в том числе Ник. Чуковский (сын) — отводили кандидатуру Солженицына под разными предлогами. Когда Караганов напомнил, что Хрущев очень высоко оценил эту повесть, Тевекелян громогласно сказал: «Ну, это личное мнение Никиты Сергеевича вовсе для нас в данном случае не обязательное».

В то же время В. А. Смирнов распускает слухи, что Твардовскому и Кондратовичу «выражено недоверие» за публикацию читательских писем о рассказе Солженицына. Вот оружие этой «черной сотни» — клевета, распространение панических слухов, запугивание интеллигентов и чиновников, у которых и без того поджилки дрожат.

22. XI. 1963

Твардовский пригласил к себе в гости нас с Маршаком — на Котельническую набережную. Говорили, сидя в кабинете Александра Трифоновича, о разном. Трифонович рассказывал о записках доктора Белоголового, которыми он сейчас зачитывается *. Потом дружно ругали стихи Д. в «Октябре» — дикие, малограмотные, странные.

Засиделись допоздна. Самуил Яковлевич «декламировал» свои переводы из Блейка (которые А. Т. отверг) и статью.

Говорили о несчастье вашем, о лжи, вычитывал Александр Трифонович на этот счет нечто из «Театрального разъезда» Гоголя, а я напомнил рассуждение Слепцова, недавно мною проштудированного.

Твардовский сказал, что на предстоящем Пленуме, помимо химизации в сельском хозяйстве, по-видимому, опять будут говорить о злодеяниях Сталина: «Две темы — химия и мумия».

С досадой говорил о своих депутатских приемах, о чувстве полной беспомощности в эти дни. Большинство просителей по жилищным вопросам. «Одному недовольному я ответил: „А зачем вы меня выбирали?“ „А мы вас не выбирали, вас прислали“,— возражает резонно он. А я ему: „А вы думаете, я к вам просился?“»

Пили чай за круглым столом, когда вбежала в комнату Оля: «Покушение на Кеннеди! По телевизору только что передали». И через пять минут: «Скончался...»

Стало тяжко, не по себе. Все пошли к телевизору. Там, с нашей обычной тактичностью, даже не сменили программы: на экране кривлялись какие-то певицы, выступавшие на конкурсе эстрадной песни.

Недобрые предчувствия — будто война придвинулась. «Как часы пробили»,— сказал Маршак. Ольга и Мария Илларионовна плакали, Александр Трифонович отошел к темному окну, будто хотел что-то разглядеть на улице. Но там привычно бежали автомобили, полз автобус по мосту.

---

* Белоголовый Н. А.— врач, лечивший Некрасова и Тургенева, автор книги «Воспоминаний».

Маршак сразу сгорбился, голову опустил вниз. «Оленька, ты еще много хорошего увидишь»,— сказал он плакавшей Ольге.

Александр Трифонович уткнулся в газету. Вспоминали, что ведь еще год назад он должен был встречаться с Кеннеди.

Вызвали машину для Маршака, и около 12 часов ночи я проводил старика до дому.

27. XI. 1963

Александр Трифонович уехал на месяц в Барвиху. С А. Г. Дементьевым я ездил к Маршаку. Он читал свое предисловие к английскому изданию «Теркина...», о котором хлопочет Чарльз Сноу.

Маршак вспоминал гонения на него в 30-е годы. Рассказывал о Голубевой, за которую он фактически написал книгу о детстве Кирова — «Мальчик из Уржума». Потом, в 37-м году, та же Голубева кляла его на писательском собрании, утверждая, что он искусственно задерживает написанную ею книгу о Кирове.

Еще раньше от такой же травли, году в 30-м, он спасался поездкой в Сибирь. Видел в деревне жестокие вещи — там шла сплошная коллективизация.

Выручил его Горький. Возвращаясь из Сибири поездом, он увидел в руках инженера — соседа по купе — газету и в ней статью Горького «Нельзя травить талантливых Маршаков» (почему-то во множественном числе).

30. XI. 1963

Поставил точку в статье о Солженицыне. Прочел ее дома своим и отдал Сацу.

1. XII. 1963

Был у Саца. Я так боялся в душе его суда, а все сошло хорошо, он приметил одно лишь ненужное слово.

Десять лет прошло с тех пор, как я принес Игорю Александровичу первую свою беспомощную рецензию, которую переделывал потом раза два. Она могла появиться в журнале лишь благодаря его широкому великодушию. Эти десять лет прошли не впустую. Кажется, я только-только начинаю кое-что понимать в деле, к которому приставлен.

2. XII. 1963

Звонил Александр Трифонович из Барвихи — говорил о статье. Он пишет мне письмо.

В разговоре с Сацем по поводу названия («Иван Денисович, его друзья и недруги») я сказал, что все в нашей жизни сейчас заметно поляризуется.

«Да, это ясно,— отвечал Сац.— Меня другое интересует. Как в фельетоне Тэффи говорилось: „Ке фэр? Фэр-то ке?“»

О книге Роже Гароди «Реализм без берегов» Сац высказался очень резко как о модернистской пошлости. «Повар спрашивает: „Вам пережаренные котлеты или недожаренные?“ Я не хочу выби-

рать из этих возможностей: „Дайте просто котлеты". Ни казенный соц. реализм, ни реализм без берегов мне не нужны».

Письмо А. Т. Твардовского из Барвихи 2. XII. 1963

«Дорогой Владимир Яковлевич!

Статья так хороша, существенна, исполнена достоинства и убежденности, что, пожалуй, и говорить бы не о чем. То, о чем я хочу сказать, происходит как раз, может быть, оттого, чем именно хороша статья: в ней идет настолько серьезный разговор, она касается таких значительных и важнейших политических, этических и эстетических мотивов в связи с „Ив. Денисовичем", что в ней не нашлось места для специального раздела о „художественных средствах выражения", какими Солженицын действует. Но этот ясно только для умных и добрых людей. А имея в виду и других людей, не мешало бы, м. б., подчеркнуть, что вот, мол, такой выразительности и полноты содержания Солженицын достигает не в силу пренебрежения формой, а как раз по причине ее крепчайшего органического слияния и взаимопроникновения с содержанием. Можно бы подчеркнуть, что в повести нет ни одного готового, взятого напрокат слова — они все как бы впервые на свет рождаются, они всякий раз необходимы и в данном случае незаменимы. Далее: Солженицыну чужда тенденция щегольнуть „художественностью", красивостью облюбованного фразеологического оборота — это было бы кощунственно в применении к его материалу и т. д. Сказать еще о ритмической целостности, музыкальности рассказа, о внезапном выходе из стиля Ив. Ден-ча, когда вдруг речь идет о Буйновском; о том, как смело автор дает в точном воспроизведении „интеллигентные" разговоры в присутствии Ив. Ден-ча, который наверняка не слышит, не фиксирует их, хотя все повествование дается лишь через его пять внешних чувств (очень обостренно!) и только через его сознание.

Впрочем, все это у вас даже и есть, только уж так сдержанно, без малейшего сползания к пошлому в своей отдельности „анализу формы". Да, может быть, в отношении этой вещи тоже кощунственным был бы этот „анализ формы". Словом, говорю вам обо всем этом без уверенности в том, что вы так-то и должны доработать статью. Но, может быть, следует смело и решительно оговориться, что мы, мол, не станем заниматься этаким „анализом" отдельно, что нас больше занимает цельное, существенное.

Но вот что, пожалуй, я считал бы необходимым внести в немногих строках в текст статьи. Там, где речь идет о том, где автор был в тот зимний день, когда Ив. Ден-ч выходил с колонной на работу,— там это все хорошо насчет морозца, Кремля и студенческих милых забот,— но тут же нужно сказать, где была в этот день страна, что сообщали газеты, радио и т. д. Это сделает картину „дня" Ив. Ден-ча еще разительнее, противоестественнее, невозможнее. Загляните мельком в газеты того времени — что-то строилось, затевалось, выполнялось, восстанавливалось, а в это время...

Необходимо еще разыскать из печати хоть полуфразу из того, что говорил о повести Н. С., хотя бы по газетному изложению (помните, о „человеческом в нечеловеческих условиях", о партийных позициях автора). Das ist sehr wichtig *. В крайнем случае снимите мою фамилию в ваших

* Это очень важно *(нем.)*.

двух случаях (вообще — не более одного) и цитатните из моего интервью («Я никогда не забуду» и т. д.).

Кажется, у Сергованцева же было нечто вроде противопоставления „активной" позиции шолоховского Соколова „пассивности" Ив. Д-ча? Я все ждал, что вы и этот гвоздь вобьете в гробовую крышку над статьей „Октября".

Еще я, может быть, поймаю вас по телефону. А покамест всего вам доброго, мой юный, мудрый и благородный соредактор и друг.

Обнимаю вас

А. Твардовский.

P. S. Я почти ничего не подчеркивал из мелочей письма, не хотелось, да и рукопись еще вами не вычитана.

А. Т.».

4. XII. 1963

Неразбериха с № 12. Поликарпов за отсутствием Твардовского звонил Кондратовичу. Требует снять стихи Евтушенко и рассказ Гроссмана. Аргументов никаких, просто «перебор имен».

Вечером я был в ЦДЛ на собрании секции критики. Потом ужинали небольшой компанией — В. Войнович, И. Крамов, Ф. Светов и я. Вышли на улицу, и в двух шагах от подъезда вижу — какой-то высокий парень в скособочившейся шляпе бьет пожилого человека. Оба, похоже, пьяные. Я подошел, хотел остановить. Парень повернулся ко мне и, нагло глядя в упор, стал выкрикивать: «А, это ты, Лакшин! Я знаю, ты обо мне написал, но мы с тобой еще посчитаемся...» Тут же подошли Светов, Войнович. Он еще некоторое время, отстав от старика, шел за нами, грозился, махал руками, пока не получил оплеуху. Ему явно хотелось скандала, хотелось вступить в драку. Неужели это кто-то из задетых мною критиков — оппонентов Солженицына? Но кто?

И откуда ему известно о статье? Она была в руках у считанных лиц...

12. XII. 1963

В. С. Лебедев звонил Твардовскому в Барвиху и сообщил, что Никита Сергеевич часто вспоминает его, просил передать привет, снова тепло отзывался о поэме.

«Все это хорошо,— отвечал Александр Трифонович.— Но ведь темные духи веют, не успокоились, и статейки ядовитые Кочетов печатает».

«А чего бы вы хотели? — возразил Лебедев.— Разве может быть сейчас иначе?»

Что значит это «сейчас» в устах помощника главы государства? И как это понимать — чего тут больше, лицемерия или беспомощности?

Сегодня вышла «Литгазета» с редакционной статьей «Пафос утверждения, острота споров», где есть попытка поставить под сомнение нашу публикацию писем о рассказе Солженицына.

Из статьи «Пафос утверждения, острота споров»
(«Литературная газета», 12 декабря 1963 г.)

«В обозреваемых нами журналах „сошлось“ сразу несколько материалов, посвященных произведениям А. Солженицына. О них говорится в упомянутой статье А. Овчаренко. Журнал „Подъем“ (№ 5) опубликовал статью В. Бушина „Герой — жизнь — правда“, в которой рассматриваются как сильные, так и слабые стороны творчества писателя. Критик, решительно споря с концепцией „праведничества“, проявившейся в рассказе „Матренин двор“, ратует за подлинных героев, героев-борцов, не склонных смиряться с несправедливостью и злом. „Без них-то и не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша“.

Между прочим, не так давно на страницах печати (в том числе и в „Литературной газете“) произошел обмен мнениями по поводу последнего рассказа А. Солженицына „Для пользы дела“.

Редакция „Нового мира“ также сказала свое слово в этой полемике, опубликовав в очередной книжке (мы имеем в виду десятый номер, недавно поступивший к читателям и потому не вошедший в наш октябрьский обзор) три читательских выступления, посвященных рассказу.

Думается, нет особой нужды обстоятельно повторять то, что уже было сказано редакцией „Литературной газеты“ (№ 126) и об обличительном пафосе рассказа, направленном против бюрократизма и чиновничества, пафосе, заслуживающем поддержки, и о серьезных недостатках произведения — они были подробно рассмотрены в статье Ю. Барабаша («Литературная газета», № 105) и в письме Н. Селиверстова (№ 126).

Хотелось бы только подчеркнуть, что редакция „Литературной газеты“, как известно, предоставила возможность для высказывания на своих страницах различных мнений о рассказе А. Солженицына, считая естественным долгом выразить в заключение и свою собственную точку зрения. Очевидно, редакции „Нового мира“ такой способ обсуждения представляется излишне демократическим. Опубликованные ею письма безоговорочно хвалят рассказ и единодушно обрушиваются на автора критической статьи в „Литературной газете“.

Разумеется, возможности журнала захвалить напечатанное в нем произведение поистине безграничны. Но надо ли говорить, что достигается это, как правило, дорогой ценой — ценой утраты чувства объективности, чувства меры.

У нас нет никаких оснований сомневаться в искренности авторов опубликованных „Новым миром“ писем-статей. Странно лишь, что, отбирая письма, редакция не сочла возможным не только опубликовать, но даже упомянуть о наличии и таких читательских отзывов, в которых содержатся критические высказывания в адрес рассказа. Трудно предположить (и почта «Литературной газеты» подтверждает это), что в редакцию „Нового мира“ пришли только письма, превозносящие рассказ...

В этой связи хочется сказать следующее. Любая редакция ответственна не только перед читателем — она несет моральную ответственность и перед писателем, произведения которого публикует. Святой долг редакции — помогать писателю, обращать внимание на его слабости, способствуя их преодолению. Подытоживая разговор о выступлении „Нового мира“ по поводу рассказа А. Солженицына, стоит напомнить, что истинное уважение

к писателю исключает всякую снисходительность к его творческим слабостям и ошибкам».

Барабаш, конечно, не может успокоиться, и газета набрасывает тень на нашу объективность. Но в том-то и дело, что, за исключением одной скабрезной открытки, «отрицательных» отзывов у нас нет.

Кажется, тут есть повод осрамить газету, и я набросал письмо в редакцию от «Нового мира». Надо бы принудить их напечатать.

Приезжали в редакцию венгры — редакторы трех журналов критики. Разговаривая с ними, я еще раз пытался сформулировать столько же для себя, сколько и для них позицию нашего журнала.

Взял три вопроса: 1) беспрепятственная правда; 2) высокое искусство (против кочетовского: «мастерство — дело наживное») и 3) демократизм и культура.

Рукопись статьи о Солженицыне горячо обсуждается в кабинетах редакции. Главные упреки — не обидел ли я «придурков» и Цезаря Марковича как выразителя настроений интеллигенции. Выслушивал нарекания в этом смысле.

16.XII.1963

С Кондратовичем ездили в Барвиху к Твардовскому. Везли Александру Трифоновичу приятную весть: по сведениям издательства, тираж журнала поднялся на 25—30%. В связи с этим возникла мысль: не снизить ли копеек на 10 цену?

Александр Трифонович одобрил письмо в «Литгазету» и написал сопроводительную записку Чаковскому: «Прошу уведомить, в каком номере письмо будет напечатано».

Говорили о последних наших номерах. Александр Трифонович поругивал Паустовского за «литературность», приблизительность даже и в языке. Нашел где-то у него фразу, что «мастера-умельцы на севере ставят сруб без единого гвоздя». «А когда срубы ставились с помощью гвоздей? Такого же не бывает!» — возмущался Александр Трифонович.

Хвалил рассказ И. Грековой — за талант, естественность.

Мы привезли ему список материалов, снятых и задержанных цензурой за год. Лишь один-два номера благополучных. Из снятого и отложенного можно соорудить три книжки журнала, да еще каких!

Я возмущался, а Александр Трифонович поразил меня на этот раз своей выдержкой, мудрым спокойствием.

«Надо отдавать себе отчет в том,— сказал он,— что нам и впредь еще будет трудно... Какой тяжелый год мы прожили! Но надо, не поддаваясь эмоциям, возмущению, брать метр за метром, уступчик за уступчиком...»

Говорили о Пленуме. Твардовский два места отметил в речи Хрущева:

1) о «материальной заинтересованности» руководителей. Надоде выделить на это специальные фонды. «То есть тетка Матрена,—

комментировал Александр Трифонович,— должна из-под своей курочки яичко взять и председателю яишенку сготовить»;

2) указано, что прежде в центре внимания была одна проблема — заготовок. Теперь же три равно важных проблемы: заготовок, корма скоту и семенного фонда. Так что все предусмотрено, а вот проблемы, чем кормить крестьянский люд, серую рабочую скотинку в колхозах,— пока не объявлено.

Все заметили, что Н. С. стал заговариваться, дважды, в начале и конце речи, повторил одно и то же: «Мы подумали, чего скрывать от народа то доброе, что мы хотим ему пообещать...»

Твардовский намерен статью М. А. Лифшица («В мире эстетики») поставить в 1-й номер. Он просил кое-что в ней повычеркивать, но осторожно, так как «Лифшиц — человек хрупкий». Мне тоже статья нравится, хоть и послабее той, давней, о Мариэтте Шагинян. Здесь и предмет помельче (эстетики — Разумный и др.), и грубоватых, лобовых приемов полемики побольше, юмор же — желчный, раздраженный.

У нас с Кондратовичем осталось впечатление, что Александр Трифонович наконец-то врезался в какую-то свою авторскую работу. Он сосредоточен на своих мыслях, покоен и как бы отстранен от журнальной суеты. «Не хочу сейчас спешить в Москву, у меня тут кое-что затевается...» — проронил он на прощанье.

Лебедев звонил Твардовскому и просил отложить стихи Евтушенко — тот якобы снова чем-то «отличился».

17.XII.1963

С Кондратовичем были у К. А. Федина в Лаврушенском. Воспоминание об этом нашем «странном члене редколлегии», как называет его иногда Твардовский, всплывает у нас по случаям особым и редкостным. Сам он в этом качестве проявляет себя мало — регулярно получает для чтения верстки и лишь изредка присылает записку с какими-нибудь ничтожными корректорскими поправками, пропустили запятую или лишнюю поставили, но никогда не высказывается (на всякий случай!) по существу. Его надо «приводить к присяге». В данном случае необходимо было, по совету Твардовского, согласовать текст нашего обращения в «Литгазету» о читательской почте в связи с Солженицыным.

Константин Александрович прочитал письмо, собственноручно поставил одну пропавшую при перепечатке кавычку и отпустил нас с миром.

Пока мы сидели у него в кабинете, с картинами по стенам и всяким антиквариатом, он расспрашивал о Солженицыне. Я попытался объяснить ему, что наше обращение в газету существенно, поскольку мошенничество вокруг читательских писем становится дурным обыкновением: не стесняются самой грубой фальсификации.

«„Институт читательского мнения“ в „Литературной газете“, мне тоже показалось, ведется сомнительно»,— солидно подтвердил Федин.

Сегодня на сессии Верховного Совета Федин виделся с Демичевым, и тот сказал ему, что Евтушенко снова «скверно ведет себя». Что значат эти недомолвки?

Федин произвел на меня впечатление общипанного орла. Позировал перед нами с трубкой, а видно было, что всего боится.

18.XII.1963

Отослали в «Литгазету» письмо. Я говорил по телефону с А. С. Тертеряном и просил скорого ответа. Чаковский в отпуске, и должны решать без него.

Вечером тяжелый разговор с Мих. А. Лифшицем. Он считал, что был со мной, как с редактором, ангельски кроток и терпелив, а на деле уступил самую малость. Он высокомерен и желчен, зато умен и талантлив, как немногие. Ему долго не давали печататься, и оттого он стал немного увядшим, даже провинциальным. Я думаю, если бы ему удалось высказать свои идеи, которые все группируются вокруг проблемы «коммунизм и нравственность», проблемы целей и средств,— это в самом деле могло стать чем-то новым в философии. Но печатают его туго, это угнетает его, идеи сжаты в нем, как пар в котле под колоссальным давлением, и перегорают или прорываются во все щели с шипением и свистом — как по поводу этого ничтожного Р. Не о нем бы писать Лифшицу!

23.XII.1963

Сегодня в редакции шумно: вернулся из Барвихи Твардовский, приехал из-за границы А. Г. Дементьев.

Александр Трифонович, успокоенный, веселый, делился своими барвихинскими впечатлениями. Андрей Свердлов, набивавшийся к нему в компанию сын Я. Свердлова,— неприятный, нечистоплотный тип. Обо всех все знает и, едва упомянут чье-либо имя, выпаливает что-то дурное. «Тухачевский? Ну, известный наркоман...» — и все в этом роде.

Случился у него разговор с Александром Трифоновичем о Крониде Малахове. Твардовский не раз говорил, что это был близкий ему человек в 30-е годы, сыгравший важную роль в его судьбе. Когда «Страна Муравия» была запрещена и за нее давали 8 лет, как за чтение кулацкой поэмы, К. Малахов прочел ее по заданию А. С. Щербакова, и тот по его отзыву разрешил поэму печатать. Так вот этот Кронид Малахов был арестован в 38-м или 39-м году и допрашивал его Андрей Свердлов, работавший следователем НКВД.

«Он был в группе, которая готовилась убить Сталина, но зачем-то запирался, хотя был изобличен»,— сказал, как само собой разумеющееся, А. Свердлов. Разговор этот был в лесу, они шли с Твардовским жечь костер — Твардовский остановился и сказал: «Зачем вы лжете? Ведь вы неправду сказали». Тот сознался, что врал. Второй такой же случай касался Е. Драбкиной, печатавшейся

у нас, в юности — секретаря Свердлова. Андрей Свердлов был, по выражению Александра Трифоновича, в детстве «дитя кремлевского подворья». Курил под Царь-колоколом уворованные у Ягоды папиросы и т. п. Лиза Драбкина была его доброй знакомой. И она же попала к нему на допрос на Лубянке. Он совестил ее, что она не сознается, что была в троцкистской оппозиции («Была же?»). «Но мы расстались друзьями»,— говорил А. Свердлов. «Правда, она на 17 лет отправилась в лагеря, а он пошел в свой кабинет»,— подытожил Трифоныч.

(Интересно, что накануне у меня была Кира Головко и рассказывала о встречах в Барвихе со слов Свердлова: «Странный человек этот Твардовский. Симпатичный, костры любил со мной жечь, но странный!»)

В Барвихе Твардовского поражал полный индифферентизм окружающих ко всем серьезным вопросам. Даже Пленумом никто не интересовался. За столом соседом Александра Трифоновича оказался бывший министр здравоохранения Митирев, этакое «дитя природы» с розовыми щечками: уплетал лососину и о ней лишь способен был думать. Александр Трифонович пытался расспросить его о впечатлении от доклада Хрущева. «Еще не дочитал...» И вечером — снова: «Нет, не дочитал еще...»

Наблюдал Твардовский в Барвихе и А. Н. Поскребышева — когда-то заведующего Секретариатом и верного постельничего Сталина. Как-то Александр Трифонович подошел к нему на прогулке и завел разговор о том, что надо бы ему писать воспоминания, просто грешно не писать. «Ведь если вы не напишете — за вас никто не напишет. Пишите хоть вовсе без расчета на публикацию, страницу-полторы в день». Старик был рад, растроган даже, видно, с ним боятся об этом заговаривать. Ответил, что писать ему, конечно, очень трудно. «Читаю вот воспоминания маршалов и генералов, где рассказывается об их встречах со Сталиным,— и мне смешно. Разве так было? Я же часто единственный свидетель этих встреч». «Писать всю правду очень трудно,— повторил Поскребышев,— хотя, поверьте, я столько от него натерпелся, сколько никто другой, быть может».

Вечером 23.XII мы с Александром Трифоновичем поехали к Маршаку.

С. Я. «пропел» нам свое предисловие к английскому изданию «Теркина». Потом ужинали, разговаривали.

Маршак рассказал со слов своего сына Элика, инженера. Он знает директора «почтового ящика», прототип Хабалыгина у Солженицына; так этот «персонаж» оправдывался у зам. министра: «Солженицын все обо мне выдумал, вовсе я не такой, и бородавки у меня нет».

Посидели у Маршака и пошли пешком от его дома по ул. Чкалова. Я проводил Александра Трифоновича до Котельнической — переулками и по бульварам; было легко и хорошо идти под слабым снежком.

Александр Трифонович говорил сегодня, что — странным образом,— но он чувствует, при всей своей преданности коммунистическим идеям, что за искусством надо признать право автономии — как за областью выражения общественного мнения, народного контроля, что ли... хотя бы.

25.XII.1963

Бездарный беллетрист Кочнев принес в редакцию роман — пухлый кирпич верстки; уже пристроил свое детище в какое-то захудалое издательство и хотел предварительно осчастливить им журнал.

Твардовский устроил ему показательный разбор первой страницы. Шел фраза за фразой и открывал всю нелепицу, малограмотность этой «прозы». Кочнев заявил, что по первой странице судить нельзя, поскольку там все с точки зрения отрицательного героя, и, конечно, соврал. «Зачем же начинать роман с точки зрения отрицательного героя? — вопросил Твардовский.— Может быть, он хоть кончается иначе?» И предложил разобрать таким же образом последнюю страницу.

Тут уж Кочнев счел за лучшее удалиться с версткою под мышкой.

Ю. Бондарев звонил мне сегодня, что его фильм («Тишину») разрешили. Министр Романов «плакал», а, как известно, эти люди плачут лишь с дозволения начальства.

26.XII. 1963

Напечатано редакционное письмо. Читатели приняли наши объяснения с восторгом — звонили в редакцию, благодарили, что мы осадили «Литгазету». Оказывается, никакими демагогическими «примечаниями» обмануть публику уже нельзя.

Из письма в редакцию «Литературной газеты»
(26 декабря 1963 г.)

«...Редакции журнала, по существу, предъявлено обвинение в фальсификации мнения читателей. Это вынуждает нас дать справку о почте журнала, посвященной рассказу А. Солженицына.

В связи с рассказом „Для пользы дела“ редакция „Нового мира“ получила всего 58 писем. Многие из них представляют собой, по существу, большие статьи в десять и двадцать машинописных страниц, с подробной и основательной аргументацией. Авторы 55 писем, три из которых опубликованы нами, решительно поддерживают рассказ Солженицына и полемизируют с его критиками.

Только в одном из 58 писем (Н. Л. Марченко, станция Удельная Московской обл.) высказывается отрицательное отношение к рассказу Солженицына. Впрочем, в этом письме ни слова не говорится о самом содержании рассказа, его теме, его героях. Очевидно, для автора это лишь повод высказаться против творчества Солженицына в целом. Н. Л. Марченко считает вредным делом публикацию произведений этого писателя вообще.

Мы не считаем возможным цитировать это письмо потому, что оно написано в недопустимо оскорбительном по отношению к советскому писателю тоне, но в любой момент готовы предоставить его для сведения редакции „Литературной газеты“.

Мы признаем справедливым требование „Литературной газеты“ объективно анализировать читательскую почту, давать представление о различных мнениях читателей, указывая хотя бы на количество писем, поддерживающих ту или иную точку зрения. „Новый мир“ предполагает учесть это при будущих публикациях материалов „Трибуны читателя“. Хотелось бы, чтобы и сама „Литературная газета“ следовала этому правилу.

Редакция журнала
„Новый мир“».

Цензор Голованов взял под особый присмотр мою статью о Солженицыне, сданную для № 1. Уже спрашивал у Кондратовича: «А кто это „недруги“ Ивана Денисовича?»

Александр Трифонович агитирует меня писать следующую статью — о читателе, где поговорить о всяких материях...

29.XII.1963

С утра зашел за мной Сац. У него — А. Т., немного кислый. Вчера пропустил у Ильичева заседание группы «создателей» нового текста гимна. «Пусть там Сурков с Михалковым заседают,— рассуждал Александр Трифонович,— а я в свое время ходил к Суслову, отговаривал от затеи новый гимн сочинять. К чему это? Сейчас, чтобы подчеркнуть единство партии и народа, как раз и вернуться бы к „Интернационалу“.

Двух гимнов у страны не должно быть».

Твардовский, пока ждал нас, исчеркал карандашом газету. «Что пишут, что пишут! „Доказывал о том, что...“ Это же невозможно!.. Или — „маяки“. Умершее уже слово. Я было хотел напасть на него в речи о Пушкине — к счастью, воздержался. Но какая нелепость, послушайте: „В таком-то районе — свыше двадцати маяков...“ Получается какое-то побережье!»

Говорили о моей статье, о статье Лифшица. Александр Трифонович заметил: «Я будто въявь вижу, как после публикации иду по коридору объясняться. Заходишь в комнату, и уже секретарша так глядит на тебя, что внутри все каменеет. И в знакомый кабинет ты входишь со словами: „Как справедливо нам прежде уже указывали...“, вместо того чтобы закричать во все горло: „Да это же неразумно!..“»

«Иногда вообще думаешь: „Бог весть, как судьба повернется, и тогда хорошо знать, что окажешься в узилище, а Сац не подведет — пачку сигарет всегда передаст“».

В разговоре с Поликарповым выяснилось, в чем грех Евтушенко. Оказывается, он поехал на прием в американское посольство и оставался там до двух часов ночи. Твардовский пытался объяснить Поликарпову, что это соображения внелитературные и, пожа-

луй, не политические, просто загулял с девицами или подпил лишнего. Не печатая же его, мы как бы набиваем ему цену.

Поликарпов этого рассуждения не принял и спросил, чтобы поставить Твардовского на место:

— Что-то я на заседаниях Пленума тебя не видел.

— Но ведь я уговорился не ездить из Барвихи, кроме первого и заключительного, так и главврач советовал... Да это, кажется, от тебя же исходит.

— От меня ничего не исходит,— пробурчал Поликарпов.

— Разве что скверный дух,— не удержался Александр Трифонович.

Его так и подмывает на дерзкие шутки.

Твардовский говорил, что его потрясло одно полученное на днях письмо. В нем говорится, что некоторое время назад в Воронеже закрыли молельный дом баптистов — теперь их там едва ли не 20. Отнимали детей у баптисток, даже грудного у женщины отняли. Отбирали Библии у верующих. Но религия только укрепляется гонениями.

Александр Трифонович написал по этому поводу большое письмо Аджубею, предлагая свое перо, чтобы газете выступить об этом. «Но похоже, что мое перо не понадобилось». Рассказывал и о секте «молчальников», которых выслали за молчание!

Письмо А. И. Солженицына 29.XII.1963

«Дорогой Владимир Яковлевич!

А я пользуюсь случаем — поздравить Вас с Новым годом! пожелать Вам здоровья, бодрого духа и успехов в Вашей личной, литературной и в редакционной работе!

(И давайте, в частности, пожелаем друг другу, чтобы в 1964-м булгаковский роман — пока хотя бы этот! — увидел свет.)

Никакого недоразумения с бластофагом не произошло, я дал адрес Вашего московского приятеля своему подопечному. Если тот не написал — то значит...

Я работаю крепенько, а что получится — побачим.

Крепко жму руку!

Искренне к Вам расположенный

А. Солженицын».

1964

29.XII.1963. Подписан к печати № 1 «Нового мира» за 1964 г. В номере:

А. Кузнецов. У себя дома. Повесть.

Л. Волынский. Двадцать два года.

Публикация из наследия И. С. Шмелева.

Стихи С. Маршака, С. Щипачева, М. Рыльского.

Статья Ю. Черниченко «Целинная дорога».

Статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги». Рецензии Л. Лебедевой, Ф. Светова, В. Солоухина, А. Синявского и др.

ПОПУТНОЕ

Фактически номер вышел лишь в конце января. Дата 29.XII.63, по-видимому, была дана не по последнему, а по первому подписанному в печать листу. Цензура и дальше делала так, в согласии со специальным указанием, чтобы дезориентировать тех читателей, у нас и на Западе, которые внимательно следили за сроками выхода журнала.

2.I.1964

После работы собрались отметить Новый год — Александр Трифонович, Дементьев, Кондратович, Герасимов и я. Сидели в ресторане «Будапешт», наверху.

Поднимая первый тост, Твардовский говорил: «Легкой жизни и впредь я вам не обещаю. Мы же сами хотели этого, сами печатали повесть Солженицына».

Он говорил об общей невнятице в идеологии и политике. «Когда я в книге теряю нить, что-то не понимаю, как я поступаю? Листаю назад страницы, возвращаюсь к началу. Так же надо бы и в общих вопросах: запутались — вернемся к началу».

Сегодня в редакции, просматривая новогоднюю почту, Александр Трифонович долго вертел поздравительную карточку от Союза писателей. Его возмущает безличность обращений, набранных типографским шрифтом: «Дорогой друг!» «Интересно знать, кому это я друг, да еще „дорогой"?» «Желаем успехов в творчестве и счастья в личной жизни». «То есть они убеждены, что мое творчество — это не моя личная жизнь».

4.I.1964

Меня послали от «Нового мира» на пресс-конференцию у А. В. Романова, возглавляющего Министерство кинематографии. Было смешно видеть, как он, надувая розовые щеки, расхваливал «Тишину». А перед этим, недели за две, ни слова не сказав, ушел с просмотра и полмесяца глухо молчал. Потом вдруг, как рассказал Ю. Бондарев, позвонил ему, поздравил и сказал, что «плакал», когда смотрел картину. Хороши эти слезы по разрешению. Просто стало известно, что Хрущев смотрел «Тишину» и высказался так: «Есть люди, которым не нравится борьба с культом личности, и они борются с литературой, которая борется с культом личности».

Беда в том, что такие вот хорошие слова Н. С. гасятся, уходят, как в вату. Другие же его слова, с противоположным смыслом, усиливаются стократно.

6.I.1964

Бондарев принес новый роман — «Двое». Беллетристика чуть повышенного уровня, «наш советский Ремарк».

7.I.1964

Я все еще вожусь со статьей М. А. Лифшица. Члены редколлегии передали мне свои поправки по верстке, я свел их и попытался столковаться с Мих. Ал. Он сопротивлялся каждой поправке и лишь в редких случаях уступал, приговаривая: «Только для вас... Это только для вас».

Занозист и труден М. А.!

ПОПУТНОЕ

Михаил Александрович Лифшиц поразил меня в свое время ошеломляющей эрудицией и остроумием в статье 1954 г. о «Дневнике писателя» Мариэтты Шагинян. Потом он — менее успешно — сражался с «югославским ревизионизмом», «философией жизни» И. Видмара. Но и там были выдающиеся страницы (анализ сцены охоты в «Войне и мире»).

К М. А. я привык относиться с высочайшим пиететом, поскольку дружбой с ним всегда дорожил и гордился Сац, да и для Александра Трифоновича авторитет Лифшица был очень высок. Когда-то, как молодой марксист, он появился в плеяде блестящих юношей, окружавших Луначарского, и издал хрестоматию «Маркс и Энгельс об искусстве», составившую ему имя. Он имел сверкающий диалектический ум, огромную начитанность и памятливость, редкостное остроумие и подлинный дар полемиста. Все сгубила его верность догматике: при большом здравом смысле всегда рассуждал «от текста».

Объясняя мне как-то свою наклонность к полемическим сюжетам, М. А. сказал: «Вы заметили, что даже основные труды марксизма рождались как полемика: „К критике политэкономии“, „Анти-Дюринг“, „Материализм и эмпириокритицизм“. В полемике становится рельефней и позитивный взгляд».

С этим я не согласился, но понял его пристрастие и метод. В 1964 г. Лифшиц печатал в «Новом мире» статью «В мире эстетики», уничтожавшую приспособленцев в эстетике. Статья была хороша, но полемические перехлесты и «личности» смущали Твардовского.

Ко мне Лифшиц относился по-разному в разные времена, но по преимуществу с ревнивой настороженностью. Его задевало, что я, «мальчишка», редактирую его статьи и что к моему мнению прислушивается Твардовский.

Раз мы шли с Александром Трифоновичем из театра Сатиры по ул. Горького в редакцию и встретили Лифшица. Остановились на минутку поболтать, чувствовалась натянутость; Лифшиц скоро простился с нами, но я помню его взгляд на меня: так смотрят ревнующие женщины.

Македонов уверял меня как-то, что Александру Трифоновичу

всегда нужны были дружбы не просто ради пьянки-гулянки, а с каким-то полноценным взаимным общением. «В молодые годы в Смоленске таким человеком был для него я, перед войной и в военные годы Маршак и Лифшиц...» — говорил Македонов. Если это в какой-то мере справедливо, Лифшиц мог досадовать, видя, что его влияние ушло.

Однако статьи Лифшица принимались в «Новом мире» всегда с почтением, порой и с восторгом, и не наша вина, что некоторые из них так и не были напечатаны. Есенин говорил о себе: «Я последний поэт деревни...» Так вот Лифшиц был едва ли не из последних искренних марксистов в городе.

10.I.1964

Приехал Федор Абрамов. Вместе с Дементьевым и Заксом водили его в ЦДЛ. Он привез рассказы, которые печатать будет трудно. Александр Трифонович, усмехаясь добродушно, говорит о нем: «самосожженец». Абрамов за столом хвалил нашу критику.

11.I.1964

Утром я был у Твардовского на Котельнической набережной. Возились со статьей Лифшица, которая идет во 2-й номер. Делали последние вымарки уже ради «нашего Никитенки», как объяснил Александр Трифонович Лифшицу по телефону. (Дементьев очень боялся этой статьи, но боялся и объясняться с Лифшицем, так что держался в стороне, лишь «по-дружески» пугая Александра Трифоновича.)

Твардовский жаловался, что некогда и негде ему работать. Идет речь о покупке новой дачи. Ему жалко оставлять Внуково, где все обихожено, возделано его руками, но и жить там невозможно: тесновато, нет воды и т. п.

Я говорил с ним о статье, посвященной Шевченко,— к юбилею. Он прежде соглашался ее написать, а теперь ответил отказом. «Это великий талант, но не как Пушкин. Он не создал устойчивой литературной традиции, от него ничего не пошло. Поэтому трудно говорить о нем».

Александр Трифонович его любил и переводил «Гайдамаков», но сейчас считает, что переводить украинские стихи на русский — нелепица, вроде даже кощунство. Они и так понятны всякому образованному русскому, а переложение «только губит их музыку».

К середине дня приехали в редакцию, и там Твардовский долго разговаривал в кабинетике у Закса — сначала с И. Меттером, чей рассказ хотел было зарезать Дементьев, да мы воспротивились, а потом с Ф. Абрамовым. Но я был занят отправкой в набор статьи Лифшица и в этих обсуждениях не участвовал.

12.I.1964

Статью о Солженицыне несколько дней держали в цензуре, не подписывая. Голованов «советовался» выше, но итог благоприятный, сегодня, кажется, разрешили.

16.I.1964

Александр Трифонович получил тираж книжечки «Теркина на том свете» и сегодня в редакции раздаривал их кое-кому, и мне перепало.

Маршак в одну из последних встреч говорил: «Я сделал открытие. У нас нет диалектики. Ведь „диа“ — два голоса, два мнения, а у нас всегда одно».

Обсуждали с участием Твардовского роман Ю. Бондарева «Двое». Почти единодушно советовали переписать конец, слишком сусальный. Сомнительна и сцена во Внукове, и драка Константина на платформе с бандитами.

Александр Трифонович говорил, что находит очень реальным основной мотив в поведении героя — страх, и страх именно из-за трофейного револьвера. «Я сам не знал, как от него избавиться, и в конце концов зашвырнул куда-то».

Нельзя прятать револьвер в чужих дровах, рассуждал Твардовский, дровишки всегда врозь. Одно время герой держит револьвер в томе Брема, в котором вырезано специальное место для «вальтера». Но ведь потом надо подумать еще, куда девать этот том, он тоже улика.

Александр Трифонович был с Бондаревым мягче, терпимее, чем можно было ожидать. Предлагал ему исправления «по минимуму», опасаясь, что «максимума» он не сделает при всей своей работоспособности.

20.I.1964

Прочитал рукопись Д. Витковского «Полжизни», оставившую сильное впечатление, и написал отзыв для редколлегии. Твардовский еще прежде читал эту вещь, ему нравится. Он звонил автору и, хотя не обещал скоро напечатать, предложил заключить договор. В редакции, однако, по этому поводу раздоры. А. М. Марьямов неожиданно написал скверную рецензию, найдя в повести «эсеровский дух» и сравнив автора с Ивановым-Разумником. Я даже из-за этого с ним побранился.

Из отзыва о рукописи Д. Витковского

«Записки Д. Витковского заметно выделяются среди всех документальных рукописей, посвященных „лагерной“ теме, какие мне приходилось читать. Автор не собирается никого запугать пережитыми им ужасами, рассказ его сдержан, объективен, исполнен внутреннего достоинства и этим напоминает „Ивана Денисовича...“ при всех различиях в материале, задачах и таланте двух авторов. Но „Полжизни“ Витковского — не повторение в „документальном варианте“ повести Солженицына. Там описан один день, здесь — одна человеческая судьба. Там герой крестьянин, здесь — интеллигент, но с народным взглядом на вещи. (...) Вероятно, напечатать эту рукопись будет нелегко, но дело того стоит».

На этом моем отзыве Александр Трифонович написал: «Вполне согласен с рецензией.— А. Твардовский. 17.I.64».

ПОПУТНОЕ

Эту рукопись «Новый мир» так никогда и не напечатал. А автор, Дмитрий Петрович Витковский, убеждаясь все больше в малой вероятности появления своей вещи, тем не менее в течение многих лет захаживал к нам в редакцию. У него было больное сердце, он задыхался, поднимаясь на второй этаж, и все же приходил «подышать вашим воздухом». Он садился в глубокое кресло в углу моего кабинета и просил разрешения посидеть так, молча, сколько ему захочется, если он не помешает, конечно, нашей работе. Я, разумеется, оставлял его в кресле и, поговорив с ним, часто забывал о нем, звоня по телефону, правя верстки... Просидев так 2—3 часа, он поднимался, прощался и уходил до нового визита через полгода.

Множество раз приглашал он меня к себе в гости, но я так к нему и не выбрался. Он говорил, что его отрада — собираемые им альбомы по искусству. Д. П. знал несколько (едва ли не пять) европейских языков и зарабатывал тем, что делал рефераты технических работ, пришедших из-за границы, для Института информации. Все деньги уходили у него на покупку монографий по искусству.

После лагеря он женился на молодой женщине, преподававшей английский язык в университете, и у него росли сын и маленькая дочь. С деликатными извинениями он приносил мне и другие свои литературные опыты. Побывав в реанимации, попытался описать картину путешествия в смерть и обратного возвращения оттуда. Насколько помню, там были сильные страницы. Солженицын хорошо знал его рукопись, а в предисловии к «Архипелагу» я прочел, что редактором этого труда соглашался быть «старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский».

Умер Витковский во время отдыха с девятилетней дочкой на Рижском взморье. Он писал мне оттуда, что чувствует себя как-то особенно хорошо в это лето. Но то было перед концом. Умер он во сне, никто и не заметил. Дочка проснулась утром, зовет его с соседней постели: «Папа, папа!» — а тот уже недвижим. Когда-то в молодости, на Беломорканале, он был могучим, физически сильным. Я знал его совершенно разрушенным. Но какое в каждом его движении было достоинство, какая непоказная интеллигентность!

22.I.1964

Александр Трифонович уговаривал меня писать статью о письмах, какие мы в редакции получаем, об отношениях писателя и читателя. Это то, о чем я и сам думаю.

Твардовский был в раздраженном настроении сегодня и вопреки настояниям С. Г. Карагановой и моим уговорам забраковал стихи Тани Макаровой, дочки Алигер. Жаль, стихи были свежие, хоть и однозвучные.

После конца рабочего дня вдвоем с Александром Трифоновичем забрели в «Будапешт». Тут он рассказал, чего не говорил в редакции, что приехал из Рязани Солженицын и был у него в воскресенье. Встреча была очень хороша, и А. И. не смотрел даже на часы, что когда-то так обидело В. П. Некрасова. Солженицын говорил с полным пониманием о журнале, о его роли. Он вчерне закончил роман в 35 листов и еще, кажется, повесть кончает из времен революции. Звал Трифоныча в Рязань, чтобы там, в тишине, вдали от редакции и московского шума, он познакомился бы с романом. Я сказал, что понимаю это желание Солженицына, чтобы А. Т. читал прежде один и вне стен редакции. «Вы мне доверяете? — обрадовался он как-то по-детски.— Ведь если что будет скверно, не сомневайтесь, я ему сразу врублю».

Твардовский считает, что Солженицын получит Ленинскую премию, на которую его выдвинул журнал, несмотря ни на что. Снова говорил о записках Витковского — об их честности, о нежелании автора что-то выдумывать или потрясать страданиями. «В воспоминаниях заключенных — и наших, и немецких лагерей — так обычна липа. Автор говорит, как невыносимо они страдали, а потом вдруг сообщает, что конвойных подкупали плитками шоколада, пачками сигарет. Но ведь если режим суров, конвойные должны были просто отбирать шоколад. И потом: откуда он у изможденных голодом заключенных? Такой вот липы на найдешь у Витковского. Достойно, серьезно пишет».

27.I.1964

Вышел наконец сигнальный № 1 с моей статьей об «Иване Денисовиче».

Твардовский был сегодня в редакции злой, раздраженный. Вернулся от Ильичева, с совещания сочинителей нового текста гимна. Своих будущих соавторов он зовет «гимнюками» — это Бровка, Грибачев, С. Смирнов. Твардовский против воли тоже впряжен в эту колесницу, вынужден везти ее и страдает почти физически. «Всю ночь мучаюсь, сочиняю какие-то строчки, но ведь все нужно собрать из тех же 16 слов: „народ“, „вперед“ и т. п. Как что-нибудь твое, личное выскочит, сразу говорят: „Нет, знаете, это не гимнично“. Тут как-то смотрю, ненавистное мне слово „маяк“ в строку вскочило — схватился за голову, вычеркнул. Ведь это мука! Прибавьте еще к этому ревность других „гимнюков“, желание остаться в окончательном тексте хоть одной строчкой».

Я слушал, и так было жаль его, попавшего поневоле в этот мир призраков.

Сегодня обсуждали рукопись Ю. Домбровского «Хранитель древности». Роман этот понравился мне: неожиданное сочетание документально-этнографической дотошности и детективного сюжета. А главное, впечатляюще передана фантастическая атмосфера времени 37-го года: страхи, подозрения и уродливые фантомы на ярком среднеазиатском фоне.

Твардовский советовал автору пустить историю «змея» не-

сколько раньше, а в конце пусть он окажется не экзотическим удавом, каким-то колоссальным по размерам зоологическим чудом, а заурядной змейкой. Мне показалось, что философское содержание романа как-то теряется, бледнеет к концу. Не дать ли героям еще раз высказаться в диалогах, на какие автор такой маэстро, прежде развязки?

Домбровский произвел на всех хорошее впечатление. Он был когда-то музейным работником, потом долго сидел. Издан лишь один его роман: «Обезьяна приходит за своим черепом». Человек он, по первому взгляду, скромный, в пальто с оборванными пуговицами, серьезный, внимательный, с астеническим лицом в продольных морщинах и с нервной впечатлительностью, временами взрывающейся в нем.

«Расстрел красавицы у вас — хоженое поле»,— сказал еще Твардовский. Но он не прав, это нужно для мысли романа.

С «Хранителем...» у меня, да и у всех наших, связаны большие надежды. Вещь серьезная и во многих отношениях — новая.

29.I.1964

Обсуждение пьесы В. Розова «В день свадьбы». Марьямов, принесший ее в редакцию, восхищался. Я же остался к ней равнодушен. Все же решили печатать. Александр Трифонович сделал много дельных конкретных замечаний по тексту. Розов, немного актерствуя, рассказал, как он был сегодня, прежде чем идти к нам, в Министерстве культуры. Там чиновники, читавшие пьесу, запугивали его: все это так мрачно, так безысходно. Твардовский тут же заметил, что ему, напротив, пьеса показалась кое-где «розоватой», и извинился за невольный каламбур.

Александр Трифонович говорил еще сегодня, что прочитал рассказы Ф. Кафки в «Иностранной литературе» («Превращение» и «В исправительной колонии»). Он находит, что это «понятный гротеск, вроде гоголевского „Носа"». И когда чиновник представляется в виде перевернутого жука, шевелящего лапками,— это жутковато, но очень выразительно.

Твардовский с тоской говорил, что его запрягают в лермонтовский юбилей. «Что у них, других поэтов нету? Почему непременно меня? А я так думаю: вот я выступил на юбилее Пушкина — так это часть судьбы, часть биографии. Но нельзя же по каждому поводу возглавлять юбилейные комитеты и говорить речи о всех подряд классиках».

Вечером поехали на Пушечную улицу, выступать в Доме учителя. Кроме нас, редакторов, были: Бондарев, Дорош, Войнович и Солженицын. Твардовский хорошо, дружелюбно и непринужденно вел вечер. Говорил о журнале: Запад не знает такого типа издания — без картинок, толстый журнал, одновременно художественный и публицистический. Во многих странах такого рода изданий просто нет. Этот тип журнала создан особыми условиями и традицией русской литературы XIX века, которая представляла и обще-

ственную мысль. Говорил о читателе, о связи с ним — как неотъемлемой части журнала.

Солженицын выступал дельно — говорил не о литературе, а о проблемах школы, в частности в связи с ростом преступности среди молодежи. Завышение отметок, невозможность для директора исключить кого-либо из школы — все это создает атмосферу ханжества.

Один из выступавших затем учителей ругал нашу критику: мол, нет у нас Белинских, ни одного не вырастили. «Вот уж неправда,— тихонько сказал сидевший рядом со мной Солженицын.— Мне критика „Нового мира" нравится больше всего в журнале. Отдел прозы — когда хорош, когда дурен, поэзии — вовсе плох, а критика у вас блистательная».

Несмотря на завышенность похвалы, не могу сказать, чтобы она меня не порадовала.

Глядя на первые ряды, где сидели подслеповатые заслуженные учительницы, этакие старушки-мыши, которые переглядывались, перешептывались, враждебно зудели, Солженицын сказал, наклонившись ко мне: «Самая косная публика. Это они в 30—40-е годы калечили в школах людей».

Кончился вечер небольшим застольем в ресторане «Берлин». Солженицын все время спешил, разошлись рано.

30.I.1964

Прощаясь накануне, Солженицын взял у меня сигнальный 1-й номер «Нового мира» с моей статьей, который я захватил с собой в Дом учителя. Сегодня в редакции он зашел ко мне и сказал: «Я прочел только последние страницы, касающиеся Дьякова *,— вам могу сказать высший для меня комплимент: это написано так, будто вы были в лагере. Я сам бы так должен был отвечать Дьякову. Ведь если бы его повесть появилась раньше моей, пошел бы косяк такой литературы». И еще раз повторил: «Как вам удалось написать это с точки зрения лагерного человека?»

Сегодня Солженицын и Твардовский ездили к Маршаку. Самуил Яковлевич давно требовал познакомить его с Солженицыным. «У Ахматовой был, а у меня нет». Маршак, естественно, не закрывал рта, забыв хоть о чем-нибудь расспросить гостя. Пять минут подряд говорил о своей статье в «Правде» по поводу «Одного дня», а потом минут 20 читал свою же статью о Шекспире. Солженицын стал поглядывать на часы. Твардовский был в ярости.

Завтра Александр Трифонович собирается в Карачарово — навестить Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.

4.II.1964

Твардовский вернулся из Карачарова нехорош.

Значит, на Комитет по Ленинским премиям не пойдет, а он со-

---

* Повесть Б. Дьякова «Пережитое» в «Звезде» изображала лагерь с точки зрения привилегированного зэка, «придурка», освобожденного от «общих работ».

бирался выступать и по поводу Солженицына и Е. Исаева, выдвинутого со слабой поэмой «Суд памяти». Жаль, конечно. Сегодня стало известно, что докладчиком на сессии Комитета по кандидатуре Солженицына будет Аджубей. Запершись в своем известинском кабинете, он изучает мою статью. Расспрашивал Хитрова обо мне.

Вечером я говорил с Дементьевым. Александр Григорьевич ударился в воспоминания 1954 года, когда Твардовский не пошел на заседание Секретариата ЦК с обсуждением «Нового мира». Пришлось идти С. С. Смирнову и Дементьеву. Хрущев, который вел заседание, был очень мягок, благожелателен тогда, отменил проект Поспелова и Румянцева * (снять Твардовского, Смирнова и Дементьева, всех троих, назначить редактором Друзина и т. п.).

Дементьев уверяет, что если бы Александр Трифонович в тот день был с ними, все повернулось бы по-другому. А тут Поспелов подзуживал: Твардовский, мол, не работает, пьянствует... Решение принято не было, только рекомендация — отпустить Твардовского на творческую работу. А через две недели — задним числом — А. А. Сурков и Поспелов добились принятия решения об «ошибках» («иначе вся наша работа насмарку»).

«Сейчас,— говорил Дементьев,— я вижу с огорчением, как Трифоныч стареет и как понижается его работоспособность. Стихов почти не пишет...» Он прав, я и сам давно это вижу, но боюсь выговорить. Конечно, сейчас у него после «Теркина» остановка, быть может, некий кризис. Но, даст бог, все еще поправится. Журнал съедает у него массу сил, дома неспокойно. И работать вроде негде, никак не решится вопрос с покупкой дачи. А такие кратковременные выезды вроде бы для «творческих занятий», как недавно в Карачарово, кончаются плачевно. Я подбивал Дементьева: давайте сами искать ему дачу — дело-то серьезное.

5. II. 1964

Вероника Туркина звонила, поздравляла со статьей и сказала, что только одного человека я огорчил. Это кинорежиссер Лев Гроссман. Он знакомый Ю. Штейна: гордился тем, что с него написан Цезарь Маркович, а после статьи приуныл. Пьет валерьянку.

Письмо А. И. Солженицына 4. II. 1964, Ленинград

«Дорогой Владимир Яковлевич!

Когда я был в редакции, то меня несколько тревожно спрашивали (Б. Г.) **, как я отнесся в Вашей статье к месту о Цезаре. Я и сам уже было встревожился.

Но, прочтя статью, вижу, что все отлично и все на месте. Вы верно истолковали, что не о народе и интеллигенции речь идет, а о тех, кто принимает на себя удар и кто от него уклоняется.

---

* Поспелов Петр Николаевич (1898—1979) — секретарь ЦК КПСС; Румянцев Алексей Матвеевич (р. 1905) — в те годы зав. отделом пропаганды, в 60-е годы — кратковременный либеральный редактор «Правды», академик.

** Борис Германович Закс.

Именно это и именно так я и хотел передать в повести. И хотя перед прототипом Цезаря мне по-человечески несколько неловко, но что делать? Amicus Plato... Ну, может быть, приравнивание к „красилям“ есть маленький перебор, а скорее-то всего, учтя возможные в то время сценарии Цезаря,— и нет. По глубокой-то сути — верно.

И великолепный удар по дьяковской повести без этой подготовки не получился бы.

В общем, спасибо за статью. От подобной статьи чувствуешь — как бы и сам умнеешь.

Привет большой Александру Трифоновичу и всей редакции.

Крепко жму руку!

С.».

31. I. 1964. Подписан к печати № 2.

В номере:

С. Залыгин. На Иртыше.

Стихи А. Кулешова, Л. Завальнюка, К. Кулиева.

Статья Мих. Лифшица «В мире эстетики».

Рецензии Арс. Тарковского, Н. Крымовой, Ст. Рассадина и др.

7. II. 1964

В «Литгазете», в обзоре какого-то заседания в СП, брюзжание по поводу моей статьи (Л. Фоменко и др.).

Письмо от Солженицына сделало меня на целый день счастливым.

Вечером с небольшой компанией отправились в Лобню, а там до лесной сторожки — с ночлегом, чтобы отдохнуть в воскресенье, покататься на лыжах. Кучер упился, и пришлось нам самим запрягать лошадь, ждавшую нас у станции. Это было комическое зрелище. Потом мы тряслись в санях по глубокому снегу. Ехали ночным лесом до сторожки лесника. Там спали на полу, согреваясь у железной печурки, а на другой день с утра до 2 часов ходили по пустынному и замечательно красивому лесу на лыжах. Пообедали и обратно в санях — до станции. Устал, но очень было хорошо, и главное, ни одного разговора московского, литературного.

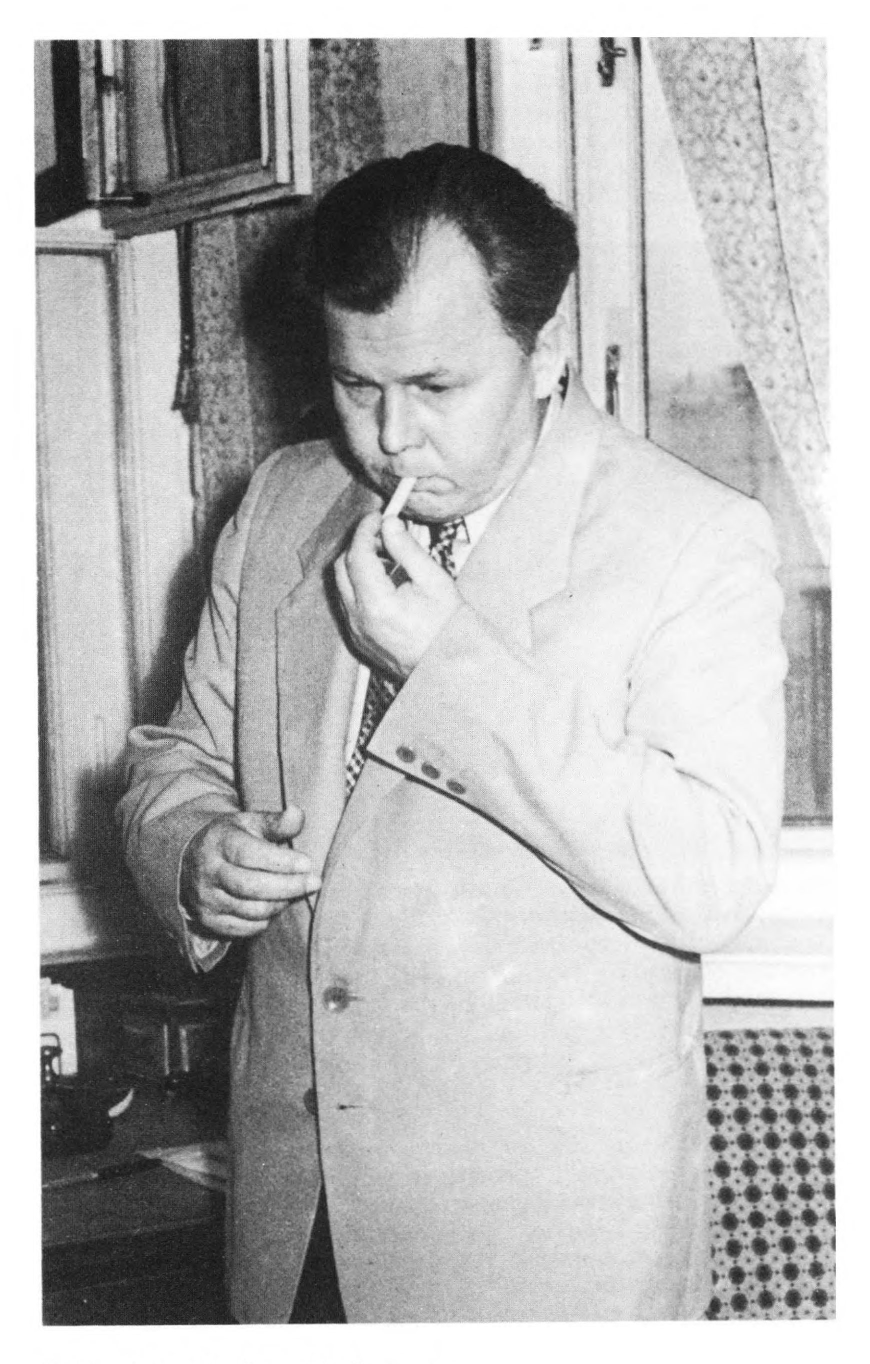
9. II. 1964

Пошли письма читателей о статье по поводу Солженицына.

Сегодня яростно-напористый Коржавин спорил со мной, что я зря обидел Цезаря Марковича. Спор длился часа два. Он успокоился немного, только когда я показал ему письмо Солженицына. И вообще, к концу спора выяснилось, что мы думаем во многом сходно, но только ему не нравится... а что не нравится, он так и не сумел определить. Зашедшая К. Н. Озерова вторила ему (ей и прежде не нравилось в статье это место о Цезаре), и это отравило мне настроение. Вечером какое-то обсуждение в Союзе писателей, где будет речь и о моей статье, просили быть. Но я себя перемог, хоть и любопытно было, и не пошел.



Н. С. Хрущев с писателями. Фото А. Устинова



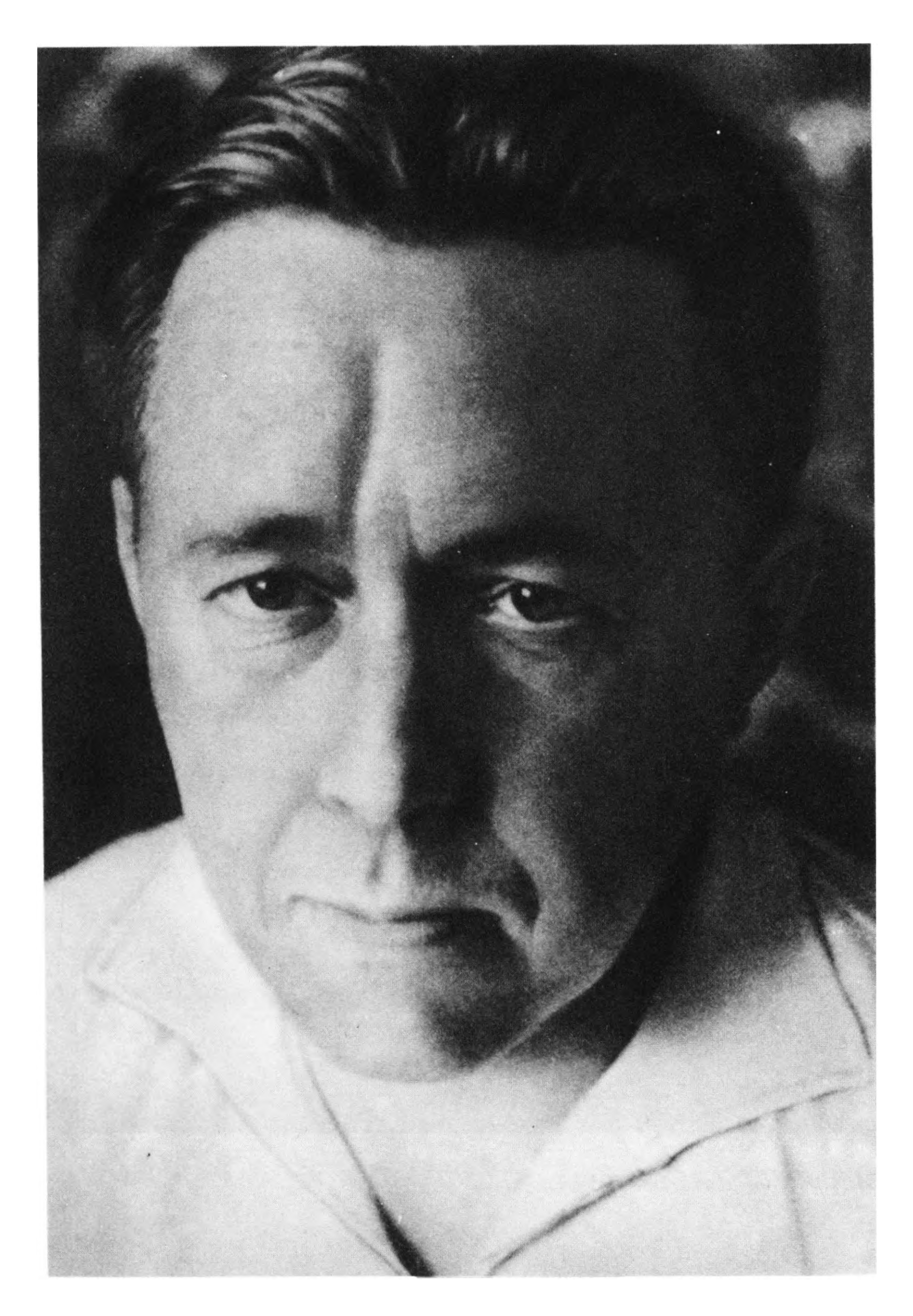
А. Твардовский. Фото Н. Кочнева



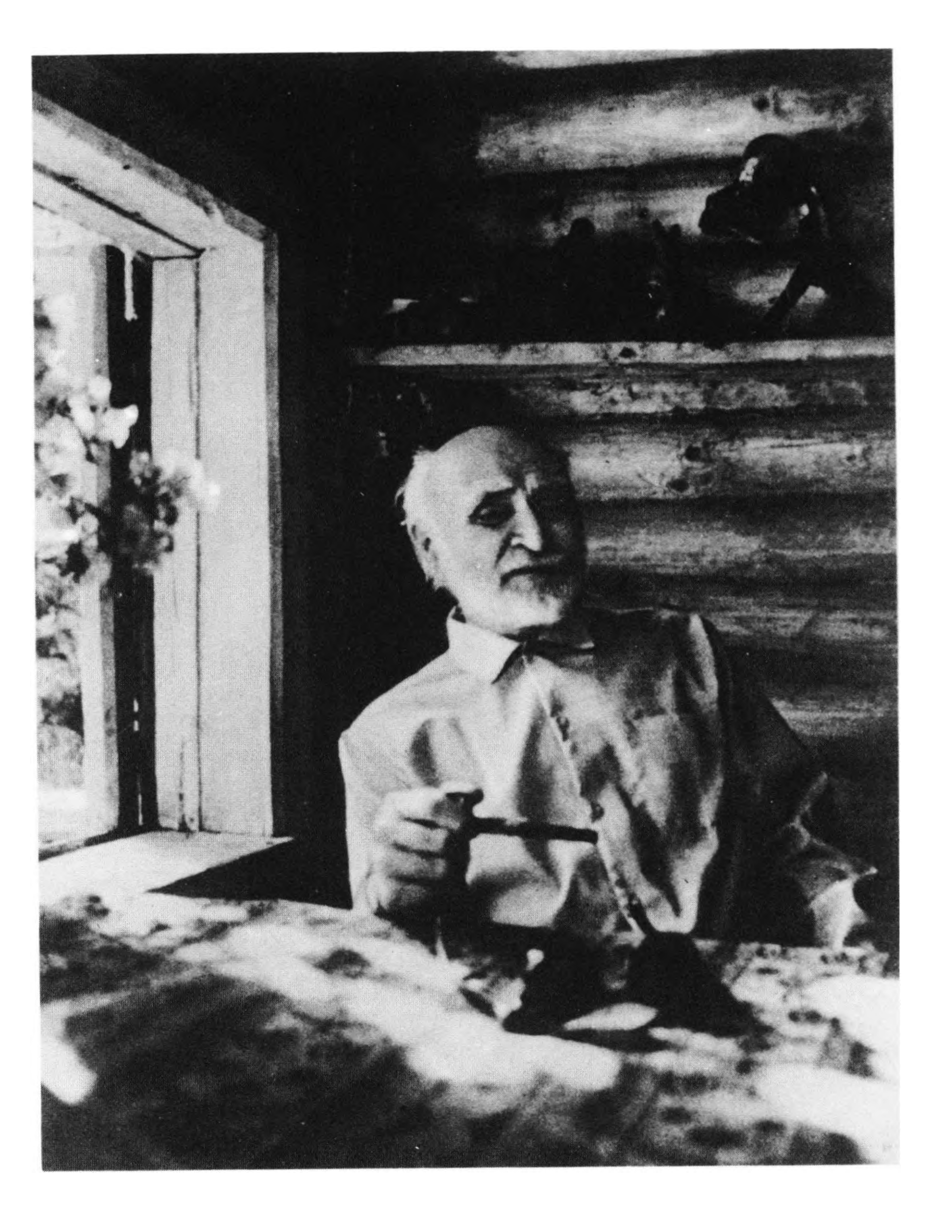
А. Твардовский у С. Маршака. 1962 г.



А. Твардовский и В. Лакшин. Ленинград, 1964 г.



А. Солженицын



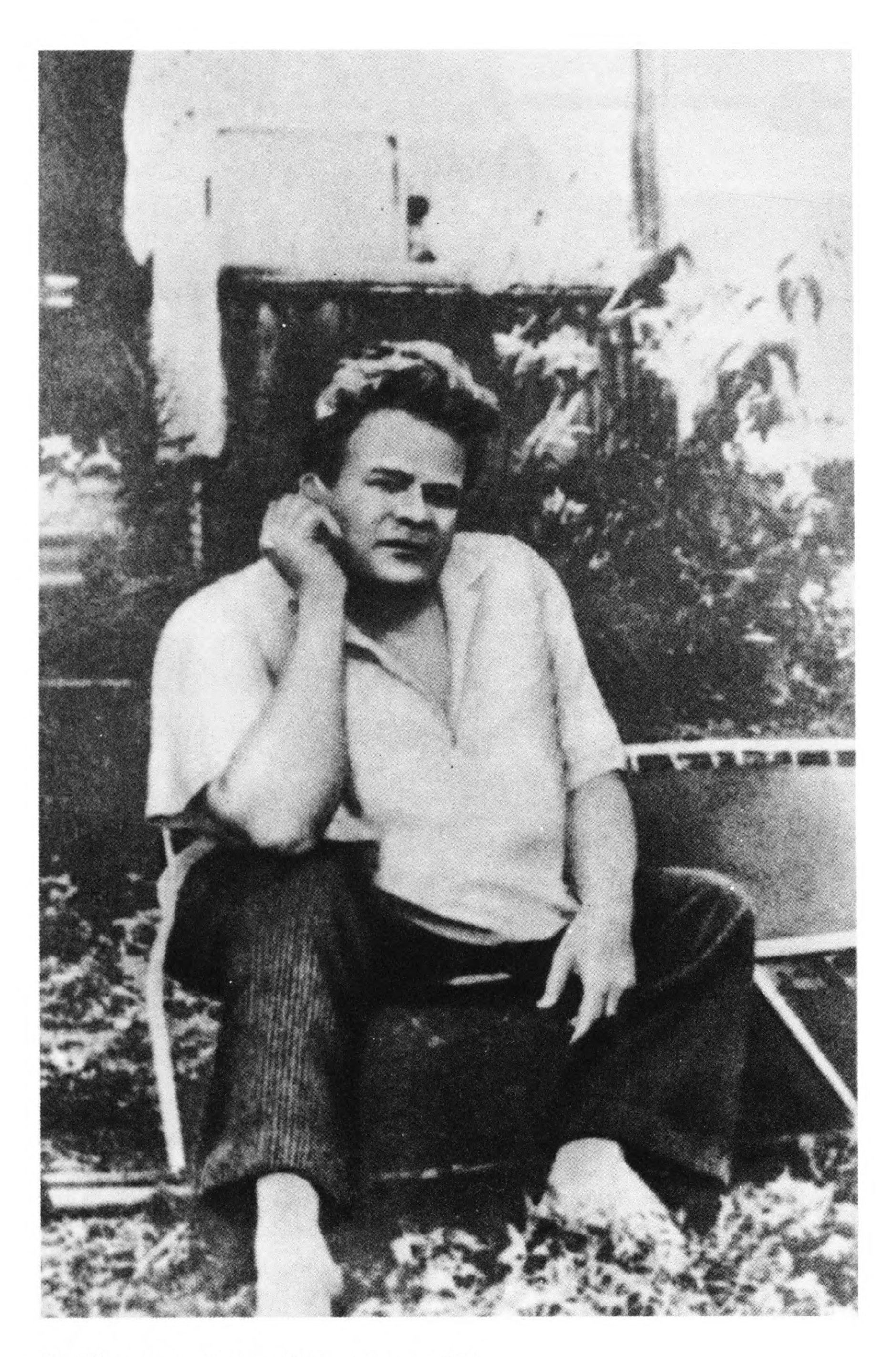
И. Соколов-Микитов. 1959 г.



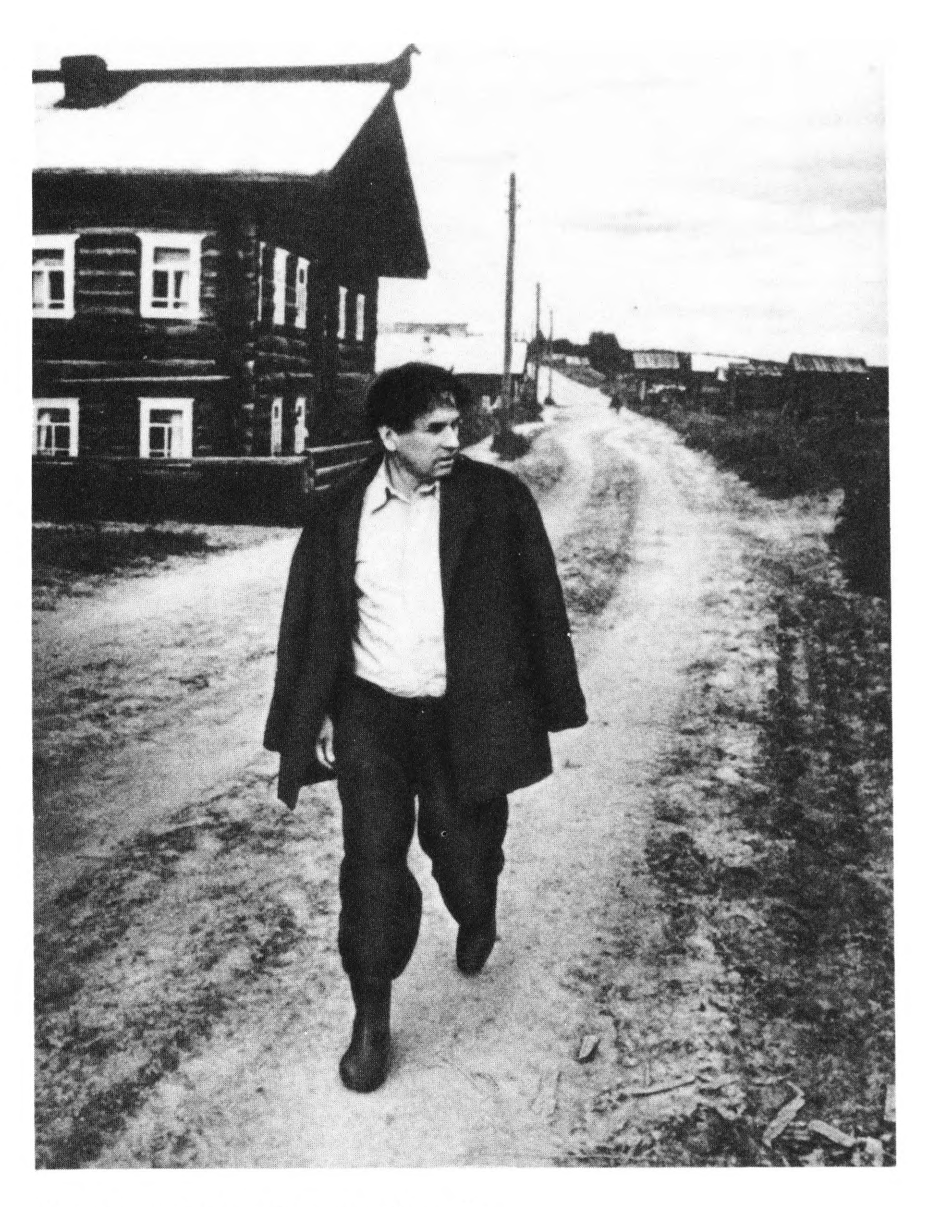
А. Твардовский и К. Федин в кулуарах III Всесоюзного съезда писателей, 1959 г. Фото Н. Кочнева



А. Яшин на охоте. 1967 г.



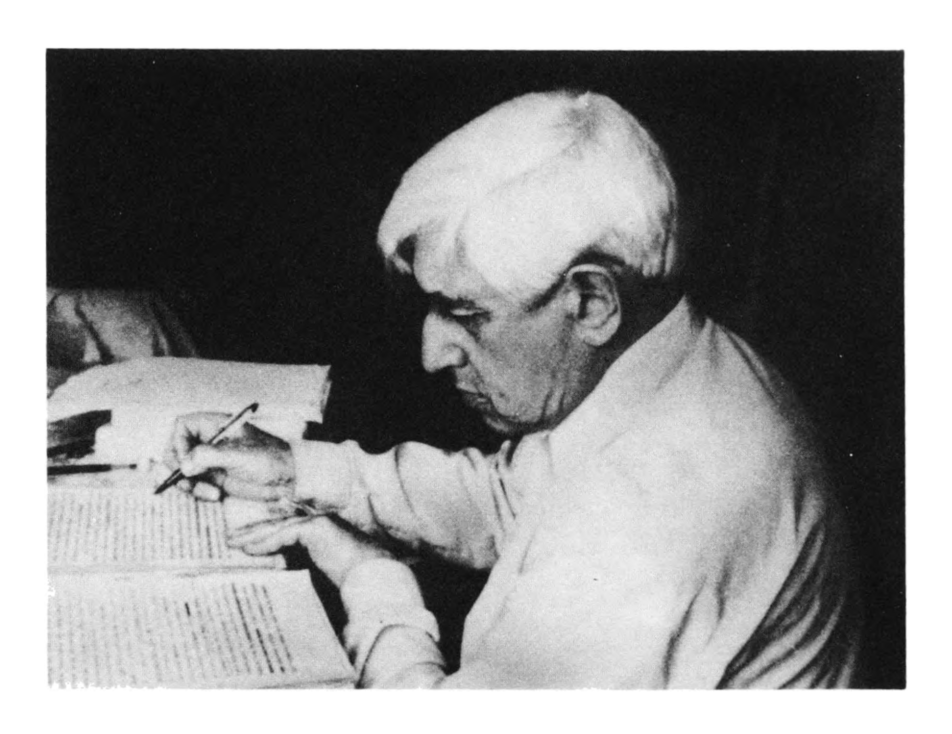
М. Щеглов на даче в Немчиновке. 1954 г.



Ф. Абрамов в селе Веркола. 60-е годы



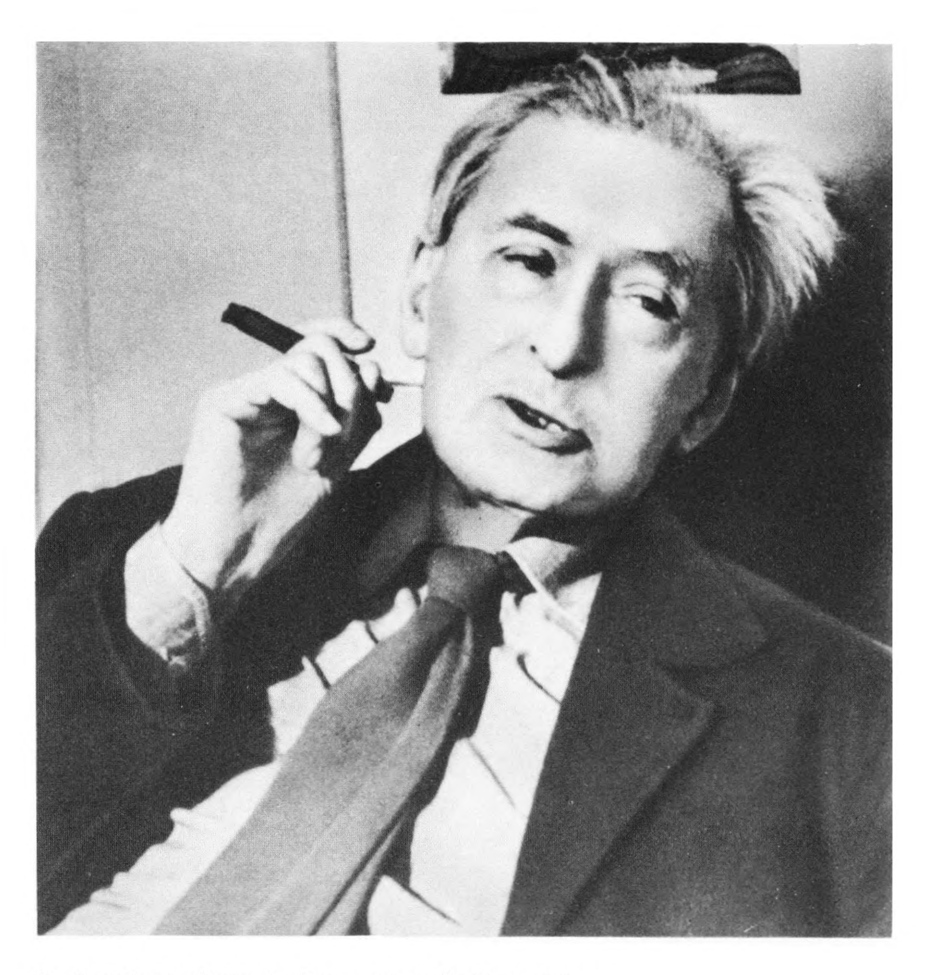
В. Некрасов. 80-е годы



И. Сац. 60-е годы



Генерал А. Горбатов. Начало 60-х годов



И. Эренбург. Фото А. Конькова и В. Мастюкова



А. Твардовский и О. Берггольц (на втором плане). Ленинград, 1964 г.



А. Твардовский. Конец 50-х годов. Фото А. Устинова

11. II. 1964

Звонили из недавно образованного Совета по критике Союза писателей и звали на дискуссию о журнальной критике 1963 года. Я отказывался, как умел, предчувствуя западню. Но уклониться нельзя было — позвали выступить с сообщениями заведующих критикой четырех журналов — «Октября», «Знамени», «Москвы» ну и нашего.

Малый зал полон, человек сто — полтораста.

Я говорил коротко — минут пять, о том, что, мол, наша критика на виду, есть 12 книжек журнала за год,— обсуждайте, критикуйте, мы, мол, высказались.

Но вскоре же выяснилось, что собрались не для этого — их интересует 1-й номер нынешнего года, и только.

Все было разыграно как по нотам. Забыли все другие журналы и прочие статьи и целый вечер выли по-волчьи вокруг одной, посвященной «Ивану Денисовичу».

Председательствовал Д. Еремин. Выступала фаланга кочетовцев — А. Дремов, В. Назаренко, С. Трегуб, И. Астахов, а потом еще главные специалисты по лагерной теме — Б. Дьяков и генерал Тодорский. Это было самое неприятное — они говорили эмоционально, со слезой, что я оскорбил их, оскорбил всех коммунистов, оказавшихся в лагере. Тодорский начал забавно: «Я не знаю всех этих распрей „Октября" и „Нового мира", для меня это ссоры Монтекуки (!) и Капулетти». Но, разойдясь, говорил жестко. Впрочем, Тодорский и Дьяков опровергали друг друга, говоря о лагере, хотя сами этого не заметили. Дьяков утверждал, что не существовало разницы между „работягами" и „придурками", что все это разделение придумал Лакшин, а Тодорский невольно подтвердил мою (и Солженицына, прежде всего) правоту, когда заявил: «Я к „работягам" хорошо относился. У меня их несколько тысяч работало... Ну, понятное дело, когда назначили меня начальником, и навар в щах другой, и пайка потолще... Руководящие посты в лагере занимали бывшие военные, коммунисты, организаторы...» Он не понимал, как кощунственно все это звучало. Об Иване Денисовиче и таких, как он, за весь вечер никто и не вспомнил.

А. Дымшиц, заключая, говорил, что я холодными руками коснулся святой и трагической темы. И вообще все обсуждение напоминало коллективный донос: я узнал, что я ревизионист, идеалист и одновременно напоминаю китайских догматиков. У Дремова, занявшегося проблемами теории, выходило, что аналитическая критика, за которую я ратую,— это голый субъективизм, а нормативная — это и есть лучшая партийная критика. Тодорский сосчитал, что в статье лишь дважды упомянуто слово «партия», и это, конечно, не случайно.

Это был, что я не сразу понял, хорошо срепетированный спектакль. Клака «Октября» вся была в зале и что-то выкрикивала с места, шумно аплодировала Дьякову и др. Не зря и закрыли собрание поспешно, пока люди не опомнились. На другой день должно было быть продолжение обсуждения, но его отменили,— все,

кто надо, уже высказались, теперь можно будет дать отчет в газете.

Хуже всех были «либералы» и сочувствующие. Многие подходили ко мне в перерыве, прочувствованно жали руку, приветствовали, хвалили статью, но никто, ни один человек не выступил. Стелла Корытная сидела неподалеку от меня и, когда выступали Тодорский и Дьяков, громко шептала: «Что они говорят! Как не стыдно! Какой ужас!» Феликс Кузнецов долго тряс мне руку. Эмиль Кардин толковал что-то о «тактической ошибке», которую я допустил будто бы с «придурками»: «Вот и такие люди, как Тодорский, отвернулись. Я ему звонил вчера и понял, что он кипит и будет против тебя выступать». Я ответил Кардину: кто знает, а может, не тактическая ошибка, а стратегическая победа?

Пешком, по морозцу, пошел один до дому по бульварам, чувствуя себя избитым в кровь. Почему я не попросил слова, чтобы возразить очевиднейшей клевете? Все ждал, что кто-то выступит, хоть полслова доброго скажет. Напрасно. Ночь спал скверно.

ПОПУТНОЕ

Это обсуждение было мне наукой на всю последующую жизнь. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» Позднее от дочери А. К. Воронского Галины Александровны я услыхал такой рассказ. Воронского с его «Красной новью» уничтожали «напостовцы». В Агитпропе у Стецкого собрали совещание по обсуждению журнала, и Воронский, не ведая, что все сговорено за его спиной, пришел один, а «напостовцы» явились кучей (Родов, Лелевич и др.) и яростно выступили против него, создав впечатление единодушного осуждения «Красной нови» и «Перевала». Поняв, что попал в засаду, Воронский ушел обиженный, разгневанный и на правах старой дружбы позвонил Сталину, попросив о приеме. Сталин принял его, и он по-дружески пожаловался Кобе на коварство Стецкого. Сталин долго мерил шагами ковер, потом вынул изо рта трубку и произнес: «Сам виноват. Как ты мог забыть наше старое правило большевиков-подпольщиков: никогда не ходи на собрания, где ты рискуешь остаться в меньшинстве».

Я тоже не знал этого правила — и был избит как никогда прежде. Остро почувствовал тогда и предательство либеральной литературной среды. Было ощущение, что некоторым моим доброхотам даже нравилось, что меня избивают: выскочку ставили на место. Я сильно пережил эту историю, долго ее помнил.

Скажу несколько слов о лицах, упомянутых в записи.

Б. Дьяков, обидевшийся за мою критику его книги «Пережитое», фальсифицировавшей правду о лагерях, до недавних пор жил благополучно, пока в 1988 году не был печатно осрамлен как доносчик и осведомитель НКВД в 30—40-е годы.

А. И. Тодорский, прославленный в его книге, имел сложную судьбу. О его брошюре «Год с винтовкой и плугом» в 1920 году высказался Ленин. Выйдя из лагеря, Тодорский, сам генерал-лейте-

нант в отставке, провел полезную работу — написал нигде не изданное тогда открытое письмо с подсчетами жертв сталинского террора среди военных: впервые собранные им данные о числе погибших маршалов, комкоров и комбригов оглушали. Но повесть Солженицына он не принял и, поскольку критиковать самого автора «Ивана Денисовича» не считали тогда возможным, сосредоточил свой гнев на моей статье.

В записи упоминается еще и Стелла Корытная. Дочь секретаря ЦК (или МК?) Корытного, она многие годы провела в лагерях. Вернувшись, изредка сотрудничала в отделе критики «Нового мира». Была человеком очень искренним и неуравновешенным, что неудивительно по ее судьбе. Год или два спустя после того, как я видел ее на обсуждении в СП, она покончила с собой.

ЗАБЫВЧИВЫЙ КРИТИК

Реплика в журнале «Огонек» (1964, февраль, № 8)

«В статье „Иван Денисович, его друзья и недруги", опубликованной в № 1 журнала „Новый мир", В. Лакшин к числу недругов героя повести А. Солженицына отнес журнал „Огонек" и его автора А. Налдеева. Почему же? За какую такую провинность?

В своей маленькой рецензии на роман Н. Лазутина „Суд идет" («Огонек», № 39, 1963 г.) критик А. Налдеев написал: „В отличие от повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича" роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни". И все. Больше о повести А. Солженицына в рецензии не сказано ни слова. Но этого оказалось достаточно, чтобы критик В. Лакшин зачислил журнал „Огонек" в число „недругов" Ивана Денисовича. Зачем понадобилось это критику Лакшину, неизвестно. Известно одно, что он ввел читателей „Нового мира" в заблуждение. Все дело в том, что, кроме заметки критика А. Налдеева, в которой оказалась фраза, не понравившаяся критику В. Лакшину (кстати, не дающая основания зачислять Налдеева в недруги Ивана Денисовича), „Огонек" неоднократно выступал с положительной оценкой повести „Один день Ивана Денисовича".

В статье Ник. Кружкова («Огонек», № 49, 1962 г.) давалась высокая оценка этому честному, правдивому произведению. В № 52 за 1962 год в литературном обозрении А. Макарова и в № 5 „Огонька" за 1963 год в обозрении Б. Сучкова повесть Солженицына оценивалась также положительно.

В. Лакшин предпочел об этом забыть или не заметить этого. Нам в связи с этим хочется сказать читателям „Нового мира": не верьте критику В. Лакшину. Он искусственно фабрикует недругов Ивана Денисовича!»

14. II. 1964

Вечер провел у Саца. Он дружески подбадривал меня. Сказал, что Павел Каратаев, зэк со стажем, хвалил статью, хотел меня видеть, говорил, что все в статье — правда. Зашла Ирина Луначарская, и мы сговорились, что она покажет мне глухо запертую квартиру Луначарского в Денежном переулке, и я помогу им с Сацем разобраться в завалах его библиотеки.

16. II. 1964

Вечер в пустой квартире Луначарского. Комната наверху, пол которой на метр завален книгами. Отбирали и откладывали в сторону книги с пометками Анат. Вас. и с дарственными надписями ему. Все остальное летело опять в сторону как хлам. А вещи есть ценнейшие. Библиотека чудом уцелела в первозданном виде в эти годы, когда у всех книги конфисковали, и сами владельцы «чистили» библиотеки, жгли все «сомнительное».

Квартира тоже занятная. Зал с антресолями и комнаткой Игоря наверху, где мы были; столовая, белая гостиная, узкий небольшой кабинет. Но музей сделать не торопятся — экое варварство. Спохватятся потом, да, боюсь, поздно будет.

Наглая заметка в «Огоньке» — «Забывчивый критик» должна представить дело так, что «Огонек» всегда защищал Солженицына, а я попал пальцем в небо. Обидно было, что муж Луначарской — военный химик — принял заметку всерьез и спрашивал меня: «Ну как же так? Ведь они просто упрекают Вас в бесчестности?» Что на это ответишь? Лень слова тратить и глупо. Но некоторое унижение все же чувствуешь.

17. II. 1964

Александр Трифонович в редакции. Говорили о Пленуме ЦК. «На земле больше сеять, похоже, не будем — гидропоника»,— иронически комментировал Твардовский.

Разносил прочитанные им в верстке статьи Католина (псевдоним трех авторов) и И. Белова. Марьямов только сопел и отдувался. Александр Трифонович утешился лишь тем соображением, что «умный не скажет — дурак не поймет».

Потом, когда Марьямов ушел, рассказал, что, возвращаясь с тяжелой головой после заседаний Пленума, отводил душу над «Афоризмами» Лихтенберга. Я сейчас тоже читаю эту книгу, читаю с редким удовольствием. Но удивляюсь: а он-то как поспел?

Сегодня минут пятнадцать мы крестили новую вещь генерала Горбатова. Твардовскому не хочется, чтобы она называлась «Жизнь солдата». Все крутили вокруг банального: «Служба и...» «Дружба, что ли?» — с негодованием обрезал Александр Трифонович. И вдруг нашел: «Годы и войны», на этом все согласились.

Твардовский долго сокрушался, что Сац испортил, редактируя, вещь Горбатова. «Зачем он выпрямил в хронологической последовательности? Мне плакать хочется — какая вещь испорчена! Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно: сначала круто взял — тюрьма, лагерь, а потом на покосе, где есть место подумать, припомнил детство, гражданскую войну...» Он преувеличивает беду, но по существу прав — вещь, конечно, потеряла что-то.

Пришел Сац, и Александр Трифонович с необычайной для него жесткостью повторил все то, что говорил нам. Тут же и рассорились — Сац ведь тоже упрям.

Мне тяжело было наблюдать их ссору, а вмешаться значило бы

подлить в огонь масла, и я ушел, оставив их объясняться вдвоем. Ничего доброго, разумеется, из этого не вышло.

18. II. 1964

Александр Трифонович сказал мне, что реплику «Огонька» он понял как жалкое оправдание, попытку примазаться к успеху Солженицына.

Сегодня приходил Андрей Вознесенский. Читал стихи «Биостанция», «Под Новый год в Риме» и др. Ему, он сам об этом сказал, очень уж хочется напечататься у нас.

Александр Трифонович говорил с ним спокойно, с улыбкой, но, по существу, жестко. «Вам, выходит, не о чем писать. И потом: вы ушиблены звукописью. Если у вас идет „католический", то в следующей строке непременно жди рифму „калиткой". А ведь звукопись — лишь одно из малых средств поэзии».

Вознесенский возражал: «Ну неужели вы здесь ничего не видите?.. Я думал, уж эти стихи вам понравятся, оттого и принес. Простите, я буду хвалить свой товар. (И он процитировал что-то вроде — „земля летит яйцом...") Что, плохо?»

«Плохо,— рубил Твардовский.— И потом, это не ваше добро, это от Пастернака, его „соединение далековатых понятий", Вселенной, к примеру, и домашнего уюта».

Андрей ушел разобиженный. Я старался как-то смягчить характер беседы, что-то похвалить, выделить какие-то строчки, но Твардовский меня не слушал.

19. II. 1964

Заходят в редакцию разные люди, разговоры о Солженицыне, о статье. Сегодня были белорусы — Янка Брыль и Адамович. Заходил Фоменко, приехавший из Ростова, потом Троепольский.

Вечером неожиданно возник спор с Дементьевым о «придурках». Видно, кто-то его накрутил. Забавно, что утром, когда Твардовский попросил меня написать ходатайство в Союз писателей о награждении Александра Григорьевича в связи с юбилеем, зашел о нем разговор. И Твардовский сказал: «А ведь он сильно переменился последнее время к лучшему, наш Демент. Мы все-таки потихоньку на него влияем». И как нарочно, после моего доверительного разговора с ним, когда я показал ему письмо Солженицына, он вдруг принес мою статью, всю расчерканную, и стал говорить о «тактических ошибках». Я сказал ему, что уже слышал это от Кардина и Мих. Кузнецова. Дементьев стал кричать высоким тенором о Заболоцком, которого я готов был бы погубить, как «придурка», отправить, что ли, на «общие работы». При чем тут Заболоцкий? Я сказал, что считаю эти доводы фальшивыми. Дальше — больше. Пришлось сказать, что он может не опасаться за себя — вся ответственность на мне. Я долго думал, прежде чем писать статью, и отвечаю за нее, за каждую строчку в ней...

Словом, крику было много. Я даже не успел пообедать и отправился проводить семинар в университет с пустым желудком, злой и расстроенный.

Свидетелем нашего объяснения с Дементом был Фоменко, который бросил несколько реплик, поддерживающих меня. Но видимо, и он был поражен, что в нашей редакции возможны такие полемики.

20. II. 1964

Статья в «Литгазете», которую, зная о ней по слухам, давно ожидал. Статья беспомощная, трусливая, с экивоками. И когда я прочитал ее, у меня отлегло от сердца: даже написать как следует не умеют, своего собачьего ремесла не знают!

Из редакционной статьи «ОБЩИЙ ТРУД КРИТИКИ»
(«Литературная газета», 20 февраля 1964 г.)

«О том, что порой кроется за внешней обстоятельностью критики, свидетельствует статья „Иван Денисович, его друзья и недруги", принадлежащая перу В. Лакшина («Новый мир»). Статья посвящена повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича" и некоторым критическим отзывам о ней... Вот уж, казалось, все здесь — и пространность рассуждений, и дотошность в цитировании, и обращение к классикам отечественной критики, к документам последнего времени — располагает к тому, чтобы статья получилась по-настоящему убедительной. Однако на недавних творческих обсуждениях в Московской писательской организации эта статья была подвергнута довольно резкой критике в выступлениях Л. Фоменко, А. Тодорского, А. Дымшица, И. Астахова, Б. Дьякова, В. Назаренко. С. Трегуба именно за недоказательность и субъективистский подход к общественно-творческим проблемам, за узость взгляда на литературный процесс.

(...) Бог весть по какому праву определив себе роль единственного защитника и приверженца повести „Один день Ивана Денисовича", В. Лакшин пытается поделить с помощью этого произведения всех критиков, писавших о книге, на „друзей" и „недругов".

Собственно, о „друзьях" в статье речи нет, упоминание о них скорее средство сделать более „полным" заголовок статьи. Впрочем, без особого труда можно понять, что „друзья", по В. Лакшину, это те критики, которые приняли повесть как „данное", восторженно, кто хотел бы видеть ее главного героя именно таким (и только таким!), каким он нарисован у А. Солженицына.

„Недруги" — это те авторы, кто обронил в адрес повести хоть слово критики, позволил себе рассуждать на темы, казалось бы, столь естественные и привычные при рассмотрении всякого литературного произведения: о типичности героя, о полноте изображенных обстоятельств, о неиспользованных возможностях темы и т. д. Это критики, которые увидели в облике Ивана Денисовича черты примиренчества, пассивности, некоей „каратаевщины", считающие, что тема, поднятая А. Солженицыным, могла быть решена еще более ярко и убедительно (...)

Кто знает, возможно, В Лакшину все эти соображения в связи с повестью и покажутся второстепенными — в самые суровые и сложные годы он, как пишет в статье, „сочинял сценарии студенческого капустника, бегал

на дружеские вечеринки". Но для тех, кто уже тогда жил полноценной „взрослой" жизнью, эти годы — частица собственной судьбы. Для них такое убеждение, такое ощущение историзма необыкновенно дорого: речь идет о стране и речь идет о них самих! Естественно, что для них вовсе не безразлично, к а к о г о героя выбрал художник для рассказа о нашем личном и общественном опыте...

(...) Не кажется ли молодому критику, что уже сама его постановка вопроса о „друзьях" и „недругах" таит в себе некий дурной подтекст? Ведь критиков, чьи имена называются в статье, он аттестует не только как „недругов" повести, но и как „недругов" ее героя, жертвы культа личности, Ивана Денисовича, который, говоря словами статьи, являет собой „народный характер", олицетворяет многих рядовых людей, составляющих „самую толщу широких трудящихся масс" и сосредоточивших в себе „народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т. п." Не нужно прибегать к сложным логическим построениям, чтобы, идя за мыслью В. Лакшина, понять, кому и чему „недруги" эти неосторожные критики. Вот до чего, оказывается, можно договориться в пылу литературной полемики!

Этот пыл и торопливость в обличении „инакомыслящих" не однажды заводят Лакшина в дебри, в которые он, по-видимому, и не стремился, заставляют его то „усекать" цитаты из других статей, то делать из них совершенно произвольные выводы, приписывая одним критикам любовь к пресловутому „идеальному герою", других приравнивая к Алеше-баптисту, персонажу из повести А. Солженицына. В. Лакшин способен одернуть рабочего В. Иванова, который в „Известиях" позволил себе написать что-то не так, как того хотелось бы критику: он грубо „сталкивает лбами" разные книги на одну тему, с оскорбительной уничижительностью пишет о повести Б. Дьякова „Пережитое"...

Повесть „Один день Ивана Денисовича" дорога нам всем — не одному только В. Лакшину. Тем более нельзя превращать это произведение в предмет размежевания литераторов, нельзя делать из книги некий „феномен", выводить за пределы естественно развивающегося литературного процесса, насильственно догматизируя и регламентируя всякую творческую мысль о данном произведении».

ПОПУТНОЕ

На первый взгляд, в статье «Литературной газеты» не было ни складу ни ладу. Хвалить за «дотошное цитирование» и спустя несколько абзацев упрекать критика в «усечении цитат»; называть себя защитниками повести и ее героя — и одновременно выражать недовольство **таким** героем — все эти несообразности мало смущают автора редакционной статьи.

Но что в ней действительно примечательно и отражает логику определенного момента — это механизм сознательного лицемерия, вынужденного считаться с обстоятельствами. Само собой очевидно, что п о к а не с руки было бить повесть, одобренную Н. С. Хрущевым и выдвинутую как-никак на Ленинскую премию. Но набросить тень на этот «феномен» можно. Можно ударить по ней рикошетом, браня ее защитника и в позе бесстрастного арбитра солидаризируясь с ее

критиками. Те, кто вскоре начнут изымать повесть Солженицына из библиотек, вымарывать любые упоминания о нем, свертывать едва начавшуюся критику сталинской эпохи, пока что фальшиво сердятся на то, что кто-то посмел искать «недругов Ивана Денисовича» — жертвы культа личности. Где вы их увидели? Помилуйте, их нет! Решительно все ходят в «друзьях», и разве что некоторые освобождают повесть от ореола исключительности, вводят в рамки «естественно» развивающегося (!) литературного процесса... На волчьем загривке все еще бабушкин чепец, и слышится из-за двери нежный голос.

Завтра оправданий и недомолвок уже не потребуется. «Лагерная тема» будет закрыта. Враги XX съезда, развенчания культа скинут маску, едва утвердится застойная брежневская пора. Снова сведут к нулю и вычеркнут из истории для молодых поколений тему репрессий и шаг за шагом пойдут вспять к реставрации привычной идеологии и психологии сталинизма. Надо было прожить эти два десятилетия, чтобы увидеть эти процессы как на ладони.

И, к слову сказать, не тот же ли механизм действует и сегодня? Те, кто косится на перестройку и ждет лишь изнутри, когда можно будет открыто обличать ее (заодно с ее главным архитектором), приходят в деланное негодование от любого разговора о «недругах перестройки». Кто такие? Их нет у нас и в помине, все без исключения в друзьях у перестройки, как когда-то, судя по двусмысленным ламентациям «Литгазеты», не существовало «недругов» в нашей литературе ни у «Ивана Денисовича...», ни у его автора, которого всего спустя два года ждали преследования и клевета, а спустя девять лет — изгнание с родины.

21. II. 1964

Были в гостях у Ф. Светова и З. Крахмальниковой. Неожиданно, вопреки своим друзьям-либералам, они прямо-таки трогательно выражали мне свою солидарность в связи со статьей об Иване Денисовиче.

Вчера в редакции снова был В. Фоменко, которого Твардовский очень ценит за роман «Память земли». Владимир Дмитриевич, порядочный и покладистый человек, но у него несколько провинциальная манера — сидеть и канючить, рассказывал о своей работе, о том, какой сюжет «закрутился», почему «не идет» и т. п. А Твардовский таких автокомментариев смерть как не любит. «Я не хочу слушать этого,— сказал он в конце концов резко.— Приносите рукопись, тогда будет разговор. А то, что вы рассказываете заранее о своей работе — это ужасно. Я не хочу знать, как у вас там „идет — не идет“. Сам никогда не рассказываю и другим не советую».

Фоменко был смущен, расстроен таким поворотом разговора. Я было за него заступился, но Твардовский еще долго кипятился, не давая мне возразить.

Обсуждали статью, заказанную Мих. Мат. Кузнецову («Михмату») вместо передовой,— о Хрущеве, «исторических встречах» и прочем. Александр Трифонович сказал по этому поводу, что вообще-

то и сам бы мог написать о Хрущеве хорошо, потому что ценит его за выдержку во время Карибского кризиса, за борьбу с культом личности да и за другие добрые намерения, правда, не всегда реализуемые. У Кузнецова — стилек, конечно, газетный, жалостный, в духе «первомайского очерка», и это противнее, чем строгая казенная передовая, от которой уж ничего не ждут.

Вспомнилось, что в «Отечественных записках» у Некрасова был старичок, убежденный монархист, который писал все официальные материалы по поводу тезоименитства августейших особ и т. п. Некрасов им очень дорожил и написанное им печатал не читая. И нам в неизбежных случаях такого бы старичка! Твардовского развеселил мой рассказ.

Был и разговор в редакции с В. Липатовым. Его привечает А. Г. Дементьев — как сибиряка и человека «от жизни». Но пишет он наспех, небрежно.

Александр Трифонович говорил Липатову, что ему не хватает писательской культуры, что в этом отношении, скажем, Ю. Казаков куда выше его, потому что читал Бунина. А он, Липатов, хоть и располагает серьезным жизненным материалом, часто портит его. «Вы небось после детства „Капитанскую дочку" не перечитывали,— сказал Александр Трифонович,— а вам надо прочитать ее однажды — и... задохнуться от восторга». «У вас материала на рассказ,— продолжал Александр Трифонович,— а вы раздуваете повесть, даже роман. Напишите лучше рассказ, но такой, чтобы вы могли приехать в редакцию „Нового мира" и прочитать нам его вслух. Именно вслух, когда за каждое неловкое слово стыдно бывает. Я по себе знаю: читаешь на людях поэму — и одно слово хочется проглотить, замять, чтобы слышно его не было, а другое уверенно, громко произносишь — значит, правильно стоит. И еще. Вы пишете и не переделываете. Все остается таким, как в первый раз легло на бумагу. Но художник начинается тогда, когда у пишущего возникает желание второй и третий раз вернуться к однажды написанному... К тому же у вас нет литературной родословной. Я не знаю, кто ваши отцы, или же они совсем незначительны, бродят неподалеку. Вот у Солженицына я вижу — там и протопоп Аввакум, и Достоевский, и Чехов аукнется. А у вас никого не видать — и не думайте, что это самобытно, хорошо».

Липатов отвечал на эти укоризны смиренно и пошло: «Спасибо за то, что вы так серьезно относитесь ко мне как к писателю. Но в своей Чите я чувствую себя оторванным от всего, от литературной жизни. Только вы можете помочь перевести меня в Москву...»

Надо было видеть, как разочаровали эти слова Твардовского! Самое удивительное, что даже прямые, обидные суждения Александра Трифоновича о повести как-то не прошибли Липатова, не задели его глубоко. Он согласился, что знает свои недостатки и поспешил с этой вещью. Н-да!..

Заходил в редакцию и Ю. Бондарев. Говоря с ним, Твардовский приводил в пример того, как надо писать, бесхитростные записки рабочего-монтажника А. Терентьева. («Почитайте — и изумитесь».)

Когда мы остались вдвоем, Александр Трифонович рассказал о письме Солженицына. Тот пишет о моей статье: «А Лакшин здорово их уел. Сколько у меня друзей объявилось!» — и еще что-то в этом роде.

Сегодня же звонил Мих. Лифшиц и говорил, что они с И. Виноградовым готовы дать бой в мою защиту. Я отвечал, что благодарю, но вряд ли это сейчас нужно, а стоит, может быть, напечатать письма, которые густо идут в пользу повести и по поводу статьи. Решили, посоветовавшись с Твардовским, готовить письма.

22. II. 1964

Суббота. Приехал хмурый, будто больной, Александр Трифонович после приема избирателей, который бывает у него, кажется, раз в месяц. Возмущается негуманностью закона о прописке: нельзя прописать жену к мужу и т. п. «Нет, если я еще пойду к Хрущеву, я вот о чем с ним буду говорить, а не о литературе».

Я рассказал ему, что дело с переизданием Марка Щеглова опять глухо застряло в издательстве. Он просил напомнить ему, когда будет посвободнее, чтобы вместе идти к Лесючевскому.

Статья моя наделала шуму. Каждый день звонят, приходят в редакцию люди — поговорить, просто пожать руку. У статьи горячие приверженцы и столь же страстные противники.

М. Хитров с Д. Мамлеевым издают в «Известиях» новый альманах «Радуга» и включили в первый пробный номер перепечатку статьи об Иване Денисовиче. Но есть в редакции и те, кто против. Статья Мих. Лифшица «В мире эстетики», появившаяся у нас, подлила масла в огонь. Аджубею надувают в уши, что, мол, эти публикации в «Новом мире» вредоносные. Д. Поликарпов будто бы сказал: «Можете перепечатывать Лакшина, это ваше дело. Но прежде хорошенько подумайте».

24. II. 1964

Из готовых листов очередного номера цензура выбрасывает безвинную шутку в пьесе Розова («В день свадьбы»), что у нас, мол, ракеты на спиртном духе ходят. (Намек на водку как источник бюджета.) Журнал сильно задержится из-за этой мелочи.

Александр Трифонович звонил в Главлит, бранился с Охотниковым, заместителем П. Романова. Но тот уперся, что «у Розова — анекдот с душком, а по поводу зловредности анекдотов недавно говорили на совещании в „Большом доме“». «Я таких анекдотов не знаю, не слыхал,— кричал ему в трубку Твардовский, долго что-то доказывал и, наконец, сказал потухшим голосом: — Мне жаль вас. Чем вам приходится заниматься?!» Но все было впустую: несколько реплик у Розова потребовали снять и номер завяз.

Ко мне заходил Вс. Ревич из «Литгазеты» и рассказывал, что в газете все возмущены статьей («Ред. дневником») обо мне. Не здороваются с редактором отдела и его сотрудниками. Многие собирались открыто выступить на летучке, но начальство ее отменило, опасаясь взрыва страстей.

25.II.1964

Ходили с Александром Трифоновичем к Лесючевскому по поводу книги Щеглова. Лесючевский опоздал к назначенному часу, мы ждали в приемной. Приехал, извинился и пригласил в кабинет. Поначалу все шло хорошо (он хотел еще замазать неловкость нашего ожидания). Я сказал, что комиссия по наследию Щеглова, которую мы представляем, настаивает на включении в сборник статей о «Русском лесе» Леонова, о современной драме, а также просит включить некоторые не бывшие в первом издании рецензии. Он согласился на рецензию о повести С. Антонова.

«Русский лес» тоже уступил, правда с оговоркой, что Твардовский еще должен об этом поговорить в ЦК. На статье же о драме застряли: «безысходная картина положения в советской драматургии» и т. п. (В действительности-то его волнует, что там критикуются Корнейчук, Софронов и Штейн.)

Сначала мы искали аргументы. Твардовский сдерживался, как мог, но в конце концов вспылил. «О каких пустяках мы спорим! Почему критик не может писать то, что думает? Вы не верите партии, хотя говорите, что защищаете ее интересы, не верите советской власти, если думаете, что она пошатнется от издания такой книги... Жалкий вы человек!» — и пустил напоследок по-русски, чего я даже не ожидал. «Пойдемте, Владимир Яковлевич!» — провозгласил он и сам толкнул дверь, не прощаясь с растерянным Лесючевским. «Ноги моей больше тут не будет»,— прибавил он и прошел сквозь строй испуганных просителей и потрясенных секретарш величественно, как Несчастливцев в «Лесе». Я следовал за ним, подобно Аркашке.

На лестнице он остановился, страшно бледный, прислонился к перилам и схватился за сердце. «Я бросил с ним разговаривать,— пояснил он,— когда увидел, что это бесполезно. Не удивляйтесь, что я полыхнул. Что бы мы ни говорили, какие бы неотразимые доводы ни приводили, он будет упираться. Когда-то в моем сборнике он выкинул четверостишие из стихотворения „Новая земля". Я унес рукопись и напечатал полностью в „Молодой гвардии". Теперь он всякую книгу, какую я рекомендую, задерживает и с пристрастием „и з у ч а е т". А ведь Грибачева небось не изучал».

Постепенно (почему-то мы спускались с 10-го этажа пешком), идя по лестнице, он успокоился и уже с юмором, правда довольно ядовитым, говорил: «Лесючевский объяснялся с нами так, как если бы где-то в углу за нашим разговором незримо наблюдал товарищ Снастин. И Снастин бы его, разумеется, одобрил, даже если бы существа дела не понял. Глядя на нас, он увидел бы, что „те двое" что-то сомнительное „протаскивают", а Лесючевский „дает им отпор"».

В редакции разгром — вот-вот должны переехать в новое здание. Книги, папки с рукописями увязываются, складываются в мешки. Н. П. Бианки хлопочет, волнуется, как мы рассядемся по комнатам в новом помещении.

Марьямов пошутил: «Последний акт „Вишневого сада" в по-

становке Бианки». И даже свой Фирс у нас имеется, которого невзначай могут забыть, старушка Ксения Гавриловна, которая поит нас чаем.

Забегал в редакцию Б. Яковлев. Он был почему-то на секретариате СП, где разбирался вопрос о фальшивке в «Дружбе народов» — сфабрикованном читательском письме против поэмы «Теркин на том свете». Александр Трифонович был очень огорчен этим.

Сегодня был у Твардовского дома на Котельниках.

Он сокрушался, что зря пропустили без отзыва в нашей критике повесть Чаковского, надо бы сказать, чего она стоит.

Александр Трифонович решил принять приглашение в Ленинград на читательскую конференцию и зовет меня.

Снова говорил о впечатлениях от депутатского приема. «Если пойду к Хрущеву — буду говорить о наших бесчеловечных законах. Ведь у нас нарушается даже правило „закон обратной силы не имеет". Если наказание увеличивают, это распространяется на всех ранее осужденных».

Говоря о журнале, Твардовский вспомнил слова Ленина, кажется из «Что делать?»: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому берегу, крепко взявшись за руки...» Мне и самому почему-то вспоминался этот образ.

26.II.1964

Твардовский прочитал стенограмму секретариата СП, который был в его отсутствие и где обсуждалась выходка «Дружбы народов» против его поэмы. Огорчился и обиделся. Написал письмо, где требует дезавуировать фальшивку не кабинетным обсуждением, а в печати же.

С утра переезжали в новое здание. Это неподалеку, в проезде Скворцова-Степанова, за кинотеатром «Россия». Говорят, когда-то там была монастырская гостиница.

Жаль расставаться с прежними стенами, кабинетом, где вечно гудел наш табор. Было шумно, неудобно, двери всегда настежь, люди входили и выходили, поговорить наедине было негде — а что-то, право, было в этом хорошее...

4.III.1964

Приехали «Стрелой» в Ленинград — на встречи с читателями. Вообще-то Твардовский не любит, но тут его уговорили. Кроме нас с Дементьевым он взял в поездку Софью Ханановну (Минц).

Уже с утра, пока оформляли номера в «Европейской», нас окружила в вестибюле большая группа студентов пединститута им. Герцена — уговаривали выступить у них сверх нашей программы. Твардовский отказался.

Продолжительно завтракали в обществе Л. Плоткина и Е. Наумова, ленинградских профессоров, приятелей Демента и его соавторов по школьному учебнику литературы. От них узнали, что на ленинградских подмостках уже с неделю бушует «Юность» с Беллой Ахмадулиной в качестве примадонны. Трифоныч смеялся, что

нам, дабы выдержать конкуренцию, придется на эту роль выпустить СофьюХанановну, а он для нее «женские стихи» напишет.

К вечеру отправились в Выборгский дом культуры, где назначено первое выступление. Народ валом валит, мы думали на нас, а оказалось, в соседнем зале дает представление труппа Аркадия Райкина. Испугались было, не оставит ли он нас без публики. Но зал, длинный, как сарай или вокзальный ангар, был битком набит, стояли по стенам и в проходе.

В президиуме с нами были Д. Гранин, В. Шефнер, О. Берггольц, председательствовал круглый, лысый Прокофьев *. Каждого из нас встречали дружными аплодисментами и овацией — Твардовского. По его условию на встрече должны были по преимуществу выступать читатели, а редакторы их выслушивать. И, надо сказать, были дельные, резкие высказывания. Многие взяли сторону «Нового мира» в полемике с «Октябрем» и стали клеймить кочетовский журнал. Прокофьев ерзал, сидя как на угольях, и то и дело призывал наэлектризованный зал к порядку.

Овацией встретили Бурковского **, в котором узнали кавторанга из солженицынской повести. Зал встал, когда он вышел говорить, и долго хлопали стоя. Он вспоминал о лагере, в котором сидел вместе с Солженицыным, говорил о правдивости этой повести.

Потом выступал Твардовский, хорошо говорил о журнале, о читателе как части журнала, активно воздействующей на его дух. Ольга Берггольц читала стихи. Я говорил о критике и о мемуарно-документальной прозе (были об этом записки). Кто-то вскочил в зале и требовал сейчас же, немедленно, принять обращение к Комитету по Ленинским премиям, чтобы премия была присуждена Солженицыну. Зал захлопал, загудел одобрительно. Прокофьеву с трудом удалось это отвести — ссылками на иной характер вечера.

В перерыве — мы стояли с Твардовским в комнатке за кулисами — подошел человек, назвался представителем райкома партии и сказал: «Вы не находите, Александр Трифонович, что конференция пошла как-то косо — вас захваливают, ругают другие журналы... Надо что-то сделать, чтобы выправить положение». Потом еще какие-то официальные люди вились, суетились в кулуарах вокруг Твардовского, а он отшучивался: «Не следует придавать значения экспромтным выступлениям, это лишь мнение одного или другого читателя, и не всякое же лыко в строку... К тому же есть различие письменной и устной речи — бывает, скажется погрубее, чем написали бы на бумаге».

Перерыв кончился. Прокофьев, на правах председательствую-

---

* Прокофьев Александр Андреевич (1900—1971) — поэт, в то время глава Ленинградской писательской организации.

** Бурковский Борис Сергеевич — начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», капитан 2-го ранга в отставке — прототип кавторанга Буйновского в повести «Один день Ивана Денисовича». Об этом было широко известно благодаря статье о нем В. Паллона «Здравствуйте, кавторанг», опубликованной в «Известиях» 14 января 1964 г.

щего, пытаясь переменить тон собрания, вдруг надулся, стал еще круглее, побагровел и начал выкрикивать что-то о двух оскорбительных анонимных записках, которые он получил из зала, и в них такое... такое... что он не может их прочесть. Зал примолк, но он тщетно пытался припугнуть и скомпрометировать аудиторию. Много доброго было еще сказано о журнале, а некоторым из-за позднего времени уже не могли дать слова. Нас плотно окружили после конца вечера и еще что-то договаривали на лестнице и у дверей.

Прокофьев пригласил всех нас к себе ужинать. У него роскошная квартира на Кронверкском, был накрыт царский стол. Среди его гостей, кроме Твардовского и нас с Дементьевым, были «кавалерственная дама» из Горисполкома, драматург Борис Чирсков * с женой, Чепуров и еще кто-то из прокофьевского окружения.

Еще по дороге, в машине, на вопрос Твардовского, Прокофьев передал содержание двух записок, которыми он пугал. Первая: «Вы, Прокофьев, здесь председательствуете и славите „Новый мир", а все в Ленинграде знают, что вы реакционер и кочетовец». Твардовский его утешил: «Ну что ты, Саша, обижаешься. На такое внимания нельзя обращать — это же явная глупость. Если бы еще Кочетова назвать „прокофьевцем"... А то тебя — „кочетовцем"... явная нелепость». Во второй записке Прокофьеву предлагалось, «если он не двуличный человек», встать и пожать руку мне, как автору статьи о Солженицыне. Только-то и всего?

Угощали и ублажали нас у Прокофьева по первому разряду, но общество было пестрое, и какая-то фальшь витала над столом. Твардовский провозгласил тост за здоровье Солженицына и, видя, что не встречает у хозяина большого энтузиазма, иронически уговаривал его: «Ведь ты, Саша, даже внешне похож на Никиту Сергеевича, все об этом говорят. А Хрущеву повесть Солженицына нравится. Неужели ты не дорожишь хоть отчасти и внутренним сходством?» Видно было, что за столом многие приняли этот тост неохотно и выпили через душу. Прокофьев несколько раз заговаривал со мной: «Я не со всем в вашей статье согласен». Я отвечал ему в тон: «Хорошо, Александр Андреевич, значит, хоть с чем-то согласны».

Разошлись под утро, добрались до гостиницы, и я сразу свалился в постель.

5.III.1964

С утра, по приглашению Бурковского, были на крейсере «Аврора». Он водил нас по кораблю, объяснял хорошо и дельно. Я впервые уяснил, что «залп» «Авроры» — это выдумка газетчиков и лизоблюдов-стихотворцев, потому что был не залп, а одиночный

* Чирсков Борис Федорович (1904—1966) — кинодраматург, лауреат Сталинской премии. Рассказывали, что свою пьесу «Победители», которая принесла ему известность, он написал в лагере и благодаря ей вышел на свободу. Когда я его знал, он уже ничего нового не писал, исправно выпивал-закусывал и прекрасно пел старые казачьи песни.

выстрел, да и то холостой *. Белышев, первый комиссар «Авроры», даже в газетах 1918 года опровергал «буржуазную клевету», что пушки «Авроры» разбили скульптуры над фасадом Зимнего дворца. Главная реальная заслуга «Авроры» в восстании та, что вопреки приказу Временного правительства она не дала развести Николаевский мост, и по нему с Петроградской стороны прошли отряды рабочих.

После «Авроры» Твардовский поехал к своему другу Македонову, а я вернулся в гостиницу. Вечером у нас второе выступление — во Дворце искусств на Невском.

К 7 часам мы были там. За кулисами полно незнакомых лиц, какое-то волнение, возня вокруг того, как вести вечер. Мы хотели, чтобы председательствовала Ольга Берггольц, и она соглашалась. Но тут какие-то люди из горкома, райкома стали уговаривать Твардовского и нас: не надо ее выпускать, вдруг она «что-то напутает». «А список читателей, собирающихся выступить, есть?» — поинтересовался Дементьев. «Есть, есть...» — «А можно его посмотреть?» — «Да он лежит на столе, на сцене». «Тогда нечего волноваться,— сказал Демент.— Ольга Федоровна начнет, предоставит кому-нибудь из нас слово, потом читатели выступят...»

Когда мы вышли на сцену под ослепительные юпитеры, расселись за маленьким круглым столиком с микрофоном, оказалось, что в списке выступающих... два человека. Как мы потом поняли, остальных выбросили как неблагонадежных — еще неведомо что понесут... Испуг триумфального вечера в Выборгском дворце культуры заставил местных руководителей сильно суетиться, опасались нового литературного скандала вокруг опального журнала.

Берггольц начала свою речь с воспоминания о днях блокады, когда на домах, выходивших фасадами на Невский, были намалеваны надписи: «Граждане! Эта сторона улицы особенно опасна при артобстреле». «У нас в гостях „Новый мир", и похоже, что сегодня особенно опасна эта сторона улицы... Мы ничего не боялись в войну, так чего же мы боимся сегодня?»

Мы все, не исключая Твардовского, выступали на этот раз кое-как, без вчерашнего энтузиазма. Твардовский только хорошо сказал, отвечая на записку об И. Эренбурге и критике его Хрущевым: «Худо ли, хорошо ли, но он единственный из людей своего поколения, кто решился рассказать о прожитой им эпохе. Федин, скажем, на это не решился. Но почему-то хотят, чтобы Эренбург

---

* Эта история имела свое продолжение. В. Кардин писал тогда для нас статью о фальсификациях А. Кривицкого в истории двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев. Вернувшись из Ленинграда, я рассказал В. Кардину о «залпе» «Авроры» и советовал ему расширить материал статьи. Статья «Легенды и факты» получилась яркой и задиристой, принесла автору известность, а журналу кучу неприятностей. Самым огорчительным было то, что письмо против статьи В. Кардина, напечатанное в журнале «Огонек», было подписано, помимо других, и... Б. Бурковским! Он опровергал то, что сам же нам и рассказывал. О, времена! О, нравы!

забывал то, о чем он хочет вспомнить, и вспоминал то, о чем хочет забыть».

Оба выступивших и, видно, заранее хорошо подготовленных читателя умеренно критиковали «Новый мир». Из зала бросали отдельные реплики, никто выступить не решился. Вечер закончился стремительно, за какой-нибудь час. (Накануне сидели четыре часа и еще многие не успели выступить.)

Едва мы вышли за кулисы, как местный распорядитель поволок нас в актерский ресторан, усадил за столик, отделенный от зала легкой ширмой, и сам исчез под каким-то предлогом. Настроение у всех было смутное, отравленное, и оставалось только выпить. Ольга Берггольц читала свои тюремные стихи, и так расшевелила Твардовского, что он сам прочел (чего обычно в застолье не делает) что-то из своей лирики. Потом сказал: «Я стал бояться писать стихи. Мне все теперь кажется так дурно, так дурно... ну, почти как у Степы Щипачева».

Успели вернуться в гостиницу только за вещами — и на вокзал, на ночной поезд. Мы с Твардовским оказались в разных вагонах.

А утром на московском перроне я встретил похмельного, опухшего Трифоныча. Его шатало от бессонной ночи, водки и с опозданием сознанной обиды. Он вцепился мне в плечо и повторял одно: «Вы поняли, вы поняли, что вечер нам с о р в а л и?»

13.III.1964. Подписан к печати № 3.

В номере:

В. Розов. В день свадьбы. Драма.

В. Липатов. Чужой. Повесть.

А. В. Горбатов. Годы и войны. (Страницы воспоминаний.)

Стихи Назыма Хикмета, С. Маршака.

Статьи В. Шкловского, А. Нинова, Ф. Светова.

Рецензии Е. Стариковой, С. Наровчатова, Б. Сарнова, З. Паперного, И. Роднянской и др.

14.III.1964

В журнале все спокойно, если не считать малой, но досадной оплошности Кондратовича. Позвонил Поликарпов и с негодованием обрушился на журнал: почему в 3-й книжке не освещена годовщина «исторических встреч» Хрущева с творческой интеллигенцией. (Другие журналы дали.) Кондратович ответил, что редколлегия решила напечатать передовую в апрельском, четвертом номере — в связи с годовщиной Ленина, и там уж заодно поговорить обо всем. Все было бы нормально, но тут у него вырвалась неловкая фраза: «Не каждый же месяц молебен служить». Услышав эти слова, «дядя Митя» впал в истерику, угрожал Кондратовичу и не принял никаких его уверений и запоздалых оправданий. «До чего же вы дошли... Ну, вы за это ответите!» — пригрозил он. Алеша ходил бледный, помятый и говорил, что, кажется, сильно подвел журнал. Не знает, как сознаться Твардовскому.

Но все, кажется, обошлось.

16.III.1964

Был в университете. Там разыгрался смешной эпизод. На Ученом совете, по инициативе кафедры советской литературы, собирались разносить мою статью. Поручили Н. А. Глаголеву, как надежному специалисту по поискам «ревизионизма» и всяческой крамолы. Но, видно, с ним заранее не поговорили, чего от него хотят, рассчитывая на «классовое чутье» старого закаленного бойца. А он, к ужасу Метченко, битый час говорил с кафедры о достоинствах моей статьи, которая показалась ему «методологически совершенно правильной». Намеченная «проработка» сорвалась.

Твардовский просил навестить его в санатории. В Барвихе он размещен роскошно, в люксе с отдельным ходом. Когда мы проходили с ним зимним садом, где в красивых креслах сидели ответработники в пижамах, забивающие козла, он сказал, указывая на лысины: «Мои герои», и процитировал из «Теркина на том свете»: «...дорогих часов не тратьте для загробной той игры».

Повод к разговору, для которого он меня вызвал, был пустяковым: что-то раздражило его в статейке П., он собирался выговорить за это мне. Я отвечал, что единственный действительный недостаток этой статьи, достаточно ядовитой, в некрупности предмета насмешки. Наш рецензент инстинктивно летит на падаль, на то, что хоть и смердит, но уже не может укусить. Твардовский рассмеялся и инцидент был исчерпан.

Другое, о чем ему хотелось со мною говорить, так это о повести Солженицына, о которой он задумал большую статью для «Правды». «Я хочу написать об оценке его разными по своим понятиям людьми совершенно открыто, поставлю все точки над „i“, чего вы еще не могли сделать». Ну что ж, исполать ему.

Александр Трифонович разговаривал тут с В. С. Лебедевым, и тот опять сочувственно говорил о Солженицыне и выслушивал сетования Твардовского, что «безответственные люди могут завалить его в Комитете». В. С. напомнил, что Хрущев высоко оценил и художественную сторону вещи — «волчье солнышко» и т. п. «Ильичев не использует своих возможностей,— сказал Лебедев.— Как бы он мог сейчас вести искусство — широко, свободно».

Слушая все это, я еще раз спрашивал себя: что это, лицемерие или близорукость? А Твардовский легко обольщается. Он доверчив, хочет верить в доброе.

Здесь же, в Барвихе, Маршак. Заходили к нему на минуточку. Он слаб, жалок. Огорчается за сына, которому в его НИИ навязали долдона-начальника.

Вернулся в город и вечером еще успел заехать в Союз писателей на собрание критиков. Витийствовал в пользу Солженицына Ф. Кузнецов, а А. Коган, думая, что я отсутствую (я пришел, когда заседание началось, и незаметно сел у дверей), бранил мою статью, чего никогда бы не сделал в глаза, говорил, что я «оскорбил читателей». Заглянуть бы ему в те письма, которые я получаю каждый

день и которые поддерживают меня вопреки дружной газетной травле.

22.III.1964

Как прихожу в редакцию, уже сидят двое-трое ожидающих меня посетителей. И чаще всего это просто читатели с разговорами о статье, вокруг Солженицына. Приходил А. Г. Мискин, который прежде прислал письмо, советовался, писать ли ему воспоминания. «Нам многое вернули, мне дали квартиру, пенсию, но кто вернет мне жизнь?» — говорил без всякой рисовки он, семнадцать лет проведший т а м. Рассказывал, как сидел в карцере, каменном мешке, где окна были без стекол, один переплет прутьев, и хоть дело было на Кавказе, а зимними ночами стоял там страшный холод... Был еще сегодня какой-то грузин, который говорил, что ему стыдно сказать детям, где он пропадал во время войны и после нее. Сейчас его восстановили в партии, дали работу, а какое-то пятно осталось. «Дочка спрашивает: а где твои ордена, если ты был на фронте? Я солгал, сказал, что наградные листы затерялись. Сейчас, мол, еду в Москву, все буду выяснять».

С неделю назад Твардовский просил меня сказать несколько слов по телевидению о Солженицыне — будет передача о кандидатах на Ленинскую премию, и представлять их должны те издания, какие выдвигали. Готовясь к выступлению (всего-то минут на пять), заново и не без любопытства просмотрел редакционную почту по «Ивану Денисовичу». Выясняется такая особенность: сначала отрицательных писем было все же довольно много, последнее время — почти нет. Не начинает ли ломаться консервативный стереотип даже у тех читателей, для которых повесть Солженицына по открытости своей правды еще вчера была немыслимой, невозможной? Со временем привыкают и прочно зачисляют в классики.

А от телевидения нет подтверждения — или забыли? Впрочем, сейчас все зыбко. Я слышал, что на радио сделали, «на всякий случай, вдруг будет премия», полную запись повести Солженицына в чтении автора. Председатель Гостелерадио Харламов похвалил, сказал, что подумает, когда пускать,— и умолк.

Твардовский дал мне «Другие берега» В. Набокова. Занимательно, язык особый. Есть рассказы совершенно мастерски написанные, но не без снобизма. Очень заразительно, разжигает желание самому писать.

Из верстки «Трибуна читателя», подготовленной для № 4, 1964 г.

ЕЩЕ РАЗ О ПОВЕСТИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

«В № 1 журнала „Новый мир“ за 1964 года была напечатана статья В. Лакшина „Иван Денисович, его друзья и недруги“. Статья вызвала много читательских откликов. Лишь за первые недели нами получено свыше шестидесяти писем, а отклики на статью все продолжают поступать.

В письмах читателей, естественно, идет речь не только о статье В. Лакшина, но прежде всего о самой повести А. Солженицына, выдвинутой на соискание Ленинской премии.

Как и следовало ожидать, „друзей“ у Ивана Денисовича и повести о нем оказалось среди читателей много больше, чем „недругов“. Лишь в трех письмах тт. Н. А. Чебунина (Архангельск), Л. А. Меерсона (Гомель) и работника пединститута И. Мишина (Армавир) поддерживается та точка зрения, что Иван Денисович — герой „нетипичный“, „ущербный“ („Сявка, а не человек“,— как пишет И. Мишин), сама же повесть изображает жизнь однобоко и сильно „перехвалена“ критиками.

В нескольких письмах — тт. В. М. Алексеева (Ленинград), юрисконсульта Н. Перкова (Москва), инженера И. Линецкого (Ленинград), Н. Г. Мартьянова (Минусинск) — содержится высокая оценка повести, однако авторы полемизируют с отдельными положениями статьи В. Лакшина. (Письмо Н. Перкова публикуется нами.)

В подавляющем же большинстве писем — таких свыше пятидесяти — читатели выражают уверенность в том, что повесть Солженицына по своей идейной и художественной значимости достойна Ленинской премии, и поддерживают ее характеристику в статье В. Лакшина.

Читатели М. М. Байков (Архангельская обл.), Эйно Киуру (Петрозаводск), кандидат технических наук Е. Суханова (Москва), сельский учитель Н. С. Ершов (с. Андреевка, Кемеровской обл.) и другие полемизируют с выступлением „Литературной газеты“ — „Общий труд критики“ (20 февраля 1964 г.), считая данную там оценку статьи В. Лакшина бездоказательной и необъективной.

О своем весьма положительном отношении к повести А. Солженицына и согласии со статьей В. Лакшина пишут нам В. П. Васильев (Краснодар), комсомольский работник В. Тихов (Омск), М. П. Новиков (колхоз им. Дзержинского, Воронежская обл.), профессор Ленинградской консерватории Л. А. Баренбойм, инженер-экономист А. Барановский, рабочий кинофабрики „Мосфильм“ В. С. Скоробогатов, О. Н. Ривкина (Магадан), военнослужащий В. Д. Горин (Московская обл.), преподаватель техникума Э. А. Паккер (Москва), И. Д. Волков (Таллин), Е. Гринберг (Бендеры), Л. В. Николаева (Харьков), учитель Н. С. Умнов (с. Соседка, Пензенской обл.), артист О. Н. Сталинский (Львов), биофизик К. С. Трингер (Москва), В. Н. Новиков (Тула) и другие товарищи.

Публикуя ниже некоторые из этих писем, редакция выражает свою признательность всем читателям, приславшим нам свои отклики».

«Дорогие товарищи! На страницах наших журналов и газет идет большой разговор, вернее сказать, голосование о полюбившейся мне, как и многим, повести т. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“. Хорошо понимаю, что мой голос рядового читателя весит очень мало, и все-таки не могу остаться безучастным. От всего сердца голосую „за“.

№ 11 журнала „Новый мир“ за 1962 год я ожидал в Смоленске томительно, потому что из откликов уже знал о помещенной в нем повести. Наконец-то журнал поступил. Что творилось у киосков, трудно представить. Отделения Союзпечати засыпали просьбами дополнительного тиража. И вот повесть прочитана.

Когда я перевернул последнюю прочитанную страницу, был так взволнован, что единственное сказанное мною было: „Вот это да!“

А в это время восстало из пережитого то десятилетие, один день из которого описал Солженицын. Так ярко, так правдиво, так волнующе и некрикливо, нисколько не искажая истины и ничего не придумывая и не преувеличивая, мог описать незамысловатый быт лагерника только большой художник.

Когда у меня поулеглось первое впечатление, я через некоторое время опять вернулся к повести и перечитал ее уже спокойно. Но и тут я не нашел ничего такого, что не соответствовало бы правде (...)

Полностью присоединяю свой голос к высказыванию т. В. Лакшина: „Нет, чем дольше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо ей было появиться“.

А. Ковалев,
Смоленск».

«Я совершенно согласен с В. Лакшиным в той части, что первое произведение А. Солженицына явилось в какой-то степени эталоном для сравнения последующих его произведений. И если говорить откровенно, то я с большим волнением и каким-то внутренним переживанием за автора взялся за два рассказа А. Солженицына в первом номере „Нового мира“ за 1963 год. Эти рассказы, а затем „Для пользы дела“ убедили меня, что наша литература пополнилась талантливым художником высокой гражданственности.

Когда читатель взволнован, когда он долго не может прийти в себя и когда в нем возбуждаются чувства большой ответственности за свои поступки и за свою деятельность, то в этом случае, на мой взгляд, произведение достигает своей цели.

В итоге я хочу выразить огромное удовлетворение выдвижением повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“ на соискание Ленинской премии. Автор этого произведения достоин, несомненно, столь высокой оценки своего труда.

А. М. Леонков, доцент Белорусского
политехнического института, г. Минск».

«Хотелось бы дополнить мнения профессиональных критиков некоторыми соображениями рядового читателя, однако довольно близко знакомого с описанными в повести людьми и обстановкой по своему восемнадцатилетнему пребыванию в этой обстановке в годы 1937—1955-й.

Некоторое недоумение вызывает самая постановка вопроса по отношению к Солженицыну как автору „Одного дня Ивана Денисовича“, так и к самой этой повести. Как сторонники, так и не сторонники присуждения Солженицыну премии за его повесть в своих оценках главное внимание заостряют на центральном персонаже повести Иване Денисовиче и том, что является его сущностью как „работяги“ во всех случаях жизни. А отсюда и спор в той или иной степени у всех критиков повести: можно ли рассматривать Ивана Денисовича героем повести, народный ли, общенародный ли он герой?

Оценка повести в такой плоскости дает возможность некоторым недругам не столь Ивана Денисовича, сколь всей повести в целом отвергать значение всего произведения и оспаривать его право на премию.

Но ведь дело-то в конце концов совершенно не в Иване Денисовиче, сущность вещей здесь не в том, народный ли Иван Денисович характер или не народный, может ли он считаться общенародным характером или нет. Не это же главное...

Тема законности как основы человеческой культуры — это главная тема повести.

Показав с исключительной реалистичностью и правдивостью всяческие беззакония, творимые над беззащитными людьми, Солженицын в то же время показывает нам, что называется „от противного“, какой абсолютной ценностью в человеческом обществе является законность, как люди должны ее беречь, не допускать подмены закона „усмотрением“, того, чтобы „закон был выворотным“.

Вот на чем, мне кажется, надо заострить внимание при обсуждении повести Солженицына, а не на технике кладки кирпича и пафосе труда у Ивана Денисовича и других заключенных, как это делает подавляющее большинство обсуждающих повесть профессионалов-критиков и писателей.

Надо хорошо помнить, что труд в лагере — это труд невольников, он дан им в наказание и очень тягостен и по своим повышенным нормам и объемам. Он может быть оправдан только как необходимость самосохранения, так как, как бы он ни был тяжел в каторжных условиях, он все же был для многих единственным способом спасения, если им не злоупотребляли в смысле перевыполнения норм, в погоне за большой пайкой.

Н. Перков,
юрисконсульт, Москва».

«Я просто читатель, к литературе имеющий отношение только как читатель. Я во всем согласна с автором статьи. То, о чем пишет т. Лакшин, совершенно то, что я почувствовала, читая повесть. И как неправы те критики, которые обвиняют Ивана Денисовича в том, что основное в его поведении было желание выжить. Не выжить, а выжить и остаться человеком — вот главное.

Выжить и остаться человеком вопреки всему злому и несправедливому, что обрекло его жить в этих нечеловеческих условиях, где администрацией лагеря делалось все, чтобы убить в людях человеческое. Я невольно вспоминаю страшную ленинградскую зиму 1941—1942 гг., вспоминаю свои мысли и чувства в то время. Ведь мы, ленинградцы, тоже жили с мыслью выжить во что бы то ни стало, выжить назло немцам, выжить вопреки всему: и голоду, и холоду, и отсутствию света и воды, и бомбежкам, и обстрелам. Выжить и остаться человеком. Ведь у нас „дистрофиками" обзывали не тех, кто был дистрофиками,— а тех, кто терял человеческий облик, становился таким, как „шакал" Фетюков. И я помню, как я больше всего на свете боялась стать „дистрофиком". Не цинги, не опухших ног я боялась, а того, что не смогу отвести глаза, когда другой ест.

И я считаю, что надо иметь большое мужество, идейность, нравственную силу большую, чтобы выжить и остаться человеком...

Солженицын показывает, что человек, если он настоящий человек, а не „винтик", остается человеком всегда, в любых условиях, и не пойдет ни на какие компромиссы с совестью. Сердечное спасибо ему за это.

Л. Гольцева,
Ленинград, автобаза тяжеловозов».

25.III.1964

Цензура остановила и рассматривает под лупой «Трибуну читателей». Задержана и повесть Ю. Бондарева.

26.III.1964

Бондарева подпишут при условии нескольких купюр и переделок. Смятый, расстроенный (ему очень хочется поскорее напечатать «Двоих»), Юра приходил советоваться — не слишком ли его изуродовали.

Приезжал в редакцию Твардовский — нервен и не в духе. Его осаждают ходатаи за Бродского, молодого ленинградца, обвиненного в тунеядстве. Требуют, чтобы он вмешался и помог. Дело постыдное, но Бродский ему не знаком, как поэт не близок — и он колеблется...

Сказал, что все его мысли о Солженицыне, над статьей о котором он работает. «Хочу написать ее, не вдаваясь в подробности полемики... с птичьего полета».

Дементьев рассказал, что встретил в ЦК А. М. Румянцева, редактора «Проблем мира и социализма». Тот подтвердил, что они готовят статью в защиту Солженицына «от правооппортунистической критики». Все члены редколлегии читали и поддержали статью. Но в № 4 (к голосованию в Комитете) они не успеют, только в 5-й. И то давай господь.

27.III.1964

Главлит снимает из подборки писем читателей вставленную нами в последний момент грубую открытку Дорошева, где слишком откровенно высказано суждение недругов Солженицына: достается и Твардовскому, и мне... и Хрущеву, за то, что пропустил в печать. Цензура раскусила, что мы хотим вывести плутни противников Солженицына на чистую воду. Да и вся подборка имеет мало шансов появиться.

«Тов. А. Твардовскому и В. Лакшину

Повесть Солженицына — заурядное, бесталанное произведение, нечто вроде литературного курьеза. Дух горьковского Луки — „движущее" начало „Одного дня...".

Статья В. Лакшина в январской книжке — пухлый опус приготовишки, мало сеченного розгами жизни. Чувствуется приспособленец и эпигон литературных и прочих дёгтегонов.

Первый литературный дебют Солженицына уже на второй день

находился в состоянии патологической кончины. И если „Один день..." и живет до сих пор, то не иначе как по воле непогрешимых „ценителей" и благодаря газетно-журнальной камфаре — что в известной степени оттягивает его клиническую смерть.

Кто не знает, что многое, удостоившееся внимания и похвалы Сталина, выброшено после его смерти в мусорную корзину?!

С уважением

П. Дорошев,
с. Хлюстино, Курская обл.».

31.III.1964

В редакции Илья Эренбург — в мягком, как халат, сером костюме, по-стариковски разговорчивый, сурово-любезный, временами ядовитый.

Приехал он, чтобы благодарить журнал за сотрудничество — несколько торжественно и церемонно — перед концом издания своей книги. (О хрущевских временах он собирается написать, но печатать не рассчитывает.) Говорил, что журнал наш в особом положении. Как единственный свободомыслящий, он не имеет конкурентов, и потому-де мы должны быть широки и терпимы. (Это так, но про себя я прибавил: «но не расплывчаты», иначе, пригревая всех «добрых людей», можно и свою физиономию потерять.)

Эренбург вспоминал о прошлогоднем визите к Хрущеву, когда стал разъяснять ему, что имелось в виду под «мирным сосуществованием в области идеологии», Хрущев прервал его с досадой: «Оставьте это. Я знаю, все это недоразумение». «Вы сам себе цензор»,— сказал Хрущев, когда Эренбург заговорил об издании своей книги.

Два раза, по словам Эренбурга, он заметил на лице Хрущева живое, человеческое выражение. Первый, когда Эренбург упомянул о том, что главная заслуга Хрущева в истории — уничтожение сталинского беззакония. И второй (тень досады и огорчения пробежала по его лицу), когда Эренбург рассказал случай с директором кинотеатра Повторного фильма. Его вызвали в МК партии, требуя объяснений, зачем он пригласил Эренбурга участвовать в демонстрации какого-то фильма,— и с ним случился инфаркт. Это печальное свидетельство живучести атмосферы страха произвело, по утверждению Эренбурга, впечатление на его собеседника.

Немного спустя, рассказывал Эренбург, его пригласил к себе Ильичев. Два с половиной часа уговаривал внести поправки в мемуары «Люди, годы, жизнь» для отдельного издания. (Оно предполагалось в «Советском писателе».) Эренбург отказался менять что-нибудь против журнального варианта, сославшись на слова Хрущева о «самоцензуре». «Может быть, вы тогда не будете против, чтобы к вашей книге написали предисловие работники издательства, например Лесючевский?» — спросил Ильичев. «Это будет для меня как Ленинская премия»,— с форсом ответил старик. «Но вы не боитесь, что вашу книгу будут критиковать в печати?» —

«После критики вашей и Никиты Сергеевича разве чего-либо можно испугаться?» И лицемерная фраза в ответ: «Да, к сожалению, мы не можем оградить вас от критики».

Следствием этой беседы, рассказывает Эренбург, было то, что Ильичев полгода держал на своем столе присланный ему в верстке 2-й том собрания сочинений (там «Рвач» и другие ранние романы) — не отдавал назад, но и не запрещал, просто тянул время.

Покуривая трубку, Эренбург рассуждал о причинах «исторических встреч». По его мнению, их две: 1) попытка примирения с китайскими догматиками; жертва, выброшенная им в идеологической полемике; 2) чья-то сознательная провокация, донос политического свойства на некоторых писателей и художников.

Публикацию у нас 6-й книги обсудили вкратце. Твардовский спорил, главным образом, с главой о Фадееве, просил или переделать, или вовсе снять. Ссылался и на справедливость к покойному, и на личные обязательства прошлой дружбы. (Он видит в Фадееве трагическую фигуру.) Эренбург отвечал в том духе, что как раз не думал унизить Фадеева, а хотел с симпатией объяснить его.

Потом разговор свернул на Солженицына. Выше всего Эренбург ставит «Матренин двор», сравнивает его по силе с чеховскими рассказами. «Иван Денисович» тоже нравится ему, но меньше. «Это мастерски написано, но здесь я знаю, как это сделано, а в „Матренином дворе" не знаю». Я позволил себе не согласиться.

Любопытные вещи рассказывал Эренбург о Раскольникове, Бухарине, с которым был близок. Процессы 1937—1938 годов, признания на них он объясняет действием каких-то лекарственных препаратов, глушащих волю. Эренбург был приглашен на процесс Бухарина в Октябрьский зал Дома Союзов, вглядывался в его лицо (ходила версия, что подставляют двойников). Бухарин был бледен, сильно изменился, но это был он. Незадолго до того он встречал его в Париже, в номере гостиницы. Бухарин при нем писал письмо Сталину («Коба любит переписку»), писал и рвал, говорил, что не понимает, что происходит. Потом, в Москве, в ожидании ареста составил завещание к партии и велел жене выучить его наизусть.

Эренбург говорил с Хрущевым о Бухарине. Тот подтвердил, что он невиновен, но реабилитировать, мол, не пришло время.

Еще до прихода Эренбурга Твардовский молча передал мне рукопись своей статьи о Солженицыне. Буду читать.

Эренбург говорил так много интересного, что я жалел уйти, не дослушав, а мне давно уже было нужно торопиться в телецентр: сегодня мое выступление об «Иване Денисовиче».

ПОПУТНОЕ

Не записал в дневнике, а помню этот вечер отчетливо. Занятый рассказами Эренбурга, я с опозданием выскочил на улицу, с трудом поймал такси и помчался на площадь Журавлева, в телеви-

зионный театр, куда обещал явиться за час до начала. Дело в том, что передача, как в те времена было принято, шла «живьем», сразу в прямой эфир, а режиссер и редактор еще собирались со мной о чем-то предварительно говорить. Я ворвался в студию потный, запыхавшийся, за десять минут до начала. Помню, как бежал по какой-то железной лесенке за сценой, перескакивал через путаницу кабелей. Меня схватила за рукав женщина, оказавшаяся редактором передачи: «Слава богу, вы успели». Спросила: «Ну, вы знаете, что говорить? Лишнего не скажете?» Я с готовностью кивнул.

Стулья стояли полукругом перед камерами, меня усадили предпоследним, в конце дуги — о писателях, возможных лауреатах, условлено было говорить по алфавиту. Сначала шли Гончар, Егор Исаев; Солженицын и Чаковский замыкали список. Меня еще раз предупредили: если у аппарата горит зеленый глазок — изображение идет в эфир, загорается красный — камера отключена. Отдышавшись, я огляделся. Рядом со мной сидели: слева — Ю. Воронов из «Комсомольской правды», представлявший Василия Пескова, справа — Лариса Крячко из «Октября»: она должна была говорить о Чаковском. Каждый должен был уложиться в пять минут, чтобы не отнять время у соседа. Я подготовил небольшой эффект — принес толстую-претолстую редакционную папку с читательскими письмами, откликами на Солженицына. Со спецификой телевидения я был знаком мало, да и телевизора в ту пору дома у меня не было, но я догадался, что «лучше один раз увидеть...» Текст был мною заготовлен заранее, но я не читал, а пересказал его.

Недавно я нашел черновик в домашнем архиве и могу восстановить сказанное:

«Сейчас, когда повесть Солженицына приобрела широкую известность, когда общий тираж ее изданий в нашей стране достиг миллиона экземпляров, когда переводы ее появились в Венгрии, Чехословакии, Италии, Англии, Японии и многих других странах, когда об этой книге написаны десятки статей и рецензий, я частенько вспоминаю ее предысторию. Вспоминаю, как в редакции „Нового мира“ года два тому назад мы с волнением читали густо исписанные на машинке со слепым выпадающим шрифтом страницы небольшой рукописи, имя автора которой никто не знал. Рукопись пришла, что называется, самотеком, в потоке других рукописей, ежедневно получаемых редакцией. Но то, что написал вчера еще никому не известный учитель из Рязани, было так ново, необычно, исполнено такого внутреннего достоинства и силы, такой натуральной, неприкрашенной правды, что стало ясно: в литературу приходит новый большой художник, писатель, как говорилось в старину, „милостью божией“.

Рукопись читали редакторы журнала, и прежде всего А. Т. Твардовский, сразу же очень высоко ее оценивший, читал К. А. Федин, читали друзья и ближайшие сотрудники журнала — С. Я. Маршак, К. И. Чуковский и другие писатели. Мнение было единодушным: мы имеем дело с незаурядным явлением. Свой отзыв о повести,

приложенный к рукописи, Чуковский озаглавил, помнится, „Литературное чудо“.

Повесть касалась очень острых вопросов, относящихся к поре культа личности. И нам было дорого, что она нашла поддержку в Центральном Комитете КПСС.

О повести Солженицына много писали — появились сочувственные рецензии в „Правде“, „Известиях”, „Литературной газете“. Нашлись, впрочем, и такие критики, которым не понравился главный герой повести — Шухов. Я подробно говорил об этом в статье „Иван Денисович, его друзья и недруги“, и сейчас вряд ли нужно к этому возвращаться. Замечу только, что Солженицын, на мой взгляд, вправе ответить критикам, требующим от него героя — всяк на свой вкус и образец, известными словами Толстого: „Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда“.

Эту правду повести Солженицына высоко оценили многие читатели, приславшие и продолжающие присылать к нам в журнал свои отклики. Редакция и автор получили более тысячи писем. Тут и почтовые открытки с кратким приветствием, и целые трактаты с разбором повести. Письма, по тону своему глубоко личные, доверительные, и коллективные послания, подписанные десятками читателей... Письма тех, кто на собственной судьбе испытал участь Ивана Денисовича, и тех, кто только вступает в жизнь с верой, что партия не допустит ошибок и преступлений прошлого... Письма рабочих, инженеров, ученых, библиотекарей, старых коммунистов.

Одну из папок с этими письмами я захватил с собой в студию. Лишь в немногих письмах содержатся упреки автору, и главным образом, по поводу не слишком изысканно звучащего лагерного жаргона. Подавляющее большинство писем — свидетельства сердечной благодарности писателю.

Вот строки из них:

«Совсем недавно я прочел книгу „Один день Ивана Денисовича“,— пишет рабочий Юсупов из Башкирии.— Каждую строчку перечитывал по два раза, не верилось! Это сама жизнь... Спасибо Вам за правду».

«Воины признательны мужественному писателю-гражданину за сильное, утверждающее творчество,— обращается в редакцию солдат Советской Армии Петр Обыночный.— „Один день...“ читают, передавая из рук в руки. Это не мода, как умудряются утверждать некоторые, а настоящая любовь и признание полезной, волнующей вещи. Повесть достойна Ленинской премии».

«Повесть вызывает у читателя много горьких, тяжелых дум,— пишет группа старых коммунистов, член КПСС с 1916 г. т. Будкова, член КПСС с 1917 г. т. Посталовская, член КПСС с 1920 г. т. Ковалева и другие товарищи.— Сердце буквально обливается кровью при чтении ее, но не безысходность сковывает мысли — радость, гордость наполняют душу за то, что нет такой силы, ко-

торая растоптала бы человеческое, что глубоко заложено в советском человеке».

Геологи Северо-Западного геологического управления (письмо это подписали сорок человек) пишут: «Мы считаем, что по уровню литературного мастерства повесть „Один день Ивана Денисовича“ может быть поставлена в один ряд с лучшими образцами русской литературы. Это позволяет нам рассматривать ее как вечный памятник всем безвинно погибшим в период культа личности — от выдающихся деятелей партии и государства до безвестных Иванов Шуховых. Вот почему мы считаем повесть заслуживающей столь высокой награды, как Ленинская премия».

На этом суждении, разделяемом большинством наших читателей, можно и закончить. С надеждой и терпением будем мы ожидать справедливого решения Ленинского комитета».

После того как я, намеренно значительно глядя прямо в глазок камеры, произнес последнюю фразу, начала было говорить о романе Чаковского Лариса Крячко. Она не сразу обратила внимание, что зажегся красный глазок, а осветители стали сматывать провода,— и говорила, говорила, пока ей не дали понять, что время передачи давно исчерпано, и ее слова не идут в эфир. Получилось, что я завершил обсуждение эффектной точкой.

На следующее утро на телевидении начался переполох — грозные звонки, вызовы «на ковер». Хрущев в то время где-то путешествовал. Его обязанности в Москве исполнял Леонид Ильич Брежнев — случилось так, что он смотрел эту передачу дома, в вечерний час, и она сильно его задела. Он хорошо помнил, как Хрущев вынуждал его, вместе с другими товарищами по Президиуму ЦК, одобрить эту сомнительную повесть. Возмущенный, он позвонил председателю Гостелерадио Харламову: «Мы еще ничего не решили с Ленинскими премиями, а телевидение уже присудило ее Солженицыну». Харламов пробовал возражать, что это, мол, лишь обсуждение общественности, никакого давления на Комитет телевидение не имело в виду оказывать. «Как же,— возразил Брежнев,— ваш критик объявляет единственно справедливым присуждение премии Солженицыну, и делает это, к недоумению телезрителей, в конце передачи, как ее итог».

Харламов получил выговор, а когда, заодно с Хрущевым, после октябрьского Пленума его снимали с должности, ему припомнили, как мне рассказывали, и эту историю. Моя же фамилия попала в некий «черный список», и 14 лет, вплоть до 1978 года, я не появлялся больше на телеэкране.

Этот маленький эпизод, как и вся история борьбы вокруг выдвижения Солженицына на Ленинскую премию, отражал падение влияния Хрущева в партийном аппарате: с его мнением переставали считаться, против него вызревал заговор. «Разговоры о том, что необходимо сместить Хрущева, начались где-то в начале весны 1964 г.,— свидетельствовал недавно один из участников заговора, бывший Председатель КГБ В. Е. Семичастный.— По-моему,

инициатива исходила от Брежнева и Подгорного» («Аргументы и факты», 1989, № 20).

Разумеется, в писательской среде об этом не догадывались, но падение влияния Хрущева чувствовалось в том, что его литературные оценки уже можно было оспорить, и противники Солженицына сильно осмелели.

1. IV. 1964

К. Буковский * заходил, чтобы выяснить, какое впечатление оставила его статья в «Литгазете», где он походя бранит меня и Солженицына за пренебрежительное отношение к «красилям», крестьянам, торгующим на базаре ковриками с лебедями. Даже если бы он был прав, сейчас его полемика некстати. Я напомнил ему слова Герцена, что не надо подсвистывать, когда жандармская тройка уже готова тронуться в Сибирь. А потом — защита чистого «экономизма» только в первую минуту кажется чем-то серьезным. Нет мостика от экономики к политике, а без этого все ерунда.

Сегодня допоздна сидели с Твардовским и Дементьевым над статьей А. Т. о Солженицыне. Он собирается просить Ильичева, чтобы статью печатали в «Правде», «а не то безответственные люди могут проголосовать на Комитете против Солженицына».

Дементьев защищал от автора Цезаря Марковича, зато высказывался в пользу «протеста», считая не бессмысленной и не бесцельной выходку кавторанга на лагерном плацу. Чтобы убедить нас, вспомнил, не совсем к месту, декабристов. «Вы либерал, Александр Григорьевич,— парировал Твардовский его возражения.— Вы готовы сказать: ссылайте нас, сажайте нас, но... на законном основании».

В статье Твардовский издевается над фразой: «У нас зря не сажают». Дементьев предлагал выкинуть это рассуждение как общее место. «Нет, эта фраза не умерла,— настаивал Твардовский.— Помяните мое слово, мы ее еще услышим». Дементьев предлагал также убрать или смягчить резкий выпад против людей, которые глухи к страданиям тех, кто прошел лагерь, к этой боли.

Я держал, понятно, сторону Твардовского. Шум стоял страшный, и, когда мы кончили со статьей и вышли из кабинета, Софья Ханановна из-за своей машинки посмотрела на нас с испугом.

У меня были вечерние занятия в университете, но, проспорив три часа кряду, я позвонил, чтобы студенты не ждали. Твардовский поздно уехал в Барвиху. Дай бог ему бодрости духа!

---

* Буковский Константин Иванович, отец будущего литератора-эмигранта Владимира Буковского — яркий и желчный публицист, писавший в «Литературной газете» и в журналах главным образом на темы, связанные с сельским хозяйством. В пору, когда я его знал, он старался не примыкать ни к каким литературным лагерям, выступал нечасто, но остро и смело, порой бравируя, впрочем, вызовом «либерализму» «Нового мира».

7—8. IV. 1964

В Комитете по премиям открытое голосование по секциям — определяют список для тайного голосования. Твардовский не упускает возможности высказаться за Солженицына. «Трудно ввязаться в драку,— говорит он,— а раз ввязался, дальше уже легко». По секции литературы Солженицын при первом голосовании не проходил. За него по преимуществу писатели из республик — Айтматов, Гамзатов, Наир Зарьян и другие. Но секция театра и кино неожиданно проголосовала за Солженицына в полном составе. А. В. Караганов «упропагандировал» даже Фурцеву.

На пленарном заседании Твардовский встал и сказал: «Я прошу оставить Солженицына в списке для тайного голосования, потому что это тот случай, когда каждый должен проголосовать „за“ или „против“ наедине со своей совестью».

Трифоныч рассказал, что в пятницу, после заседания, пошел в гости к Расулу в гостиницу «Москва» и насмерть разбранился с А. Прокофьевым из-за дела Бродского. «Где же это слыхано,— сказал он Прокофьеву,— чтобы один поэт помогал посадить другого поэта».

Добро всегда связано по рукам, а у зла свободные руки.

Из статьи «Высокая требовательность»
(«Правда», 11 апреля 1964 г.)

«В нашей редакционной почте много писем посвящено повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“.

Как и следовало ожидать, повесть эта по-разному воспринята разными читателями. Есть письма, в которых „Один день Ивана Денисовича“ характеризуется только положительно, и авторы их одобряют выдвижение повести на соискание Ленинской премии. И есть письма, в которых столь же определенно высказывается противоположная точка зрения, повести выносится целиком отрицательная оценка. При чтении и тех и других писем сразу обращает на себя внимание односторонность во взгляде на разбираемое произведение, авторы таких писем в полемическом запале не заботятся об объективности своих суждений, о точности доводов и оценок. Но таких писем немного.

Объективное читательское мнение о повести А. Солженицына, несомненно, выражает третья, самая большая группа писем. В них ведется серьезный, по-хозяйски строгий и взыскательный разговор о путях развития советской литературы, содержится глубокий и беспристрастный анализ произведения, определяется его место в ряду других, созданных и опубликованных в минувшем году. Эти письма наглядно демонстрируют, какой зрелой и квалифицированной стала критическая мысль массового читателя, как выросли его эстетические вкусы и запросы.

Отмечая бесспорные достоинства повести, отдавая им должное, авторы писем указывают на ее существенные недостатки, проявляя высокую требовательность, живейшую заинтересованность в повышении идейно-художественного уровня нашей литературы. Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положитель-

ной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии.

Приток таких писем особенно усилился после появления за последнее время рецензий и статей, где хорошему и полезному произведению писателя давались явно завышенные оценки, настойчиво подчеркивалось, что оно бесспорно достойно самой высокой награды.

Большинство наших читателей отмечают, что в свое время о произведении А. Солженицына было сказано в нашей печати немало добрых слов. Но эта справедливая поддержка никак не означает, что все в повести безоговорочно хорошо, что она может служить высоким образцом, чуть ли не эталоном литературного творчества».

11. IV. 1964

Ждали Твардовского в редакции. Он приехал из Комитета, молча прошел в кабинет. Я за ним: «Забаллотировали?» «А как вы думали?» — раздраженно ответил он. Потом немного отошел, стал рассказывать. Сегодняшняя статья в «Правде», как я и понял, приурочена к последнему голосованию, и несколько подготовленных ораторов жали в своих речах на то, что голосовать за Солженицына — значит идти против воли партии. И все-таки 20 голосов было «за», «против» — 50.

Аргументов противники Солженицына не искали. Все то же — «не тот герой», и дело с концом. «Я глядел на них,— говорил Твардовский,— и видел: случись что, и все мы, полным составом редколлегии поедем в живописные места. У таких, как Г-в, ненависть брызжет».

Подтверждается, что одной из причин появления статьи в «Правде» было мое выступление по телевидению. Брежнев вызывал Харламова и дал ему выговор. Криминал ищут во фразе: «С надеждой и терпением будем мы ожидать справедливого решения...» Жалкая придирка. Но К. Буковский уже бросил мне ядовитый упрек, что я навредил Солженицыну. Стало быть, защищать от напраслины — значит вредить?

Твардовский рассказал о выходке комсомольского вождя С. Павлова на Комитете. В своей речи он сказал, что Солженицын был репрессирован не за политику, а по уголовному преступлению. Твардовский крикнул из зала: «Это ложь!»

В тот же день А. Т. связался с Солженицыным и по его совету официально запросил документ о реабилитации в военной коллегии Верховного суда. Сегодня, едва открылось заседание, он объявил, что располагает документом, опровергающим сообщение Павлова. Павлов имел неосторожность настаивать: «А все-таки интересно, что там написано». Тогда Твардовский величавым жестом передал бумагу секретарю Комитета Игорю Васильеву и попросил огласить. Васильев прочел текст от начала до конца хорошо поставленным голосом. Весь красный, Павлов вынужден был сознаться, что «пригвожден».

Документ в самом деле удивительный, я читал его сегодня. Обвинение в антисоветской деятельности строилось на том, что,

переписываясь на фронте с приятелем, Солженицын осуждал некоторые действия Верховного Главнокомандующего, а заодно бранил книги советских авторов за поверхностное описание жизни.

К вечеру в редакцию зашел Гамзатов. Рассказал, как Фурцева выговаривала ему: «Товарищ Гамзатов притворяется, что он маленький и не понимает, какие произведения партия призывает поддерживать».

12. IV. 1964

Критика наша имеет точные функции. Мих. Светлов забавно сказал о Ермилове: «В каждой деревне есть такой человек, к которому идут, когда надо петуха или свинью зарезать». В последний раз он резал И. Эренбурга.

Некоторые читатели моей статьи спрашивают: откуда я знаю лагерь, будто там побывал? Откуда? Да ведь книга Солженицына не о лагере только, а о жизни вообще, и мало кто не найдет в своем опыте сходного — войны, больницы, тюрьмы.

Забыл записать: забегал на днях Солженицын. Говорит о премии: «Присудят — хорошо. Не присудят — тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше».

13. IV. 1964. Подписан к печати № 4.

В номере:

Ю. Бондарев. Двое. Повесть.

Ион Друцэ. Последний день осени.

А. В. Горбатов. Годы и войны.

Стихи Э. Межелайтиса.

Статьи А. Шарова и А. Аникста.

Рецензии Ю. Буртина, О. Лациса, Е. Дороша и др.

В передовой статье «По ленинскому пути» (написана М. М. Кузнецовым совместно с А. Г. Дементьевым) один примечательный абзац: «Надо прямо сказать, что есть еще люди, которые с нескрываемой неприязнью относятся к повестям, кинофильмам, поэмам, в которых с суровой, горькой правдой рассказывается о культе личности и его последствиях. Можно поэтому понять, как дорога поддержка, которую оказал Центральный Комитет партии и лично Н. С. Хрущев таким произведениям».

14. IV. 1964

Пришел утром в редакцию, поднялся наверх — Твардовский довольный, веселый: в Комитете прошло тайное голосование, и всех претендентов — конкурентов Солженицына, забаллотировали. «Отвели Солженицына,— комментировал эту новость Твардовский,— так нате вам: он всех за собою в прорубь и утянул». «Не зря, выходит, мы с вами витийствовали»,— сказал он мне.

Рассказывают, что накануне был прием в Кремле, где среди приглашенных оказалось несколько актеров и кинодеятелей — Баталов, Ромм. Они подходили друг к другу, как заговорщики, и передавали, будто пароль: «Лучше меньше, да лучше». Это месть людей, которым не дали проголосовать по совести.

К 4 часам дня, после перерыва, Твардовский поехал в Комитет подписывать протоколы. Его не было долго, вернулся он крайне расстроенный. Заставили-таки переголосовать! Ильичев дал команду, и Н. Тихонов * стал объяснять смущенно, созвав всех: «Комитет молодой, недавно назначенный, работает несогласованно. Если премия по литературе не будет вовсе присуждена — нас не поймут. Надо заново проголосовать за тех, кто немного недобрал голосов». В результате проходят Гончар с романом «Тронка» и журналист В. Песков. Об Е. Исаеве, правда, речи не было, он собрал ничтожное количество голосов.

Твардовский пытался выразить протест по поводу нарушения процедуры — но все было напрасно, результат был предрешен. Еле живой от усталости и расстройства Твардовский сказал, что поедет домой, не дожидаясь результатов тайной баллотировки. Говорил потом, что многие демонстративно, не глядя, сворачивали бумажки и бросали их в урну — нате, мол, вам, если не даете голосовать по совести.

15. IV. 1964

Заходил Солженицын. Взял у меня верстку «Театрального романа». О Булгакове говорил, что это одна из основ современной русской прозы.

Я рассказал ему о письмах, которые получаю. Он просил адрес женщины из Ленинграда, написавшей страшные подробности о «командировке» на Колыме. Говорил, что считает важным, что к повести возвратились в связи с премией, много спорили, шумели — «все это не зря, это неплохая распашка общественного сознания».

Заговорили о К. Буковском, который упрекал меня, что я «подвел» Солженицына своей статьей, устроил классовую борьбу в лагере между «работягами» и «придурками»... «Подождите, В. Я.,— отозвался Солженицын.— Мы им еще такую классовую борьбу дадим... Я сейчас пишу одну вещь...»

Твардовский пригласил на чаепитие с бубликами в честь Солженицына и оказавшегося тут же М. А. Лифшица. А. Т. бодр, оправился после баталий на Комитете, хотя и не очень весело оценивает перспективы. Рассказал, что редакционная статья «Правды» появилась в отсутствие редактора П. А. Сатюкова (пока он путешествовал в свите Хрущева по Венгрии). И когда он вернулся, В. С. Лебедев, едучи в машине с аэродрома, говорил ему о событиях вокруг Солженицына: «Если бы вы были здесь, этого, должно быть, не случилось...» Но вообще-то многое в этой истории не ясно. Идет какая-то темная закулисная работа. «Наплывает и застывает, наплывает и застывает»,— как выразился А. Т.

17. IV. 1964

Забегал в редакцию Гамзатов. Веселился, смешил, благодарил, балагуря, «за заботу о малых народах». Не без самоиронии

---

* Тихонов Николай Семенович, поэт (1896—1979) — в то время председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям.

пародировал застольного оратора: «Нам понравилась ваша природа, ваши горы и ваши леса, ваши города и ваши поселки, но больше всего нам понравились ваши лю-у-у-ди». Снова вспоминал, как на него накинулась Фурцева — за поддержку Солженицына: «Товарищ Гамзатов притворяется наивным или хочет прослыть у кого-то героем...» «Во всяком случае, я не голосую сегодня за одно, завтра — за другое»,— отвечал будто бы Расул.

Егор Исаев защищал себя до последнего, уже рискуя прослыть смешным: говорил, что не все положительные отзывы на его поэму учтены в Комитете.

18. IV. 1964

Обед в редакции в честь А. Г. Дементьева — ему 60 лет. Кроме своих редакционных — Айтматов, Гамзатов, Ю. Бондарев, Л. Плоткин из Ленинграда. Твардовский говорил в своем тосте: «Сейчас журнал оказался на передней линии огня, и в этом счастье всех нас и Александра Григорьевича».

Накануне заходил Солженицын, вернул «Театральный роман». Говорит: «Какая грустная книга! Это, пожалуй, горше „Мольера“. Сначала так смешно — с вечеринкой литераторов и цензурой („не пропустят!“), а потом так невесело становится...»

Он хотел везти с собой А. Т. в Рязань, читать там ему роман, но тот не сможет, пожалуй, ехать.

О письмах читателей Солженицын повторил, что им цены не будет, надо их сберечь, чтобы они хранились копиями в разных местах, а то, не дай бог, пропадут.

Рассуждал: «Революционный вихрь перемещается с Запада на Восток: сначала Западная Европа, потом Россия, затем Китай... Хорошо, что мы уже не в эпицентре».

В Москве он работает теперь в квартирке Валентина Маликова на Хорошевке, где и я когда-то имел приют. На днях Маликов рассказывал мне: у Солженицына страшные головные боли, но он глушит себя лекарствами и не отходит от письменного стола. В доме быстро поняли: не надо злоупотреблять его вниманием. Если поговорил с ним лишние пять минут, чувствуешь, как внутри у него что-то «щелк» — и он отключается. Маньяк утекающего времени, он боится не успеть написать, что задумано.

Был Евтушенко со стихами, хвалился, что написал поэму в пять тысяч строк. Рассказывал, что его пригласили выступить в городке космонавтов под Москвой. Торжественно привезли, доставили чуть не на сцену и внезапно отменили выступление. Некто Миронов, заведующий отделом ЦК, сказал: «Чтобы духу его там не было». Обратно машины не дали, и Евтушенко по лужам отправился к станции, сел на электричку и вернулся в Москву. Это все отголоски «исторических встреч».

27. IV. 1964

А. Т. с увлечением говорил о книге Якубовича-Мельшина «В мире отверженных», сравнивал ее с «Мертвым домом» Достоев-

ского и повестью Солженицына. «Вот бы вам написать такую статью-триптих!»

Но прочитанный им недавно дневник Байрона его разочаровал. «Якубович — это к н и г а. Я всегда знаю, где у меня в библиотеке собрания сочинений и прочее, чего я никогда не буду читать, а где к н и г и. Такие вот книги для меня — «Письма из деревни» Энгельгардта, Веселовский об Иване Грозном» *.

С номером неприятности. Цензура остановила рассказ И. Меттера. Звонил Г. из отдела культуры и рекомендовал не печатать. В военной цензуре застрял Горбатов. Смущают картины отступления, критика приказов Москаленко, потом то место, где упоминается Вильгельм Пик и передан разговор с Маленковым.

Вычеркиваем помаленьку, портим вещь. Сняли, к огорчению генерала, то место, где он нелестно отзывался о своем командующем: «Это не командарм, это — бесструнная балалайка». Горбатов очень настаивал, что так оно и было, что слова свои он помнит точно. Сверхнаивно — что до того цензуре?

28. IV. 1964

По случаю выхода четвертой книжки с началом записок Горбатова были с Сацем, Кондратовичем, Герасимовым в гостях у генерала.

По дороге, пока шли бульваром, Сац говорил о Некрасове. На днях Твардовский повздорил с ним, сказал что-то обидное об очерках «Месяц во Франции». (Упрекал записки Виктора Платоновича в бессодержательности, легковесности.) Сац всегда его защищает перед Твардовским, может быть, по долгу дружбы, тем более преследуемого сейчас. Но свой литературный счет знает. Говорит: «Это беда Виктора Платоновича, что он временами возвращается к довоенному душевному состоянию. Начинает терять то, что нажил во время войны, ту серьезность, с какой писались „Окопы“». И вспоминает, как дело было: Некрасов работал над повестью не один год. Сначала она называлась «На краю земли», потом «Сталинград». В первом варианте повесть была толще, там много было лишнего, всякая литературщина: и обычные некрасовские рассуждения об архитектуре, и довоенный Киев, и Люся, и кухня в коммунальной квартире, и старый диван с клопами. Первые читатели — Сац и В. Б. Александров — помогали от этого избавиться.

История публикации «Окопов», по словам Саца, такова: Некрасов послал один экземпляр рукописи в Воениздат, другой в Огиз — ему казалось, что это самое главное издательство, а это было всего лишь ведомство — «Объединение государственных издательств». В Воениздате рукопись получил служивший там Женя Герасимов и переправил ее на отзыв Александрову. А Игорю Александровичу прислали второй экземпляр из Огиза. Звонит

* Имеется в виду книга академика С. Б. Веселовского «Очерки по истории опричнины».

ему Александров и говорит: «Знаешь, Игорь, какая удача, попалась в самотеке интересная рукопись».— «Вот как? И у меня находка».— «О чем?» — «О Сталинграде».— «Кто автор?» Так дело и объяснилось. Потом они дали читать Твардовскому — у него не было тогда своего журнала, но он уговаривал Вс. Вишневского напечатать в «Знамени».

Повторил Сац и слышанную уже мной прежде историю, как они с Некрасовым, вспоминая войну, задним числом поняли однажды, что давно знакомы. В Сандомире в 1944 году Некрасов выбежал на площадь с пистолетом и был ранен. Игорь Александрович, в конфедератке (он носил форму офицера польской армии, к которой был приписан), требовал уложить раненого лейтенанта на носилки и отправить в тыл, в госпиталь. А Некрасов в возбуждении размахивал пистолетом, отказывался лечь на носилки и жестоко бранил польского офицеришку...

У Горбатова сидели славно — добряк генерал, жена его Нина Александровна, все разделившая с ним. Две главные мысли, к которым сводятся все воспоминания, рассуждения Горбатова. Первое — что Сталин перед войной загубил кадры армии. Не будь этого, немцы не дошли бы и до Днепра, не то что до Волги. И второе — обида от зряшних, ненужных потерь, которые несла армия, особенно в первый период войны, но и позднее, потому что командиры не умели воевать.

29. IV. 1964

Прочитал переданный мне Твардовским перевод «Процесса» Кафки. Впечатление сильное — неожиданное и гнетущее.

Едва начинается рассказ об этом, по словам фрау Грубах, «не простом аресте, а как бы научном», попадаешь в туман сновидений, полуяви — полукошмара: наваждение канцелярий, дома-призраки гоняются за беднягой К. И страшная мысль, что все приговорены, что полного оправдания не существует, а есть лишь оправдание м н и м о е (временное, зыбкое) и странный порядок, при котором ты должен время от времени с а м навещать своего судью. Боже, как в самом деле похоже это на то, чем мы то и дело занимаемся! Мучительнее всего у Кафки не внешняя несвобода, а внутренняя обреченность.

Гнетущее чувство усугубляется полной абстрактностью обвинения и в то же время железной принудительной его силой. К. пугается, и его пугают, что процесс «трудный». Но ведь ни разу не сказано, что за процесс, в чем там дело, а вместе с тем мы ясно сознаем, что бедняга К. обречен с первой же страницы. «Сопротивляться этому суду бесполезно». «Все имеет отношение к суду».

Существуют какие-то «высшие чиновники», воплощение рока или силы отчуждения, которые насилуют волю людей. Существуют и «стражи»-исполнители. Но подлинный ужас в том, что и с п о л н и т е л я м и этой странной, внешней людям воли становятся и сами жертвы.

Повествование Кафки с его смазанными красками и затягиваю-

щими ритмами подчиняется как бы законам сновидений. Прежде всего, атрофия личной воли, принудительность действий, случайность и вместе предрешенность событий, какая бывает во сне: ты должен почему-то встать, пойти куда-то, куда ты не хочешь идти, заглянуть в провал двери, в черную яму, чтобы увидеть нечто жуткое. Действующие лица Кафки — и так тоже бывает во сне — появляясь, уже таинственным образом знают все, что прежде случилось, им ничего не надо объяснять (когда К. впервые идет к адвокату — тот ни о чем не расспрашивает, ему все заранее ясно).

Можно воскликнуть вместе с Жуковским: «О, не знай сих страшных снов ты, моя Светлана!» Но трудно не признать силу воздействия этой мрачной фантазии. Может быть, ирреальное «сумасшедшее» сознание преломило тут ирреальность самого современного общества — с фашизмом, культом, чертами расовой и классовой ненависти, самоупоенной бюрократией и скрытым под обыденными фразами источником насилия.

30. IV. 1964

В. С. Лебедев организовал на Кузнецком мосту свою фотовыставку. (Оказывается, он не по-любительски увлекается фотографией.) Ходил туда Твардовский, ходил Солженицын, и я по их следу пошел вместе с Хитровым. Дело в том, что там выставлен большой портрет Солженицына, а сейчас это очень кстати и выглядит со стороны помощника Хрущева как п о с т у п о к. Принимая поздравления Твардовского по телефону, Лебедев ответил, что благодарит, но понимает, что выставка не всем должна понравиться. Его уже упрекают, что рядом с Маршаком и Фединым он выставил фотографию Солженицына. «Ну да ничего. Мы еще будем его поднимать».

Хрущев, однако, как бы устранился от литературных дел. Мы протестуем против культа личности, но культ безличности немногим лучше.

Говорил сегодня с Твардовским о Кафке, которого он тоже только что прочел. Он хвалит: «Я думал, будет плохо организованное, как у других модернистов, сочинение. А это так крепко сколочено... Прежде, когда мне говорили, что появилась какая-то статья в чешском журнале, где сравнивают Кафку с „Теркиным на том свете“, я смеялся. Теперь уже не смеюсь... И как он умеет одеть героя! У К. кончик ремешка — вы заметили? — высунувшись, торчал вперед. Больше ничего не надо, герой одет! А это всегда так трудно — одеть героя».

С удовольствием показывал мне эстонское издание «Теркина на том свете» с рисунками. Есть преотличные.

4. V. 1964

Оправившись после майских праздников, Твардовский поехал в Рязань к Солженицыну — читать роман.

7. V. 1964. **Подписан к печати № 5.**

В номере:

Ю. Бондарев. Двое (окончание). Повесть.

А. В. Горбатов. Годы и войны.

Г. Бёлль. Ирландский дневник.

Статья В. Катаняна «О сочинении мемуаров».

Рецензии Б. Рунина, В. Огнева и др.

12. V. 1964

Прочитал статью Ю. Барабаша в «Литгазете». Выискивает у меня «концепцию», «теорию», чтобы потом задушить ею, как удавкой. Набросал ответ.

Из статьи Ю. Барабаша «„Руководители", „руководимые" и хозяева жизни» («Литературная газета», 12 мая 1964 г.)

«Суть дела в представлении В. Лакшина сводится, коротко говоря, к следующему: если в период культа личности наша литература занималась преимущественно изображением „руководителей, организаторов и вдохновителей", то в последние годы, после XX съезда партии, она обратилась к изображению „людей руководимых, организуемых, людей самых обыкновенных".

Первое, что бросается в глаза в подобного рода ужасно „демократичной" схеме развития советской литературы до и после XX съезда, это то, что перед нами именно **схема**. Схема, не выдерживающая сопоставления с живым литературным процессом.

(Далее следуют ссылки на образы, созданные М. Шолоховым, Г. Марковым, В. Кожевниковым, М. Алексеевым, А. Ивановым и др.— *В. Л.)*

Дело, однако, еще и в другом. Вдумаемся в **существо** этой концепции, претендующей на объяснение процессов, происходящих в нашей литературе после XX съезда (...) Еще Белинский саркастически отзывался о том „сермяжно-лапотном мнении", согласно которому „истинная национальность скрывается только под зипуном в курной избе", а „между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-либо похожего на народность". Слова эти невольно приходят на ум, когда сталкиваешься сегодня с утверждением, что „об академиках-селекционерах, о секретарях райкомов, о главных агрономах и директорах МТС" писать „легче", **чем** „об Иванах Денисовичах и тетках Матренах".

(...) Никак не можешь примириться с одним: с попыткой сделать Ивана Денисовича чуть ли не знаменем советской литературы последних лет, воплощением современного народного характера, героем-эталоном, с которым якобы и связано все то новое, знаменательное, истинно живое и народное, что пришло в нашу литературу после поворотного XX съезда партии.

(...) Хозяин и строитель жизни, трудом своим завоевавший право на это высокое звание... Такова наша концепция человека, такова наша концепция народного характера. Теория „руководителей" и „руководимых" находится с ней в глубоком, принципиальном противоречии. Она не так уж безобидна, эта теория. Возникшая как реакция на прежние догмы, она сама отмечена печатью старых, нормативных, догматических представлений о так называ-

емом „простом“ человеке как о „винтике“ и бесконечно далека от действительных процессов, происходящих в советской литературе последнего десятилетия. Об этом надо сказать прямо и решительно».

12. V. 1964

Твардовский просил приехать к нему на Котельническую. Он не выходит из дому, не в форме. Прочел мой ответ Барабашу и сказал: «Не делайте себе иллюзий, это не будет напечатано, но это хорошо, честно написано». Статью Барабаша он читал дважды и возмущен ею. Особенно задевает его, что, воюя с Солженицыным, Барабаш нахваливает мемуары Горбатова — «будто это в другом журнале напечатано». Еще говорил о том, что глупо и недобросовестно противопоставлять Шухову кавторанга и «высокого старика», будто это не того же Солженицына герои, а кем-то другим произведены на свет.

«Он подписывается Юрий Барабаш, вы так его в своем ответе и называйте, как оперного певца. „Юрий Барабаш заметил...“ „Юрию кажется...“» Ему, подписывавшемуся всегда: «А. Твардовский», чудится в этом что-то форсистое, нелитературное. Но эти тонкости мало кто берет в расчет.

Он вышел проводить меня и, зайдя в гастроном на углу, мы выпили по бокалу шампанского. (Обычно он не жалует шампанское, «напиток утренней свежести».) «За правду»,— как-то очень серьезно сказал он, чокнувшись. Вообще-то он редко говорит какие-либо слова в подобных случаях и потому, наверное, пояснил: «Они думают, что правды нет, что о ней так, больше для красоты слога упоминают. А мы-то знаем, что она существует».

С надеждой говорил о покупке новой дачи в одном поселке с Дементом: может, там будет поспокойнее, удастся самому работать хоть немного; устал мотаться все время в журнал.

Говорил и о том, как гнетет его депутатство. (Обычно, когда он едет из редакции на прием, заранее хмурится и невесело шутит: «Ну, поехал раздавать квартиры».) «Иногда думаешь — отказаться бы. Но разве это у нас возможно?»

16. V. 1964

До позднего часа ждали в редакции возвращения Твардовского и Кондратовича с заседания идеологической комиссии ЦК КПСС.

Л. Ф. Ильичев сказал в своем выступлении, что в литературе заметны две тенденции, две крайности, связанные с позициями журналов «Новый мир» и «Октябрь». Одну из них называют иногда прогрессивной, другую — консервативной (в этом месте был голос из зала — «реакционной»). С резким осуждением говорил Ильичев о моей статье, но для равновесия тут же ругнул и статью А. Дремова в «Октябре». Указал на тенденцию «прозаизирования» советской действительности в «Новом мире» и сказал, что отдел критики по-своему логично проводит ту же линию.

В прениях И. Шамякин из Белоруссии возмущался критиками, которые дошли до того, что противопоставляют руководителей и «руководимых». Донос Барабаша принят к делопроизводству, и я еще раз подумал, что неизбежно отвечать ему.

Но настроение у Твардовского не унылое, напротив, он даже весел. «Заготовили,— смеется он,— бо-о-льшую палку на „Новый мир", а длинный ее конец пришелся по „Октябрю"». Ему оказали все знаки внешнего уважения — посадили в президиум рядом с Ильичевым. Заигрывая, Ильичев говорил ему на ухо, что «Новый мир» ему придется слегка тронуть в докладе. Твардовский отвечал, что ничего не имеет против добросовестной, принципиальной критики. Не надо только, скажем, подделывать читательские письма о его поэме, как это сделал недавно В. Смирнов в «Дружбе народов». «Да, это мерзость,— лицемерно согласился Ильичев.— Но не могу же я сейчас, на идеологической комиссии, об этом говорить». Какой политес, какие кругом тонкие натуры, когда не хотят обижать своих.

На совещании снова упоминалось о значении «исторических встреч». Как легко, однако, делают у нас историю! Им кажется, что историческим событие может стать по указке.

Приехавший из Воронежа Троепольский рассказал сегодня, как обрадовались местные руководители оговорке Хрущева, что самостоятельность самостоятельностью, но нельзя, мол, пускать колхозы и на самотек, надо помогать отстающим. Областные и районные начальники говорят: «Еще чего! Так они все захотят стать отстающими... Да что бы они делали, если бы мы их не подтягивали...» Вот реальный уровень демократии.

18. V. 1964

После работы Твардовский зашел ко мне на Страстной бульвар. Мне показалось, он хочет подбодрить меня после выступления Ильичева и кругов по воде, какие пошли от него. Кто-то «в сферах» уже советовал ему: «Да вы освободитесь от Лакшина, и все будет хорошо». Пересказывая мне это, он заметил: «Но вы должны твердо знать, если будет неизбежность, мы уйдем вместе».

Рассказывал, как ездил в Рязань, прожил там два дня. Солженицын не дал ему поселиться в гостинице, забрал к себе и кормил обедом дома. Твардовский сидел и читал рукопись нового его романа, «только очки менял, когда глаза уставали». Читал безотрывно и, по уговору, ничего не говорил до конца чтения. Лишь изредка в его комнатку молча заходил Солженицын за молотком или еще каким-то инструментом (он что-то мастерил в саду). Впечатление А. Т.: это «колоссаль», настоящий роман, какого не ждал прочесть, замечательная книга. О недостатках не стал говорить — «сами увидите».

Твардовский уже сговорился с В. С. Лебедевым, который сказал, что почтет за честь... Да, поглядим, как оно пойдет по нынешней-то погоде... Солженицын просил дать рукопись мне и согласился еще, чтобы читал Дементьев. Просит не спешить с оглаской.

20. V. 1964

Твардовский прочел по верстке Дементьева статью Игоря Виноградова об очерках Овечкина и с его страховочными пометками и вызвал нас для разговора. Были у него и точные замечания, но главное, он пугал Игоря, сам стеснялся, когда начинал говорить то, во что плохо верит, и оттого, как обычно в таких случаях, говорил неубедительно. Уговорились, что поправим кое-что в статье и все-таки дадим ее.

Сегодня навестил редакцию Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Твардовский пылает к нему симпатией и даже бутылочку коньяка припас, кроме обычного чая с бубликами. Старик благодушествовал и шутил: «Как у вас в редакции хорошо, как хорошо... ну, прямо как при Николашке кровавом». Все смеялись, а он вдруг живописно и точно рассказал, как по соседству с его домом на Волге, в Карачарове, скотный двор сгорел.

Рассказчик он редкостный, но воспоминания его о Бунине и Куприне, которые он предложил журналу,— небогаты, и, несмотря на почтительную дружбу, Твардовский их забраковал.

21. V. 1964

Сегодня А. Т. пришел в редакцию с пачкой чужих стихов и просил «малую редколлегию» собраться у него в кабинете — послушать. А чьи — не говорит. После второго или третьего стихотворения, когда мы (Закс, Дементьев и я) выразили одобрение, сказал: «Вот я и думаю — или я в стихах уже ничего не понимаю, выстарился совсем, или тут что-то есть». Стал читать дальше, один листок выкладывая за другим,— и все неплохо, а есть просто отличные строки. «Травы стремленье штыковое...» «Тут и я позавидовал — почему сам не догадался так сказать?» — прокомментировал Твардовский.

Стихи были принесены на московскую квартиру, а Твардовский этого не любит. Нехотя открыл рукопись и увидел — настоящее добро. Автор — некто Прасолов из Воронежа — осужден на четыре, кажется, года, за то, что с похмелья разбил стекло на соседской веранде и закусил лежавшими там сырыми яйцами. Твардовский рассказывал об этом с сочувственным смешком, может быть, и присочиняя подробности по дороге. Принесла стихи девушка по просьбе Прасолова и просила написать ходатайство в лагерь — это поможет досрочному освобождению. Но, конечно, лучше опубликовать стихи, раз они того стоят, и на этой основе ходатайствовать.

С увлечением читая стихотворение за стихотворением, Твардовский комически сердился на скептическое ворчанье Закса: «Не „ничего“, а превосходно. Разве наши эстрадные мальчики так умеют писать? Тут культура видна, автор и Пушкина, и Тютчева знает, а пишет по-своему... Да где вам понять, старые перечницы... К тому же Борис Германович давно у меня на подозрении — он, кажется, задет модернизмом!»

Но все это необидно, со смехом и радостью, что не обманулся.

Вечером ездили к Маршаку, которому не терпелось прочесть

Твардовскому свои новые «лирические эпиграммы». Маршак говорил о власти абстракций, призрачном мире бюрократии. «Иной раз просто теряешь оптимизм»,— страдальчески вздыхал Самуил Яковлевич. Прочел эпиграмму на «Литературную газету» как сомнительное зеркало литературной жизни:

И даже не Хрущев в нем отражен,
А Дмитрий Алексеич Поликарпов.

От Маршака пошли пешком к Котельнической набережной по Яузскому бульвару. Дорогой говорили о нашем визитере — Никите Сергеевиче, который где-то в Швеции загостился. «Как на ярмарку едет,— заметил Твардовский,— недели на две кряду. А белорусская пословица говорит: первый день гость — золото, второй — серебро, третий — медь, со двора едь». Я высказал догадку, что эти путешествия, «охота к перемене мест» — бегство от запутанных домашних дел. Трифоныч согласился.

Ему не терпится, чтобы я прочел роман Солженицына, иначе не с кем о нем говорить, не с кем делиться. Я получил рукопись только вчера, но уже утром он заходил ко мне в кабинет и спрашивал нетерпеливо: «Ну что, начали?»

25. V. 1964

Обсуждали 6-й номер. Складывается туго. От очерков Некрасова Твардовский не в восторге, рассказ М. Пархомова снимает.

Роман Солженицына я начал читать. Интересно, забирает, хотя, по первому впечатлению, жиже, чем «Иван Денисович». Должно быть, впрочем, это оттого, что жанр иной — роман, как говорили в старину, «долгого дыхания».

Заходил Солженицын, снова говорил о читательских письмах и просил из письма Рудиной, которое я давал ему читать прошлый раз, ее адрес, чтобы разыскать Бухарину, о которой она упоминает, и поговорить с ней.

«Вы читаете роман? — спросил он.— А. Т. верит вам, и ваше суждение будет важным. Я с благодарностью приму все частные замечания, но рассчитываю на вашу поддержку в главном. Почему-то уверен, что Александр Григорьевич будет против...» Эта просьба была неожиданно откровенной и лестной для меня.

Твардовский говорил сегодня, что материалы идеологической комиссии публиковаться, по-видимому, не будут. Кто-то разболтал содержание речи Ильичева французскому журналисту, тот напечатал, и на Западе шум о новом завинчивании гаек. Но домашняя проработка идет своим ходом. В Гослитиздате Б. Сучков пересказывал выступление Ильичева и все свел к антагонизму критики «Нового мира» и «Октября».

Мой ответ Ю. Барабашу уже несколько дней в редакции «Литгазеты». Чаковский и Барабаш в разъездах, и я прижимаю А. Тертеряна по телефону, требую ответа, а он изобретательно уклоняется.

26. V. 1964

Читаю роман Солженицына. Нравится, но не все. Главы о Сталине несколько фельетонны.

Сегодня редакцию навестил Джанкарло Вигорелли. Твардовский позвал и Солженицына — хотел свести их. Вигорелли, с его обычной экспансивностью, был в восторге, целовал Солженицына, говорил, что для него счастье познакомиться с ним.

В будущем январе — 40 лет «Новому миру», и Вигорелли предложил издать в Италии к юбилею сборник — антологию журнала. Он предрекает изданию большой успех.

Рассказывал, какой шум стоял на Западе вокруг присуждения литературных премий, и главным образом в связи с Солженицыным. То, что ему не дали премии, обрадовало крайне правых. Те, кто заранее пыхтел: «Еще бы в Советском Союзе дали премию за такую повесть», ликовали. Но не получил Солженицын и премию итальянских издателей, о чем Вигорелли очень сокрушался. В бурном соперничестве с Натали Саррот победила-таки она.

28. V. 1964

Солженицына читаю понемногу — чем дальше, тем шире и удивительней. Главное — откуда такой масштаб, огромный охват мыслей и картин?!

Утром в редакции несколько часов кипели страсти вокруг романа Домбровского, сдаваемого в набор *. Твардовскому, как и всем нам, роман нравится, но он сделал несколько замечаний. Спорили, в частности, о размерах удава, появление которого спровоцировало трагический разворот событий. Твардовскому кажется, что гигантский экзотический удав искусствен, разрушает реальность картины. Но ведь в удаве для автора важный смысл. Можно допустить, что в натуре это была заурядная змейка, но подозрительность и страх, висящие в воздухе и раздуваемые молвою, делают ее сказочным чудовищем. Спорили горячо, пока А. Т. рукою не махнул.

Вечером ходили в гости к А. В. Горбатову — Сац, Твардовский, Кондратович и я. Генерал повторял большей частью то, что говорил и в прошлый раз — о потерях в войне, о разгроме Сталиным военных кадров. Был хорош, гостеприимен. Как-то особенно весел и разговорчив был на этот раз и Твардовский. Они определенно нравились друг другу.

Говорили и о глупости нынешних предписаний в сельском хозяйстве, о бедственном положении деревни — и вполне нашли с генералом общий язык.

Кондратович рассказал, что Ильин **, сам бывший генерал госбезопасности, говорил ему, как огорчен за следователя Столбун-

---

* «Хранитель древности».

** Ильин Виктор Николаевич — секретарь Московского отделения Союза писателей.

ского, описанного Горбатовым. «Ведь он жив-здоров, кажется, еще работает, а ведь из-за этого могут в должности понизить, да и на пенсии отразится»,— сокрушался Ильин. И это о человеке, который бил Горбатова на допросах!

1. VI. 1964

Твардовский пригласил меня пообедать с Вигорелли в «Арагви». Переводчиком был Коля Томашевский.

За столом обсуждался проект новомировской антологии и еще сборник Твардовского, который Вигорелли тоже хочет выпустить в Италии.

В Москву Вигорелли приехал из Киева, где участвовал в торжествах по случаю юбилея Шевченко. Чувствует легкое похмелье от общения с местными литераторами. Его приглашали на обед в честь получения премии Гончаром за «Тронку», но, памятуя об истории с Солженицыным, он отказался.

Твардовский рассуждал о Шевченко, стихи которого в молодости переводил: «Он большой национальный поэт, поэт подлинный. Но он не создал за собой литературы, как, например, Пушкин. Своим песенным народным даром он больше напоминает Роберта Бернса. Может быть, ему одному было суждено пропеть лучшую песню своего народа. Нельзя всерьез считать, что нынешние Б. или Г. наследуют Шевченке».

4. VI. 1964

В «Литературной газете» наконец мой ответ Ю. Барабашу и большая статья «От редакции», где я назван догматиком и антимарксистом.

Из письма «В редакцию „Литературной газеты"»
(«ЛГ», 4 июня 1964 г.)

«Я считал и продолжаю считать, что не просто бестактно, но кощунственно упрекать Ивана Денисовича, отбывающего безвинно восьмой год в бериевском лагере, за то, что он не чувствует себя „хозяином жизни", кощунственно называть трудовых людей, подобных Шухову, „бездумными роботами", кощунственно приписывать Шухову „жертвенность" на том основании, что он оказался ж е р т в о й репрессий периода культа личности.

Таковы мои подлинные представления, и, как легко убедиться, они существенно отличаются от тех, что навязаны мне Юрием Барабашем, обнаружившим в моей статье догматическую „теорию", смыкающуюся с идеологией и практикой культа личности.

Последнее время „Литературная газета" часто призывает к доброжелательности, объективности в спорах, протестует против наклеивания ярлыков, ложной подозрительности и проработочного тона. Я бы прибавил к этому минимально необходимое требование добросовестности в цитировании и изложении взглядов своего оппонента».

Из статьи «От редакции» (там же)

«В чем же, однако, существо вопроса? Смысл статьи Ю. Барабаша — прежде всего в протесте против насквозь ложного разделения советских людей на „руководителей“ и „руководимых“, „организаторов“ и „организуемых“, против своего рода „табели о рангах“. Подобное разделение в применении к советскому обществу является антимарксистским. Оно игнорирует как лежащий в основе социальной структуры социалистического строя коллективизм, так и социальную природу подлинного руководителя ленинского типа, который есть плоть от плоти народа.

(...) Утверждение В. Лакшина игнорирует главные отличительные черты советской литературы, черты, характерные для нее во все периоды ее развития».

9. VI. 1964

Редакцию навестил Фридрих Дюренматт — толстый, благодушный швейцарец с сигарой во рту.

С юмором рассказывал о своей жизни в деревне, на границе французской и немецкой части Швейцарии, о семье, детях. Русскую литературу он знает мало. Из современной литературы почти ничего не читал. Из старой хвалит Чехова, особенно «Степь».

Рассказывал, как один крестьянин, у которого он каждую осень покупает воз картошки и шнапс, спросил его, узнав, что он писатель: «А вы какой писатель? Из головы выдумываете или из других книг списываете?»

11. VI. 1964

Обсуждение романа «В круге первом» на редколлегии.

До начала обсуждения, пока шла вольная болтовня, Солженицын рассказал, как в лагере сочинял стихи — их легче было, заучив наизусть, сохранить в памяти. Однажды записал немного на бумаге — и попался. «Ты что, стихи сочиняешь?» — спросил надзиратель. «Да нет, гражданин начальник. Это „Василий Теркин“ Твардовского. Я его вспоминаю». Смеясь, Солженицын просил Твардовского не сердиться за плагиат.

Все, что говорилось, все наши замечания Солженицын мелкомелко записывал карандашом на листке бумаги — без полей, буковка к буковке. Объяснил, когда кто-то поинтересовался, не навык ли лагерной конспирации? «Нет, просто учился в школе в начале 30-х годов, во времена бумажного кризиса, и на всю жизнь приобрел привычку писать мелко».

Я наблюдал за ним во время обсуждения. Он очень внимательно смотрит на выступающего, не перебивает, временами задумывается и, оторвав карандаш от бумаги, упирает его в лоб.

Открывая обсуждение, Твардовский сказал, что будет приводить всех соредакторов к присяге — каждый должен высказаться и говорить откровенно, что думает о романе, случай крайне важный для судьбы журнала.

Твардовский начал с рассуждения о национальных корнях Сол-

женицына, говорил, какой это р у с с к и й р о м а н. Тревожил тени Толстого, Достоевского. Роман трагический, сложный по миру идей — так что же? Григорий Мелехов в «Тихом Доне» тоже «не герой» в условном понимании. А смысл романа Шолохова — какой ценой куплена революция, не велика ли цена? И у Шолохова читается ответ: цена, быть может, и велика, но и событие великое.

Потом Твардовский перешел к тому, чего, на его взгляд, не хватает «Кругу». Минуя частные замечания (для них еще будет время), сказал: «Хорошо бы кончить роман надеждой. Не то чтобы счастливый финал, но хоть засветить в конце тонкую рассветную полоску...» — и Твардовский крутил пальцами, не находя точного определения. Говорил, что желал бы какого-то выхода из этого подземелья — глотка воздуха, света, надежд.

Потом говорил я. Сказал, что нет сомнения, роман — литературное событие и его надо печатать, хоть и нелегко будет. Говорил о художественной небезусловности для меня изображения Сталина и о точности попадания при описании массовидного обыденного сталинизма. О философии романа. О лирических сценах.

Кисло высказался А. Г. Дементьев. Говорил, что Рубин — карикатура на марксиста. Усомнился в натуральности разговоров и споров на отвлеченные темы в камере. Говорил, что у Солженицына мало хороших людей на воле, а Макарыгин слишком замазан черной краской.

Когда все высказались, отвечал Солженицын, начавший, как школьный учитель: «Друзья!» Прежде всего он заметил, что, на его взгляд, роман оптимистический, грубо говоря, за советскую власть, а по способу письма противостоит западному модернистскому роману. «А. Т. удивлялся, что я поехал с ребятами на велосипедах в поход, вместо того чтобы прибыть на сессию Европейского сообщества писателей в Ленинграде. Но я не мог ехать туда рассуждать на тему, умер ли роман, когда готовый роман лежал у меня на столе».

Отвечая Дементьеву, Солженицын говорил, что с симпатией писал Рубина (в нем находят черты Л. Копелева, былого сотоварища Солженицына по камере,— в самом деле похож). Защищал правомерность спора зэков о гражданских храмах. «В тюрьме вообще много спорят — это особенность тюрьмы. Наивна елка в „шарашке“? Да нет, я еще не показал (а это было), как взрослые мужчины плясали вокруг елки, сцепившись за руки, как пели: „В лесу родилась елочка...“»

Защищаясь от упреков, Солженицын говорил, что видит в своей книге немало положительных героев на воле. Дементьев не прав, когда находит, что в тюрьме все хороши в романе, а на воле — сплошь негодяи. А как же Клара, Володин, девушки в общежитии? (Над ними Солженицын еще хочет поработать.)

Перейдя к моим замечаниям, согласился, что слово «культ», отнесенное к личности, скорее псевдоним массовой психологии. О Сталине сказал: «Сейчас еще слишком мало достоверного о нем известно, но автор имеет право догадываться. Я угадывал все эти замочки

на графинах и прочее — и, может быть, угадал верно. Вот Абакумов: я рисовал его по рассказам о нем, по догадкам, а теперь люди, которые с ним работали, встречались, подтвердили мне, что это точно, и не хотят верить, что я ни разу в жизни его не видел».

На слова Дементьева о том, что Макарыгин, может быть, не так уж и виноват, зачем он в романе так зачернен, Солженицын отвечал с большой убежденностью: «Так, может быть, Александр Григорьевич,— никто не виноват? Макарыгин не виноват. Надзиратели тоже не виновны, они на службе. Еще менее виноват конвой. Не виновны и следователи — им приказали. Откуда же зло?»

Да, это старый вопрос, знакомый нам еще по «Воскресению» Толстого. И ответа два: «никто не виноват» или «все виноваты». Солженицын явно склоняется к последнему. Мораль «нет в мире виноватых» не подходит ему.

Не помню уж в связи с чем, Солженицын заметил: «В музыке больше всего люблю Чайковского. Если бы мне сказали, что в мире останется только одно произведение, я выбрал бы 6-ю симфонию, хотя Бетховен, казалось бы, должен быть мне ближе».

В конце обсуждения я завел разговор о договоре с автором — не надо бы откладывать. Б. Г. Закс, ведающий этими делами, обиделся на меня, что, мол, слишком много на себя беру, и выговаривал мне в своей каморке. Но так или иначе, а дело сделано — договор заключаем.

13. VI. 1964. Подписан к печати № 6.

В номере:

Ефим Дорош. Дождь пополам с солнцем.

Анна Ахматова. Из трагедии «Пролог, или Сон во сне» (с послесловием А. Синявского).

Повести и рассказы Е. Ржевской, Е. Герасимова.

Стихи М. Светлова, Кайсына Кулиева, А. Яшина.

Статья И. Виноградова «Деревенские очерки В. Овечкина».

Рецензии А. Македонова, А. Лебедева, И. Борисовой.

ПОПУТНОЕ

Этот номер, как и соседствующие с ним, был сильно разорен цензурой. Из номера сняли очерки Виктора Некрасова «Месяц во Франции». Несколько ранее цензура отказалась подписать в печать «Театральный роман» Мих. Булгакова.

17 июня А. Г. Дементьев ходил объясняться в Отдел культуры ЦК, к Д. А. Поликарпову, по поводу очерков Некрасова. У меня в архиве сохранился экземпляр верстки, переданный из Главлита в отдел, а позже возвращенный в редакцию Дементьевым — он весь разрисован жирным красным и коричневым карандашами. Сейчас порой даже трудно понять, какими соображениями, относившимися к сфере бдительности или суеверного страха, руководствовался цензор, расчеркивая верстку невиннейшего путевого очерка. Просто, наверное, слишком свежа была память о том, что предшествующие

опыты Некрасова в этом жанре вызвали гнев Хрущева и окрики в печати. Так зачем же опять о своих путешествиях — не за старое ли берется? Цензура была начеку.

Большой красный знак вопроса был поставлен рядом с абзацем, в котором сообщалось, что на лотках вдоль набережной Сены можно купить ордена — от розетки Почетного легиона до ордена Красного Знамени. Обратило на себя внимание цензора замечание Некрасова, что ни в одной стране он «не видел такого количества карикатур на президента, как во Франции». В этом улавливали намек на условия печати в Советском Союзе. Характерны были отчеркивания в реплике бывшего белого офицера, эмигранта: «А мы не народ? Или народ, по-вашему, только вы? Нас, русских, в рассеянии около двух миллионов». Любой вид сочувствия или просто интереса к эмигрантам казался предосудительным. Четыре черты на полях и огромный вопросительный знак сопровождали рассуждения Некрасова о запрете дуэлей при кардинале Ришелье, с чем, впрочем, не считались мушкетеры. Опасный намек находили в следующем пассаже: «Мы более дисциплинированные, мы запрета не нарушаем, а иной раз ох как хочется. Бросил бы перчатку: „Завтра в шесть утра, у Новодевичьего. Выбор оружия за вами...“ Поводы нашлись бы...» Кого это, интересно, собрался вызывать на дуэль Виктор Некрасов?

17. VI. 1964

Были с А. Т. у Маршака. Он перевел Твардовскому письмо Чарльза Сноу. Радовался статье в «Таймс» о своей книге «В начале жизни», показывал, как хорошо ее издали в Англии.

Ужина не получилось, потому что домоправительница Розалия Ивановна была не в духе, и Маршак объяснял, смущаясь: «Немцы говорят в таких случаях — в доме „большая стирка“. Когда „большая стирка“ — все ходят злые, раздраженные, все вверх дном, и никого нельзя ни о чем просить».

Жадно расспрашивал нас о новом романе Солженицына. Я рассказал, что на днях в редакции Твардовский читал нам стихи никому не известного поэта (Прасолова), и они совсем недурны. «Зачем же вы мне их не привезли?» — мгновенно отозвался Маршак, хотя сам ничего не читает, не видит из-за катаракты.

Уговаривал меня писать статью о детской литературе — возмущался сочинениями для детей М. и Б.: «Ведь они и языка русского как следует не знают. Можно ли давать это детям?» Я напомнил, что он сам покровительствовал М., и Маршак смущенно покачал головой. «Иногда не знаешь, как дело обернется... Несколько лет назад какой-то человек прислал письмо, спрашивал, как я отношусь к народному творчеству. Я подумал, чей-нибудь аспирант любознательный, смотрите, интересуется молодежь, написал ему подробно, на многих страницах. А потом выяснилось, что это был критик Дымшиц, и он всюду этим письмом теперь машет... Мог ли я предполагать, что это окажется Дымшиц?»

Из окна С. Я. видны одни городские крыши, рядом пыльно-шум-

ное Садовое кольцо, а за город его и в разгар лета не заманишь — не может без людей, без разговоров...

6. VII. 1964

Мог ли я думать, что больше не увижусь с Маршаком!

В конце месяца летал с женой погостить в Таллин. Спустя неделю возвращался самолетом в Москву, благодушно откинулся в кресле с газетой: в глаза бросилась траурная рамка — умер Маршак. Едва успеваю на похороны.

9. VII. 1964

Похороны на Новодевичьем. Потом Твардовский, Гамзатов, Дементьев и я поминали старика на открытой веранде в «Праге», под полотняным навесом. Чтобы не пересахарить, я вспомнил что-то смешное о нем и, видно, сказал неловко, продолжая тему, начатую А. Т. Расул насупился, как буйвол, и сердито сказал: «То, что может говорить о Самуиле Яковлевиче Твардовский, нам говорить не следует». Он прав. «Ради красного словца...», а я ведь искренне горюю о нем.

10. VII. 1964

Твардовский включил меня в состав комиссии по наследию Маршака и сам вошел в нее, но уклонился от того, чтобы быть председателем. «Пусть предложат Михалкову, он не откажется». Было первое заседание в Союзе писателей, в зале секретариата. Когда заговорили об увековечении памяти, Л. Кассиль сказал, что надо бы назвать пароход его именем. И прибавил странную фразу: «Если бы дело касалось меня, я ничего другого не желал...»

ПОПУТНОЕ

Перечитывая сейчас эти строки, не могу не вспомнить, что спустя шесть лет умер Кассиль, и я вздрогнул, прочитав вскоре в «Литературной газете» известие о том, что его именем назван корабль одного из морских пароходств. Не надо искушать судьбу.

17. VII. 1964

Заходил ко мне журналист из Югославии Михайло Михайлов. Довольно бесцеремонный и вертлявый, сказавший еще по телефону, что говорит из квартиры Эренбурга и очень просит принять его сегодня же, а на всякий случай предупреждает, что бояться его не надо — он член Союза коммунистов. Все это мне мало понравилось, но я дождался его и говорил с ним уже под вечер. Тейяр дю Шарден, Конст. Леонтьев, В. В. Розанов — его боги. Он расспрашивал меня о журнале, о Солженицыне, о моей статье. Не понимает, что за добродетель «выжить» у Ивана Денисовича. Новейшая философия внушила ему, что стоит погибнуть за идею, и это выше, чем выжить. Неожиданное продолжение темы солженицынского кавторанга.

Год спустя я прочитал изданные во многих странах очерки М. Михайлова «Москва, 1964», с которых, кажется, и начались его злоключения: процесс над ним, годы тюрьмы, потом эмиграция на Запад.

В очерках Михайлова специальная главка была посвящена нашей беседе. Он передал ее довольно лояльно, хотя с позабавившими меня журналистскими подробностями. Пытаясь обрисовать собеседника, он заявил, что по всему внешнему виду и манерам я напомнил ему меньшевика, деятеля II Интернационала. И заметил, что я очень торопил разговор, стремясь поспеть «на свою виллу». (В самом деле, я боялся опоздать на электричку, шедшую в Мамонтовку, где моя семья снимала на лето две комнаты с террасой у рабочего Акуловского гидроузла.)

Очерк Михайлова был поставлен мне в счет как поддержка со стороны ревизионистов.

20. VII. 1964

Твардовский пьет, работает мало. Часто ему (как и мне временами) является стыдная мысль: а может, хорошо, коли бы журнал закрыли, нас разогнали, и на свободе мы могли бы жить без этого высоковольтного напряжения и писать. Это тот род тайных, нехороших мыслей, в которых признавался, озоруя, ходя по краю, Толстой: не думаете ли вы иной раз — хорошо бы ваша любимая жена вдруг умерла и вас освободила? То же с журналом.

Думал: мы все хотим выделить добродетель в чистом виде, но в чистом виде она не живет. Воздух состоит из азота, водорода и кислорода. Дышать только азотом или водородом — нельзя. Но и кислородом в чистом виде дышать вредно — легкие сгорят. Или вода: нельзя сказать — давайте оставим только O, а H_2 удалим,— это уже не вода будет. Только целое живет органической жизнью. Это я думал в связи с Толстым, обычным определением его «противоречий», слабостей и ошибок. Без них и Толстого, того, чем дорожим в Толстом,— нет.

22. VII. 1964

Твардовский прочел поэму Гамзатова (антисталинскую) и говорил о ней в редакции. Мне читать не дает — стихи его привилегия, да в этом случае еще и обязательства дружбы с Расулом. Бранил перевод, может быть, отчасти, чтобы облегчить себе отказ. К тому же Гамзатов уже показывал поэму в «Известиях» и Аджубей своим «нет» затрудняет и для журнала ее печатание. (Твардовский ходил к нему 17. VII.)

Что ни день, А. Т. вспоминает Маршака и жалеет, что его нет. Говорит: все чаще стоит перед глазами. «Чувствую, как и мы стареем».

В цензуре остановили мемуары Эренбурга. Просят по крайней мере отложить из номера и уже передали верстку по начальству. Должен будто бы читать Ильичев. Но пока крутят: старика боятся и

просят не сообщать ему. «А нам-то каково, мы все равно с машин съехали»,— объяснялся Твардовский по телефону с цензором. Обычная морока с типографией «Известий», которая не терпит задержек при подписи в печать.

А. Т. говорил о записках Аксеновой (Гинзбург) и романе Рыбакова. И там, и там много интересного, а все же после Солженицына...

25. VII. 1964. Подписан к печати № 7.

В номере:

Ю. Домбровский. Хранитель древностей. Повесть. (Название было изменено в редакции.)

Вера Панова. Из американских встреч.

Стихи Евг. Евтушенко и Д. Самойлова.

Статьи Л. Черной, В. Сурвилло, З. Паперного.

Рецензии О. Михайлова, А. Туркова, Б. Сарнова, Ю. Буртина и др.

(Дата подписания в печать, которая указывалась внизу последней страницы журнала, была часто условной — обозначала подписание в печать лишь некоторых материалов, но не номера в целом. Так и в данном случае: на место мемуаров Эренбурга ставилась повесть Домбровского — но над ней еще несколько дней шла работа в редакции, и листы были подписаны, судя по всему, лишь в начале августа.)

29. VII. 1964

Написал реплику Г. Бровману, который, сражаясь со мной, перепутал цитаты и приписал Добролюбову мысли его противников. Показал Твардовскому и Дементьеву. Дементьев не хочет упоминания в тексте о «Новом мире» — пусть это останется частным спором двух критиков. Ну, да бог с ним.

Он с сочувствием говорил о Бровмане: на всю жизнь испуган, едва не стал жертвой кампании борьбы с космополитами, а у него семья чуть не восемь человек... Стал писать ненужную ему, в сущности, книгу о Вересаеве («толковая книга, между прочим»), а когда вернулся к современной критике, пришлось доказывать, что он «свой». Ну, переборщил немного...

Нет, пусть уж Александр Григорьевич «по-человечеству» ему дома сочувствует — мол, давний испуг, жена, дети. Доносить и клеветать все-таки не надо.

Рукопись «Круга первого» передана В. С. Лебедеву. Рубикон перейден. «Теперь только вперед»,— говорит А. Т. «Вперед и к черту в пекло»,— как любит он добавлять, вспоминая капитана из «Моби Дика».

Цензура дала замечания по роману Домбровского — приходится идти на компромисс, чтобы спасти и так уже передержанный номер. Домбровский с утра дежурил в коридоре, ведущем к кабинету Дементьева, как у родилки, куда отцов не пускают. Пробегают

время от времени акушеры — Дементьев, Закс, потирают руки, отзываются односложно. Когда я выходил, видел его смятенное лицо, захотелось его подбодрить: «Не волнуйтесь, все важное отстоим...» Он схватил меня за руки: «Да? Вы думаете?..»

Из моей заметки «Необходимая реплика» («Новый мир», 1964, № 8)

«В большой статье „Живая жизнь и нормативность", опубликованной в седьмой книжке журнала „Москва", критик Г. Бровман вступил в спор с моими суждениями по поводу нормативной и аналитической критики.

„Было бы неверно думать,— предупредил он,— что отдельные ложные концепции современных критиков предстают перед нами в обнаженном виде. Иногда они скрыты за справедливой полемикой против мертвящих канонов вульгарного социологизма, иллюстративности..."

Посочувствуем Г. Бровману. Ведь ныне не так легко убедить читателей, что критик, который ведет „справедливую полемику" с „мертвящими канонами", делает это не потому, что ему ненавистны „мертвящие каноны", а потому, что ему так удобнее скрыть свои „ложные концепции". И если бы не бдительность Г. Бровмана и его умение „обнажать" то, что современные критики прячут „под видом..." С таким начавшим у нас уже переводиться сортом критики даже и полемизировать как-то неловко».

(Далее показано, как Г. Бровман, перепутав цитаты, приписал Н. А. Добролюбову взгляды его противников, которые тот иронически излагал.)

В заключение говорится:

«Не входя в психологические объяснения конфуза, приключившегося с Бровманом-полемистом, я все же склонен считать тут основной причиной то, что критиком владело желание во что бы то ни стало „обнажить" чьи-то заблуждения и ошибки, а не желание выяснить истину. Обнажилась же при этом полная неподготовленность критика к честному, обоснованному спору».

31. VII. 1964

Разговор Твардовского с Баклановым, которому он возвращает повесть. Гора с плеч — перед этим почти физически страдал, по-человечески он хорошо относится к Бакланову, соседу по Пахре, и помнит успех «Пяди земли». Но о новой повести говорит: «Это кино». Порой автор дает волю мстительному чувству, свойственному детскому воображению: погодите, я вам покажу, вы меня еще пожалеете!

Сегодня с Дементьевым составляли проспект антологии «Нового мира» для Италии и писали письмо Ильичеву на сей счет.

Стало известно, что «Советский писатель» отклонил сборник рассказов Солженицына. «Вот говорят, критика не влияет,— рассуждал Твардовский.— Как это не влияет? На издание книг у нас все влияет».

3. VIII. 1964

А. Т. показал мне свою статью об Арк. Кулешове и просил сказать, если увижу что лишнее. Жаль, что он занимается этими «эрзацами» творчества, а большая работа не идет. Хорошо, что хоть на новой даче (на Пахре) жизнь его стала нормальнее — купается, ходит по грибы, сирень пересаживает на участке, корчует пни — все с азартом.

Эренбурга решительно не пускают, но и не говорят внятно «нет» — книга, видимо, у Ильичева. По второй части повести Домбровского — 15 замечаний. Цензуру не устраивает конец, «общая атмосфера» и пугает философия, в которой просто ничего не поймут. Домбровский говорит: первая часть прошла, по второй я ничего не уступлю.

Лебедев откладывает чтение Солженицына. Намекал, что у Хрущева могло сложиться мнение, что Твардовский его подвел, рекомендовав повесть. Лебедев говорил: «У нас ведь доброжелателей меньше, чем недоброжелателей...» И на протест Твардовского, сославшегося на горы почты: «Нет, я ничего не говорю, в большом круге — много, но среди людей влиятельных — мало».

Забегал Ю. Штейн и рассказывал, что Солженицын дает читать рукопись близким себе людям. Некоторые узнают в романе себя и бунтуют, устраивают истерики, портят ему кровь. Ш.— ближайшая подруга жены, Натальи Алексеевны, прочтя сцену общежития, разобиделась насмерть. Панин (Сологдин) обижен, Копелев (Рубин) досадует и т. д. Лева Гроссман, кинорежиссер, изображенный в «Иване Денисовиче»,— единственный, кто, вопреки опасениям Солженицына, не обижен на него. Оказывается, он живет неподалеку от нас, на даче в Акулове. Я встретил его на автобусном кругу, он представился и раскланялся со мною.

На днях получил письмо от одного читателя: хвалит за объективность. Где она? Вся моя объективность в том, что я совпал в этой статье чувством со множеством людей.

5. VIII. 1964

Твардовского вызвал Поликарпов и показал докладную записку в Президиум ЦК, подписанную им, Снастиным и Ильичевым. Семь страниц дикой хулы на врага человечества и русского народа Илью Эренбурга, а восьмая страница куцая — печатать, мол, но с поправками. Твардовский сказал: «Не вижу логики. Запрещать, так запрещать». Поликарпов был озадачен: «Ты думаешь? Ну, Черноуцан текст подработает».

11. VIII. 1964

В редакции В. С. Емельянов, атомник, собирающийся печатать у нас свои записки. Интересно рассказывал о сталинских временах.

Цензура наконец подписала Домбровского.

Вечером с А. Т. были у Саца. Пока И. А. хлопотал по хозяйству, Твардовский с нежностью говорил о нем. Вспоминал, как тот за Андреем Платоновым ухаживал, когда никто уже к нему не

ходил. Да разве один Платонов? Вот тетка жены заболела, слегла в полной беспомощности, и никого рядом. Он предлагал свои услуги — готов и горшки выносить. Необыкновенный он человек.

Сегодня почему-то Твардовский много вспоминал о Фадееве, о своей дружбе с ним и странностях ее. Всегда уговаривал его продолжать «Последний из Удэге», огромная тема вымирающего народа. Фадеев пережил шок с романом «Черная металлургия», когда оказалось, что те, кого преследовали как ретроградов в доменном деле, были правы, а его герои защищали негодный метод. «Я его уговаривал, что не надо огорчаться, что тут только и начинается настоящий сюжет для романа».

Незадолго до смерти Фадеева они поссорились: Твардовский получил от него большое жесткое письмо. К., с которой Фадеев был последнее время близок, рассказала на его похоронах: он зашел к ней, просил накрыть на стол, она отказала, и он ушел сильно огорченный. Сказал ей: «Неужели мы с Сашкой встретимся и не поздороваемся, не обнимемся?»

Вообще Твардовский думает, что он погиб от одиночества. Не знал, к кому броситься, когда накатило. Звонил своему секретарю Валентине, просил приехать, а она за преферансом сидела...

Вспоминал и более далекие времена — 1946-й. Однажды сидели и мирно разговаривали Фадеев, Твардовский и Шолохов. Твардовский усомнился в ждановском постановлении. Фадеев сказал с искренним удивлением, покраснев всем лицом и шеей: «Неужели ты не понимаешь его необходимость, более того, его гениальность?» А Шолохов спросил: «Может, ты не в ту партию вступил?»

18. VIII. 1964. Подписан в печать № 8.

В номере:

Ю. Домбровский. Хранитель древностей (окончание).

В. Богомолов. Рассказы.

А. Побожий. Мертвая дорога. Записки инженера-изыскателя.

А. Прасолов. Десять стихотворений.

Статья Л. Лазарева.

Рецензии А. Каменского, Е. Дороша, Э. Кузьминой. «Необходимая реплика» В. Лакшина.

18. VIII. 1964

Шла редакционная летучка — обсуждение вышедшего 7-го номера, когда позвонил Ю. Карякин из Праги: его статья о повести Солженицына на выходе. Добрая весть для нас.

Закс явился из Главлита с подписанным номером, вошел совсем зеленый, задыхаясь. Сидели несколько часов. Против него за столом человек пять во главе с Аветисяном. «Эта страница мрачна... Здесь ощутим подтекст...» В конце концов Закс сказал им: «Я не знаю, что здесь поправлять. Снимайте любые три строчки».

В результате немного пощипали Домбровского (вертелись даже вокруг стишка: «Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?»). Выкинули одно четверостишие у Прасолова.

С утра судили-рядили, что делать с И. Эренбургом, который, в свою очередь, не посоветовавшись с редакцией, послал негодующее письмо Хрущеву. Лебедев очень недоволен этим письмом, хотел, чтобы оно было взято обратно. По моему совету Твардовский звонил Эренбургу и намекал на то, каково истинное положение дела. «Чую, дела желтоговённого цвета — как выражался Трифон Гордеевич». Сговорились, что Эренбург приедет в редакцию завтра.

19. VIII. 1964

Приехал Эренбург. Сначала светский разговор о том, что пошли грибы, о Чарли Чаплине. Потом он подробно информировал нас о том, что известно ему о событиях вокруг его мемуаров.

Эренбург печален, тих и озабочен. Его обиды: из газет не звонят, ничего не заказывают, никому он не нужен. В его избирательном округе начальство растерялось, когда он приехал. А тут еще выступление о первопечатнике *.

Твардовский не сказал ему лишнего, но все-таки был достаточно откровенен. Сказал о неблагоприятном мнении «на этажах». Эренбург ответил, что есть два момента, в которых он не пойдет на уступки — политика партии в области искусства и отношение к евреям. Эренбург прочитал нам запись разговора Н. И.** с Лебедевым после получения его письма. Лебедев говорил с Н. И. откровенно враждебно. Сказал, что у Твардовского и редакции также отрицательное мнение о его мемуарах. (Твардовский пытался потом с ним объясниться — Лебедев отказался от своих слов.) Забирать письмо Эренбург не хочет. Вспоминал историю отозванного Сурковым коллективного письма о «мирном сосуществовании в идеологии» — все равно его много лет поминают. Лебедев, по словам Эренбурга, человек придворный, неискренний, верить ему нельзя и забирать письмо просто опасно.

Эренбург прав в том смысле, что Твардовского хотят отделить от журнала, а заодно столкнуть с Эренбургом. Истолковывают по-своему его слова, поощряют и раздувают любую оговорку. (Вот, кстати, он сказал Лебедеву о Солженицыне: зачем было давать такую статью в «Правде»? «Если обстоятельства переменились, я сам мог бы деликатно, без скандала отвести кандидатуру Солженицына в Комитете». На это будто бы Хрущев реагировал: «Молодец!».) Я вижу здесь то же хитросплетение интриг, и беспокоит меня некоторая двусмысленность позиции А. Т., несвойственная ему слабость.

Слава богу, к вечеру все определилось. Я вошел в кабинет Твардовского, когда он закончил разговор с Лебедевым по телефону.

Тот впервые говорил с ним, по словам А. Т., в невозможном тоне: «Что вы делаете проблему из Эренбурга? Вы подсовываете нам его мемуары...» «Кто сделал Эренбурга депутатом, лауреатом и

---

* «Первопечатник» — явное иносказание в дневнике, намек, который я не берусь сейчас расшифровать.

** Столярова Наталия Ивановна — литературный секретарь Эренбурга.

европейски известным писателем? — возражал Твардовский (последнего, впрочем, достиг он сам...) — Что касается нас, то мы ничего не „подсовываем" и ни из чего не делаем проблемы — идеологический отдел сам захотел читать рукопись...» «И как вы можете говорить: „не читал", „не знаю",— совестил собеседника Твардовский.— Я не узнаю вас, Владимир Семенович».

Кончив разговор, Твардовский сел напротив меня за маленький столик и, нагнув голову, внезапно сказал после паузы: «Вы православный, В. Я.? Скажите мне прямо, глядя в глаза». Я опешил, потом засмеялся. Оказывается, Лебедев уверял Твардовского, что точно знает, что я еврей. «Я не находил бы стыдом признаться в этом, если бы это было так,— сказал я Твардовскому,— но я чистокровный русский». «Понятно, понятно...— отвечал А. Т.— Но я вот объясняю Лебедеву, что и отца вашего знаю, и матушку, а он: „Не спорьте, Александр Трифонович, мне это сказали люди, которые не могли ошибиться". Вот я и решился спросить, не обижайтесь».

И этим занята голова помощника Хрущева! Боже, какая жалкая чепуха возводится в ранг политики! А все, по-видимому, потому, что надо редакцию столкнуть с Эренбургом: Твардовский, мол, знает ему цену, а «евреи» — Кондратович, Закс, Лакшин «тащат» его на страницы журнала.

«Ничего,— сказал, прощаясь, Твардовский,— крепитесь, Владимир Яковлевич, и будете в царствии божием». «Надеюсь, мы там встретимся»,— отвечал я ему в тон.

Но если серьезно, ощущение такое, что редакция накануне разгона. Поживем — увидим.

21. VIII. 1964

Твардовский вернулся от Лебедева. Тот, по его выражению, «очищал стол» — торопился отдать папку с Солженицыным. Говорил нетерпимо, резко. Вопреки обыкновению, даже не проводил до лифта.

Но главное — суть разговора о романе. Сначала о сталинских главах: «Не знает он этого. Все равно, как если бы я взялся писать о медицине. И министры никогда не сидели на работе по ночам...» (Позвольте, а разве не об этом говорил Хрущев на XX съезде?) Твардовский миролюбиво подтвердил, что главы, мол, «съемные», не в них суть романа. Тогда Лебедев стал говорить, что ему не понравились и рассуждения Нержина. Цитировал: «за образ мыслей нельзя сажать», «если вы даже нас простите, неизвестно, простим ли мы вас». Об этих высказываниях Лебедев говорил в том духе, что все это едва ли не антисоветчина, что эксцессы жестокости в лагерях «не отменяют правила» (то есть вообще-то сажать полезно — так, что ли, понимать?). «И кому это не простим?»

Твардовский отвечал, что, мол, конечно, разве мы простим Сталину, Берии? Но собеседник его не слышал.

«А вам роман нравится, скажите откровенно?» — спросил в свою очередь Лебедев. «Я считаю, как и мои товарищи по редакции, что это вещь очень значительная»,— отвечал Твардовский.

«А я не советую вам эту рукопись даже кому-нибудь показывать,— заметил Лебедев.— Я прежде говорил Ильичеву, что Твардовский собирается мне дать кое-что почитать, и он заранее просил его познакомить, но я не сказал, что рукопись уже у меня».

Самое тяжелое в разговоре — это слова Лебедева об «Иване Денисовиче»: «Прочтя „В круге первом“, я начинаю жалеть, что помогал публикации повести». Это он дважды повторил. «Не жалейте, Владимир Семенович, не жалейте и не спешите отрекаться,— отвечал ему Твардовский.— На старости лет еще пригодится».

О мемуарах Эренбурга Лебедев сказал: «Там же откровенно антисоветские места» и собирался приводить примеры, но Твардовский остановил его: «Не затрудняйте себя разговором, какие я веду в редакции с авторами. Мне важно было знать ваше общее отношение».

Подробно пересказывая мне этот разговор, Твардовский сидел в кресле смертельно усталый, с измученным лицом. «Дела хреновые...» — сказал он, затягиваясь сигаретой. Я заметил, что нам не надо торопить события — пусть уж идут своим ходом. «Да, да, конечно. Сами мы не уйдем»,— отозвался Твардовский.

Вошел Каверин, веселый, оживленный,— и помешал нам договорить.

У Каверина была причина радоваться. Утром Дементьев был у Поликарпова: разрешили (с новыми купюрами) его многострадальные «Белые пятна», Дементьев просил Каверина приехать, и мы кромсали с ним верстку.

Говорят, Черноуцан уходит из Отдела культуры, не спит уже суток десять, и снотворное не действует. На его место прочат Барабаша. Видно, в самом деле надобно сушить сухари. Приходится гадать, до какой книжки дотянем. Скорее, скорей бы восьмой номер!

22. VIII. 1964

Лебедев звонил Твардовскому — замять дурное впечатление от встречи. Да вряд ли это возможно.

27.VIII.1964

Решили отправить письмо Ильичеву о безнадежно застрявшем «Театральном романе».

Нужна статья к юбилею Лермонтова. Твардовский интересно говорил о нем, о «Валерике», где кровь, проза войны — и небо («небо ясно, под небом места много всем»), почти как небо Андрея Болконского на поле Аустерлица. Уговаривал его написать об этом.

Думал: реализм и партийность несовместимы. То есть литература всегда «партийна» в смысле выражения чьих-то интересов, но прежде всего интересов автора. Нелепость очевидна, если сказать: монархист Пушкин, народник Толстой. Литература, культура автономны. И как нельзя насиловать объективные законы экономики, диктовать земледельцу, что сеять, так нельзя своевольно управлять литературой.

28.VIII.1964

Звонок из Праги Карякина — вышел сигнал номера 8-го «Проблем мира и социализма», где его статья о Солженицыне с выдержками из албанской и корейской печати, которая бранит «Ивана Денисовича».

Заходил в редакцию Лева Гроссман. Хочет снимать документальный фильм о Твардовском, мечтает о кадрах, где он запечатлел бы его с Солженицыным.

Между тем Солженицын уехал в какую-то берлогу — работать, и от него нет вестей. Штейн сказал, что дома начинают беспокоиться.

Е. Н. Герасимов вспылил и подал заявление об уходе. Твардовскому показались недостоверными «Записки солдата» — чья-то старая рукопись, которую он подготовил. Умиротворение происходило за столиком на воздухе, сбоку от «России».

А.Т. с одобрением отзывался о Домбровском: «Серьезная проза. Без этих — „он думал, что..." и „ему казалось, что..."» А скольких многих портит пренебрежение авторской речью. Беда и кино, кинематографические приемы прозы: искусственная симметрия в сюжете, наказание порока и т. п.

Думал: критика — невыигрышный жанр. Это вроде игры на контрабасе в оркестре. Конечно, всякий хотел бы быть первой скрипкой, но есть чудаки-контрабасисты, преданные своему неповоротливому инструменту.

ПОПУТНОЕ

Как жаль, что Леве Гроссману (Цезарю Марковичу у Солженицына) не удалось осуществить свой замысел — снять Твардовского в редакции. А ведь он не раз заходил ко мне с этим, но уговорить Твардовского было трудно: он противился всем способам внешнего запечатления себя — не терпел, когда его пытались записать на магнитофон, и сниматься не любил. Ему чудились в этом какие-то стыдные соблазны: форс, самореклама. В результате остались лишь случайные кадры живого Твардовского на кинопленке.

Впрочем, даже если бы Твардовский согласился, Л. Гроссману вряд ли удалось бы осуществить свой замысел. Узнав о его намерениях, студия не торопилась включать его заявку в план и отказала в кинопленке. Твардовский был «не той фигурой», которую, по понятиям того времени, надо было запечатлевать.

4.IX.1964

Твардовского занимает странная история с Овечкиным, приславшим ему письмо. Вроде бы наградили орденом к юбилею, а в центральных газетах ни полслова. Твардовский видит и в этом предвзятость к члену редколлегии «Нового мира». Огорчен, звонил в ЦК.

Сегодня редакцию навестили Чарльз Сноу с Памелой Джонсон. Говорили о переводе «Теркина», который должен выйти у Макмиллана, и о переводах вообще. Перевод, по словам Твардовского, как

бы ни был хорош (тут он приводил в пример двух Бёрнсов — Щепкиной-Куперник и Маршака), отвечает лишь в малой мере подлиннику. Оригинал — цветущий луг, перевод — накошенное сено. Оно может быть питательным, давать аромат, но не то.

О внешних признаках мужественности в поэзии Твардовский обмолвился: «Да ведь усы бывают чистой декорацией и не всегда соответствуют мужской силе».

7.IX.1964

Получили статью Карякина. Твардовский прочитал и в восторге от нее. Решили перепечатать в ближайшей нашей книжке — как-никак поддержка от органа «мирового коммунистического движения».

9.IX.1964

Хороший разговор с Солженицыным. «Вы не огорчены? — спросил он меня, имея в виду нападки в печати.— Время покажет, как вы были правы в этой статье». Хвалил публикацию Карякина в «Проблемах мира...»: «Очень своевременно». О догадке Карякина * отозвался так: «„Вечерку“ я не имел в виду, когда писал, у меня не было возможности ее просмотреть, хотя, надо признать, это в моем характере».

Толковали и о недавней статье в «Известиях» с письмом переводчицы Т. Гнедич — она сама сидела, а теперь вспоминает о добрых охранниках, «хороших чекистах». «Ну да, в таком случае можно считать, что крепостное право не было злом, поскольку бывали и либеральные помещики»,— бросил реплику Солженицын.

О «миниатюрах», которые ходят по рукам,—«может быть, отказаться?» Что касается «Круга первого», договорились считать роман незаконченным: автор, мол, работает. «Пусть он (роман) освободит меня и будет на старте»,— сказал Солженицын. «У меня много других вещей в работе». Три главы из романа (общежитие) он сейчас доделал и просил прочесть. Я советовал ему собрать напечатанные рассказы в сборник и передать в Гослитиздат, обещал предуведомить Косолапова. «Под лежач камень вода не течет»— а если он предложит рукопись, отказать будет трудно.

Спрашивал его о «Раковом корпусе». «Это вещь острая, но она может быть напечатана, а я сейчас думаю о тех вещах, которые мне важно написать без надежды на печать».

9.IX.1964. Подписан в печать № 9.

В номере (весьма посредственном):

---

* Разговор в лагере «чудака в очках» с кинорежиссером Цезарем Марковичем о случайно попавшей к ним «Вечерке» с «интереснейшей рецензией на премьеру Завадского» критик комментировал так: «Действие в повести происходит в январе 1951 г., а в декабре 1950 г. в „Вечерней Москве“ была опубликована рецензия на премьеру пьесы А. Сурова „Рассвет над Москвой“. Случайно или нет это совпадение, неизвестно. Но перечитать пьесу и рецензию в сопоставлении с „Одним днем“ небезынтересно» («Проблемы мира и социализма».1964, № 9. С. 83).

Вера Панова. Рабочий поселок. Киносценарий.

Виктор Лихоносов. Рассказы.

Стихи С. Маршака.

Статьи Е. Гнедина, М. Туровской. Перепечатка статьи Ю. Карякина.

Рецензии С. Рассадина, В. Непомнящего, Мих. Лифшица.

10.IX.1964

В январе — 40 лет «Новому миру». Твардовский собрал совещание по юбилейному 1-му номеру. Мысль такова, чтобы в нем участвовали, хотя бы небольшими вещами, лучшие наши авторы, а Твардовского мы просили написать программную статью. Возражать он не возражал, но и энтузиазма заметного не выказал.

А. Т. хочет с 1 октября уйти в отпуск и писать что-то свое, главное. «Надо писать, я чувствую, надо писать»,— повторяет он.

Пошли слухи о Солженицыне, что он был полицаем, сидел в немецком лагере и плохо там себя показал, и прочая мерзость. Вас. Смирнов заявил в «Дружбе народов»: «Да он еврей — настоящая фамилия Солженицер». «А как же русский язык, русский склад характера?»— возразил кто-то. «Эт-то они умеют, эт-то они умеют...» Вчера звонили читатели и требовали от редакции опровержения этих слухов: такое впечатление, что кто-то намеренно распускает и раздувает их. Я подумал: если перефразировать Маркса, «слух, овладевший массами, становится огромной активной силой». Особенно в нашей нервозной, трусливой и панической интеллигентской среде, привыкшей ко всевозможным «оглушениям».

16.IX.1964

Мемуары Эренбурга рассматривал Президиум ЦК. Решение: печатать, если он пойдет на поправки по двум главным пунктам — пережим в «еврейском вопросе» и критика «руководства искусством». Твардовского волнует, что ссылались на него, якобы он поддержал записку отдела. Его мучает двусмысленность положения: «Что делать? Ехать к Ильичеву объясняться?»

Дементьев засел с Заксом и марают рукопись по пометкам Поликарпова. «Вы там не очень уж старайтесь»,— урезонивал их Твардовский.

26. IX — 22. X. 1964

Мы с женой отдыхаем в Новом Афоне, а тем временем рушатся основы...

ПОПУТНОЕ

Уже с весны, и последние месяцы особенно, было ясно, что авторитет Хрущева в аппарате падает все ниже. Его ближайшее окружение начало нервничать и метаться. Сам же он в воскурениях

кадильниц, казалось, не ощущал и тени опасности. Все так любят, так ценят «нашего Никиту Сергеевича», кругом преданные соратники и друзья. 17 апреля торжественно отпраздновали его 70-летие, юбиляру присвоили звание Героя Советского Союза. Но помню, что фотография его в газетах в окружении улыбающихся льстивых сотоварищей по Политбюро и речи, произносившиеся по этому поводу, оставляли впечатление наглядной фальши. К этому времени он успел сделать столько ошибок и бестактностей, что авторитет его и среди интеллигенции, и в народе заметно увял. Заслуги оставались в прошлом, а на виду были нелепые эксперименты в сельском хозяйстве, последствия которых усугубил неурожай 1963 года, и грубое давление на ученых (дело Лысенко) и литераторов. И это при резкой неприязни партийного аппарата, уже пострадавшего от его импровизаций и опасавшегося новых утеснений.

Последние месяцы и недели наблюдался странный эффект. Стоило Хрущеву сказать что-то благожелательное, либеральное, и его слова, от которых мы тщетно ожидали благого отзвука в литературной политике, цензурной практике, глухо терялись на другой же день, уходили в песок. И напротив, стоило ему сделать какой-то реверанс в сторону Сталина или вспомнить о кознях ревизионистов, как это мгновенно усиливалось стократ, как в мощнейшие репродукторы, и обретало плоть в придирках цензуры, в «проработочных» статьях. Аппарат ощущал свою силу, Хрущев был, сам уже того не сознавая, его заложником.

В Новом Афоне мы снимали комнату в большом абхазском доме, где во дворе давили виноград на молодое вино. Соседнюю комнату занимал какой-то хлыщ, заведовавший отделом в одном из московских министерств: он приехал с девицей, женой или возлюбленной, на своем «Москвиче». В первом же разговоре за дощатым столом в саду этот «государственный младенец», как называл Щедрин такого сорта людей, по секрету поведал мне, что готовится большая реформа в управлении сельским хозяйством: вся беда была-де в том, что руководство отраслями было неконкретным, и теперь, по проекту Хрущева, планируется создать едва ли не 24 управления: отдельно по свиноводству, отдельно по овцеводству, отдельно по молоку, отдельно по маслу... Я, помнится, ужаснулся, но виду не показал.

Случилось так, что тот же государственный младенец принес нам и первую весть о падении Хрущева. Он разыскал меня, взволнованный, на пляже и сообщил, что к хозяевам с гор пришли люди: там все радуются, танцуют; говорят, слышали по радио, что Хруща сняли... Мы бросились к транзистору в его машине: на московских волнах шла легкая музыка, а разноголосье трансляторов из Турции бубнило что-то невнятное, лишь чаще обычного повторялось: «Никита Кручев». Утренние центральные газеты, печатавшиеся с матриц на Кавказе, скорее опровергали, чем подтверждали, что что-то произошло.

Лишь на следующий день все прояснилось. «Государственный младенец», разговаривая со мной, стал уже находить заметные

пороки и в правлении Никиты и в его последнем сельскохозяйственном проекте, а я заторопился доставать билеты в Москву.

23.X.1964

Вернулся после отпуска. В редакции некоторые подробности падения Хрущева. После 14 октября неопределенность, растерянность. Пленум провели быстро, вызвав Хрущева с отдыха. Доклад делал Суслов. Убрали Аджубея. Твардовский говорит: «Матросы связали капитана, выбросили за борт, а теперь, похоже, в затылках чешут: это было самое простое, а что дальше-то?» Похоже, никто не знает. Соблазн в самой легкости переворота.

Между тем еще до всех событий антология, которую мы делали для Италии, загремела. Поликарпов предложил свой вариант, где вынут Солженицын, Залыгин («На Иртыше») и почти вся критика — Виноградов, мои статьи. Трифоныч вскипел и собрался к Ильичеву с заявлением об отставке. В это время и грянуло 14 октября.

7.X.1964. Подписан к печати № 10.

В номере:
Ю. Крелин. Семь дней в неделю. (Записки хирурга.)
Жан-Поль Сартр. Слова (начало).
Статьи Ц. Кин, И. Виноградова, В. Каверина.
Рецензии В. Жданова, Ф. Светова, М. Злобиной.

27.X.1964

Приехал из Праги Ю. Карякин. Рад, что мы его напечатали. Твардовский расспрашивал, что он может для нас еще сделать. Карякин рассказывал много интересного о завещании Ленина, о Сталине и т. п.

В воскресенье (25-го) Солженицын приезжал к Твардовскому на дачу перетревоженный. «Куда прятать рукопись? Может быть, так: пусть считают, что романа нет, а есть „Раковый корпус“, повесть, у которой первоначально было заглавие „В круге первом“?»

Твардовский не согласился: «Я лукавить не могу». И успокаивал Солженицына: «Пока я редактор, роман лежит в несгораемом шкафу и никто его не посмеет тронуть».

29.X.1964

Часов в девять утра неожиданно зашел А. Т. Мы завтракали вместе, потом пошли в Столешников, под навес. Он рассказал подробно о перевороте, что удалось узнать. Его все это мучает, тревожит. «Главное — выдержка»,— повторяет он как заклинанье. Лично Хрущева ему жаль, но он понимает: перемены нужны и неизбежны. Говорил о безличности окружающих его фигур, о недоверии их друг к другу и об индифферентизме народа.

Тревожится и за журнал. «Мы в центре внимания оказались в последние два года. Никогда я этого не предполагал, не хотел об этом думать. С усмешкой смотрел на борьбу (хотя вообще-то

всегда ее вел). Говорил: ну, боритесь, а я писать буду. Но обстоятельства сами поставили нас в центр драки».

«Конечно, можно и иначе рассудить. Вот я сажаю кусты на даче, благоустраиваюсь и вспоминаю, как Иван Сергеевич (Соколов-Микитов) сказал однажды: „А вы не думаете, что одна эта береза несомненнее райкома партии?“»

Остряки шутят: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Центральном комитете».

Лермонтовскую статью (о «Валерике») Твардовский не бросил, думает вокруг нее. Говорил о сопряжении русской равнинной степи и гор Кавказа у Лермонтова, о его способности охватить стихом великие пространства.

5.XI.1964

Разговор с Сацем и Твардовским о Лифшице. Чуть до ссоры не дошло. Твардовский обиделся за журнал, так как Лифшиц позвонил ему и разбранил статью Конрада как «немарксистскую». (Академик Конрад писал о Ренессансе как явлении мировой культуры, черты которого можно угадать и на Востоке — в Китае, Японии. А мы в большинстве своем больны «европоцентризмом».) Сац горячо защищал Лифшица, а Твардовский ругал его за догматизм.

А.Т. читает «Литературное наследство» Тургенева и очень хвалит. Роман же Грэма Грина о прокаженных не понравился ему из-за оттенка «неприятного натурализма».

10.XI.1964. Подписан к печати № 11.

В номере:
В. Шукшин. Рассказы.
Ж.-П. Сартр. Слова (окончание).
Георгий Шторм. Потаенный Радищев.
Стихи Расула Гамзатова, В. Сидорова.
Статьи С. Утченко, А. Лебедева, А. Дементьева.
Рецензии В. Огнева, К. Рудницкого, И. Левидовой и др.

11.XI.1964

Получил письмо от Солженицына в ответ на мое, где я писал о своих впечатлениях от повторного, более пристального чтения «Круга первого»— мне казалось важным подбодрить его сейчас. Он несколько напугался, что я говорю в письме о романе, хотя какая уж конспирация после того, как его обсуждали в редакции и рукопись побывала в ЦК.

Из письма А. И. Солженицына 9. XI. 1964

«В Москве я собираюсь быть числа 18-го или несколькими днями позже и пробуду несколько дней. Я предварительно позвоню в редакцию и постараюсь выбрать такой день, чтобы застать и А. Т. (к которому у меня, впрочем, сейчас никаких конкретных дел нет) и Вас.

С Вами я хочу обсудить несколько вопросов, в том числе решить и с Гослитиздатом. Я сходить могу, но практически мне это представляется

сейчас совершенно бесполезным. Если перед тем у Вас будет случай — Вы позвоните, чтобы знать: стоит ли?..

Один из моих вопросов к Вам — чисто литературоведческий, самого общего характера.

[...] Что ж я наврал, к А. Т. у меня самое неотложное дело: по-моему, es ist die höchste Zeit * печатать „Очерки" Медведева (по генетике). При необходимости представлю их и добуду автора».

9.XI.1964

Некоторые либеральные веяния. А. М. Румянцев пришел в «Правду» главным редактором взамен Сатюкова. Карякин, работавший с ним в Праге, отзывается о нем хорошо. «„Октябристы" вряд ли за шампанским посылают»,— прокомментировал Твардовский это назначение.

В редакцию пришло письмо из-за границы, от русской эмигрантки: из него ясно, что рассказы Солженицына появились в «Гранях». Что такое? Какие рассказы? Оказалось, эссе, когда-то отвергнутые Твардовским. Неприятно.

Вечером были с А. Т. у Саца. Спор о социализме. Новое руководство объявило о поощрении приусадебных участков, которые было извел Никита. Это дело серьезное. «Меня не интересуют личности, но, кажется, что-то движется»,— говорил Твардовский. Сац пролил некий скептицизм на то, что это и есть достижение социализма. Он напомнил примитивное, как столб, рассуждение Калинина, что социализм это «когда каждый может купить никелированную кровать и подарить жене одеколон». «А я совершенно с этим согласен»,— кричал в запале Трифоныч.

17.XI.1964

В Москве Солженицын. Я позвал его и рассказал о публикации эссе в «Гранях». Он отнесся спокойнее, чем я думал. Агитировал печатать быстрее антилысенковские очерки Жореса Медведева. Хорошо отозвался о записках Д.Витковского «Полжизни». Снова говорил о моей статье, что она сыграла добрую роль, защитив работяг.

Оказывается, он пишет «для себя» возражения на появившиеся псевдолагерные сочинения, вроде Алдана-Семенова и Б. Дьякова: «Пусть останется после моей смерти, чтобы люди не были в заблуждении» **.

Меня расспрашивал в связи с формой, которую ищет для нового романа — формой краткой и сжатой и по внешности не обязательной в сюжетных связях. (Для ориентировки назвал три вещи:

---

* подходящее время *(нем.)*.

** Пожалуй, это первое упоминание в наших разговорах о замысле будущего «Архипелага ГУЛАГа», родившегося из писем и полемики вокруг «Ивана Денисовича». Роман «Барельеф на скале» Алдана-Семенова, как и «Пережитое» Б. Дьякова, были «патриотическими» сочинениями, написанными с точки зрения близкой им лагерной администрации.

«Записки на манжетах» Булгакова, «Конь вороной» В. Ропшина (Б. Савинкова) и, кажется, Дос-Пассоса.) Спрашивал, откуда в России могла быть такая традиция, есть ли еще образцы. Я назвал толстовского «Хаджи-Мурата», «Фальшивый купон», но вообще-то отнесся ко всему этому со скептицизмом, который, похоже, Александра Исаевича разочаровал.

Солженицын привез в Москву рукопись книги — рассказы и повесть для Косолапова. Твардовский обещал звонить ему.

25.XI.1964

Ездили с Твардовским к К. А. Федину в Переделкино. После конфликта в издательстве Федину передали на окончательное решение опальные статьи Марка Щеглова.

У забора роскошной дачи нас облаял пес Аякс. Федин ждал гостей в верхнем кабинете, куда надо было подниматься по узкой деревянной лесенке.

Длинный стол завален чужими рукописями, письмами, присланными и непрочитанными книгами — среди них и моя торчит (пожалел, что послал).

Федин принялся угощать нас кишмишем в вазочке, но, видя выражение лица Твардовского, стал шарить по полкам. Сначала извлек бутыль с наклейкой «Камю» («Нет, пусто... Храню ее, чтобы нашего коньячку налить да угощать — у нас же, дурачье, не понимают...»). Потом вынул бутылку, закутанную в газету, долго разворачивал, поболтал и объявил: «Настойка для растирания». («Врет»,— шепнул мне Твардовский.) И новая бутылка: «А это чернила...» Наконец, вышел за дверь и долго шептался с прислугой — круглолицей деревенской женщиной в белом переднике. До нас долетали слова: «Ну, а внизу... там, в шкапчике... нет ли чего-нибудь?»

В конце концов появилась жалкая стограммовая игрушечная бутылочка узбекского коньяку, явно извлеченная из подаренного набора. Твардовский взглянул на нее брезгливо и величаво отказался.

Сам старик не берет в рот маковой росинки, он «за работой». Хорошо поставленным звонким баритоном выпевает ложномногозначительные фразы. Прежде всего о своем творчестве — слово «работа» было бы бедным на этот случай. Твардовский спросил его о главах «Костра», который мы каждый год тщетно объявляем.

«Заканчиваю,— пропел Федин.— Осталось заделать кое-какие люки... Если не идет, я пропускаю кусок и сажусь за то, что пишется легче, а потом возвращаюсь к оставленному... Меня начальство спрашивает: что нужно для работы писателя? А я отвечаю, что мечтаю только о том, чтобы наш труд приравняли к труду рабочего где-нибудь на заводе Лихачева. Нельзя в разгар рабочего дня позвонить в цех и сказать: вызовите такого-то... А писателя можно оторвать от стола в любую минуту...»

Разговор о статьях Щеглова был удручающий. Старик, как говорится, тележного скрипу боится. Ему внушили, что коли он

пропустит эти статьи — Леонов и Корнейчук, задетые в них, будут на него в обиде. «А за Корнейчуком — Украина,— рассуждал он.— А Украина, заметьте, сейчас в большом почете: Шелеста повысили...» Ох, эти домашние беспартийные политики!

Потом, правда, старик немного разошелся, позволил себе порицать слог Леонова, бранил его речь о Толстом («Я разбирал ее по абзацам. Если освободить ее от красот — мысли нет»).

Твардовский убеждал его: «Да начертайте вы на полях Щеглова, не читая: „Не возражаю против публикации", и дело с концом».

«Я так не умею,— защищал остатки своей литературной невинности старик.— Я все же должен прочесть...»

Преувеличенно крепко жал руку на прощанье и преувеличенно долго глядел при этом в глаза.

А мы с Твардовским едва дождались, пока доехали до Москвы. Шофер доставил нас прямиком в «Будапешт», и там, голодные, уставшие, мы отомстили за скудные харчи и возлияния Федина.

За столом Твардовский рассказывал о статье, которую пишет для 1-го номера. Хочет сказать без недомолвок о значении журнала.

Не помню, по какому поводу А. Т. заметил: «У меня есть одна скверная черта: если человек не интересует меня, он начисто пропадает для меня, словно вычеркивается из памяти».

ПОПУТНОЕ

Федин все же написал о статьях Марка Щеглова, и весьма хороший отзыв, благодаря чему они в конце концов смогли появиться в книге. В ту пору, когда я его знал, Константин Александрович все время колебался между сознанием доброго дела в литературе (ведь ни умом, ни дарованием, ни вкусом господь его не обделил) и защитой своего вельможного положения, осторожностью, если не сказать трусостью. О молодом Федине Маршак рассказывал, что он был поразительно отзывчив. «Бывало, идешь по Невскому, навстречу Федин. Спрашивает: „Куда ты?" — „Иду хлопотать за такого-то". Он немедленно поворачивает: „И я с тобой"». Как же случился этот слом личности?

В 1920 или 1921 году Федин вышел из партии. И всю жизнь боялся, что ему это припомнят, пока Хрущев, вознося Леонида Соболева, не воспел хвалу «беспартийным большевикам». Твардовский отозвался на это по-своему. «А есть такие беспартийные, которые хуже нас, партийных»,— не раз говаривал он.

Первый тяжелый компромисс Федина был связан, по-видимому, с делом Евг. Замятина. Он считался молодым другом и учеником Замятина, но когда в 1929 году разразился скандал вокруг напечатанного в Берлине романа «Мы», одним из первых публично отрекся от Замятина Федин. «„Серапионы" *,— рассказывал мне Каверин,—

---

* Серапионовы братья — литературная группа, возникла в 1921 году в Петрограде. Наиболее видными ее членами были: Вс. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, Н. Тихонов, М. Слонимский.

были потрясены. Ведь самого Федина недавно „прорабатывали" за „Трансвааль"».

В конце войны Федин снова стал объектом суровой и несправедливой критики за книгу «Горький среди нас». Это еще раз и окончательно его напугало. Он искупал вину льстивым изображением Сталина в «Необыкновенном лете».

Став при Хрущеве председателем Союза писателей, Федин вошел в роль нового Горького: импозантно выглядел на трибуне, красиво говорил о задачах литературы, о великих традициях, о цене слова, красиво курил трубку. Но, как бывает, был наказан литературным бесплодием, годами тянул последнюю часть трилогии о Пастухове и Извекове — несостоявшийся «Костер». Впрочем, и до сих пор остается не до конца проясненным вопрос о взаимосвязи общественного преуспеяния и потери таланта: «не пишется» оттого, что литератор занимает пост, или он занимает пост оттого, что «не пишется»?

28. XI. 1964

Твардовский говорит о переменах: «Хоть худое, да другое».

Пришел в редакцию Федин с рукописью глав «Костра». Сказал, что ему хотелось самому отвезти рукопись в редакцию: «Для меня это как восстановление потенции».

Мы встретили его торжественно — чаем, рюмкой коньяку. Шел неторопливый богоугодный разговор. Передал я ему, как прежде сговорились, и папку со статьями Щеглова. Фактически он пообещал поддержать нас на секретариате. Жаль, что не будет там Твардовского — он собирается в Италию.

30. XI. 1964

Забегал Солженицын, был наконец в Гослитиздате у Косолапова. Тот встретил его дружелюбно и говорил доверительно. Солженицын благодарил меня за предварительный разговор: «Артподготовка была проведена блестяще, и все огневые точки противника оказались подавлены». Рассказы он расположил в такой последовательности: «Кречетовка», «Иван Денисович», «Матренин двор», «Для пользы дела». «Эту хронологию мне подсказал один читатель,— объяснил Александр Исаевич,— „Кречетовка" о том, как сажают, потом лагерь, потом выход из лагеря...»

В театр Ленинского комсомола он отдал свою «нерусскую» пьесу («Свеча на ветру») — даст потом почитать. Ее вот-вот начнут репетировать. Обещал показать и маленький рассказец «Кисть руки», выделившийся из «Ракового корпуса». Нам до смерти нужен был бы сейчас его рассказ для первой книжки.

Я дал Солженицыну перевод Оруэлла («1984»), которым сам зачитывался последние дни.

6. XII. 1964

Налетела ангина, и пришлось прервать занятия статьей, а она и так идет туго.

7. XII. 1964. Подписан к печати № 12.

В номере:

А. Рыбаков. Лето в Сосняках. Роман.

В. Корнилов. Стихи.

Публикация «Дневника А. В. Якушкиной».

Дискуссия «Еще о мемуарах» (Статьи В. Шкловского, Л. Малюгина).

Рецензии Г. Березкина, А. Синявского, Ст. Рассадина и др.

12—13. XII. 1964

Дементьев зазвал меня на дачу в Пахре, и мы пытались слепить статью для № 1 за Твардовского (сроки подгоняют, а он в Италии) из его же черновиков. Сделали какую-то грубую болванку в надежде, что она послужит ему толчком для работы по возвращении.

18. XII. 1964

Вернулся Твардовский из Италии — Ахматовой вручали премию «Этна-Таормина». Рассказывал о Сицилии, о монастыре-гостинице, где они жили: валы роз подкатывают под окна. Два раза купался в Тирренском море. И время года там чудесное: будто весна с осенью сошлись — и цветы, и плоды. Обедали роскошно, в казино, и вообще «этот итальянский Остап Бендер» — Вигорелли устроил все лучше некуда. Ездили смотреть Этну. Когда солнце стало спускаться и зашло за зубцы кратера — А. Т. почудилось, будто наступает конец света.

В поездке он впервые видел Ахматову, познакомился с ней. Она понравилась ему своей простотой, благородством. Он зашел к ней в номер, не решаясь вынуть бутылку вина, а она попросту предложила: «Не здоровее ли выпить рюмку водочки?»

В Риме он встречался с Марио Аликата, в Париже, где был проездом,— с Сартром, который в восторге от публикации в «Новом мире» его «Слов».

Смотрел фильм Пазолини «Евангелие от Матфея» и под огромным впечатлением: «Уже ради одного этого стоило поехать». Целый час пересказывал картину. «Я ведь, откровенно говоря, к самой фигуре Христа относился как к чему-то отжившему и не ожидал, что все это меня так тронет... А когда в конце запели русскую песню, так, казалось бы, некстати и так понятно,— меня чуть слеза не прошибла».

23. XII. 1964

В редакцию заходил маршал Конев с К. Симоновым, который сосватал нам его записки. К майской книжке обещает воспоминания «Сорок пятый год».

Заговорили о «берлинской стене», и Конев выразился так: «Вряд ли в военной истории был еще случай, чтобы противника окружали крепостью».

26. XII. 1964

Трифоныч заканчивает вставки и переделки к юбилейной статье — от наших с Дементьевым трудов мало что осталось. Спорили о Пастернаке.

Заехал Солженицын и вернул мне Оруэлла. Отозвался так: «Остроумного много, но он не понимает, что и под пятой Старшего Брата все-таки жизнь есть, а у него нет жизни». Говорили, к слову, и о романе Замятина «Мы»: «Написано блестяще. Редкий случай,— заметил Солженицын,— когда героев научно-фантастического сочинения начинаешь любить, хочется в конец заглянуть, что с ними сталось».

Хвалил статью В. Сурвилло, я рассказал ему о судьбе автора.

ПОПУТНОЕ

Владислав Иосифович Сурвилло, литовец по национальности, был из постоянных авторов критического раздела. Высокий, прямой, негнущийся, с седыми, гладко зачесанными волосами и в очках, он прожил жизнь неординарную.

Совсем молодым человеком Сурвилло назначили политредактором, или, по-нашему, цензором Главлита. Он столь ревностно исполнял свою должность, что едва не запретил «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова — понадобилось вмешательство Луначарского, чтобы книга вышла в свет. Двигаясь по партийной линии, к концу 30-х годов он стал членом бюро Дальневосточного крайкома партии. Человек прямой и честный, он не сразу прозрел, но когда вокруг начались аресты «врагов народа», многих из которых он знал лично, он не смог с этим смириться. Неужели эти люди могли быть японскими шпионами или агентами Гоминьдана?

Однажды он пришел на заседание бюро крайкома и попросил слова для заявления. Он сказал во всеуслышание, что «органы» на Дальнем Востоке переродились, уничтожают честных людей, коммунистов, и он предлагает секретарю крайкома и всем своим товарищам по бюро написать об этом Сталину. Если они его не поддержат, он готов подписать такое письмо один. После его слов наступило молчание, председательствующий предложил перейти к следующему вопросу, а когда после заседания Сурвилло вернулся домой, его уже ждали сотрудники НКВД. При обыске были найдены черновики его письма Сталину.

На первом же допросе следователь стал добиваться от Сурвилло, отправил ли он письмо в Москву. И Владислав Иосифович понял, что единственный шанс уцелеть — не отвечать на этот вопрос. Пусть теряются в догадках, послано ли письмо? А вдруг Сталин получит его и потребует объяснений — заключенного надо представить живым. После ледяного карцера у Сурвилло развился спондилез, но мучители ничего не добились от него, и при первой волне освобождений он вышел на свободу.

Как критик, Сурвилло обладал редкой добросовестностью, тщательнейше исследовал текст и с помощью обстоятельного ана-

литического пересказа, идя рука об руку с автором, постепенно и неопровержимо выявлял главные мысли книги.

ПОПУТНОЕ

Конец 1964 и начало 1965 года ознаменовались для нас неприятностями вокруг статьи Твардовского «По случаю юбилея», подготовленной на открытие 1-го номера. В январе журналу, основанному в 1925 году, исполнялось 40 лет. Юбилей не Бог весть какой «круглый», но он был для редакции поводом еще раз подтвердить свой взгляд на происходящее и объясниться с читателями, засыпавшими нас сочувственными и встревоженными письмами. Заодно предоставлялась возможность проверить — все те же или иные ветры дуют после падения Хрущева? Проглотит ли цензура недавно запретные разговоры об Эренбурге, Викторе Некрасове, ополчится ли вновь на Солженицына, а от этого в какой-то мере зависело внутреннее решение Твардовского: уходить или оставаться. Неопределенности он не любил и частенько вспоминал присловье капитана из романа «Моби Дик»: «Вперед, и к черту в пекло». Новое же руководство, пришедшее на смену Хрущеву, до поры как бы затаилось, не решаясь внятно выразить свои пристрастия и противострастия. После октябрьского Пленума в газетах лишь с китайской церемонной метафоричностью ругали «волюнтаризм и субъективизм» — бесплотно-абстрактное выражение, под которым полагалось разуметь персонально Хрущева (как еще недавно под словами «культ личности» — Сталина).

Леонид Федорович Ильичев, соавтор бесславных хрущевских «исторических встреч», все еще оставался секретарем ЦК по идеологии и главою синедриона, называвшегося Идеологическая комиссия. Где-то за кулисами, по-видимому, дирижировал событиями «серый кардинал» Суслов. Но сам Брежнев еще не проявил себя как лидер и идеолог: многие считали его эталоном бесцветности, случайной, переходной фигурой.

Момент был подходящий, чтобы дать встречный бой или, по меньшей мере, закрепить свою позицию, пока противники журнала — догматики и сталинисты — примолкли, боясь попасть впросак перед новыми хозяевами Кремля.

В робости и сумятице первых послехрущевских месяцев от слова, произнесенного вслух кем-то первым, многое зависело. Уже самим фактом появления в печати (допущено к печатному тиснению — стало быть, одобрено) оно могло повлиять на дальнейший ход событий, выработку литературной политики. А что как если новый косыгинский курс в экономике, о котором поговаривали, распространится и на политику, и руководство окажется более терпимым к «Новому миру»?

Поначалу Твардовский отнесся к писанию статьи как к тяжкой редакторской обузе и на первых порах охотно перекладывал часть трудов на нас с Дементьевым. Но вскоре увлекся и уже писал статью

с азартом, стремясь точнее выразить и основательнее закрепить свою литературную позицию.

Готовую, в основных чертах, статью сам автор и, с его благословения, мы, его соредакторы, прополоскали в трех водах, отбелили, отжали лишнее и сдали в цензуру как бы в исключающем всякие сомнения, до буковки выверенном виде.

Тут-то и начались неприятности со статьей, верстка которой стала гулять с одного начальственного стола на другой, восходя по инстанциям. Вообще говоря, по неписаной чиновничьей иерархии, Твардовского править не полагалось: кандидат в члены ЦК, ему ли не знать, что писать? Раз пишет, значит, «согласовал» или учуял «дух», с которым не поспоришь. Статью перебрасывали, как горячие угольки на ладонях. Но давши им остыть, успокоились и стали «разбираться».

По сохранившейся в моем домашнем архиве корректуре легко восстановить те куски начального текста, вокруг которых поднялась яростная закулисная возня и которыми, в конце концов, автору пришлось пожертвовать. На нынешний день все эти литературные разъяснения и примеры кажутся младенчески невинными, но тогда... В первую очередь изымались имена и упоминания о произведениях, подвергшихся высочайшему разносу или критике в партийной печати. Отстаивать своих авторов, вместо того, чтобы самим каяться и корить их в прегрешениях, считалось в партийно-цензурном смысле верхом неприличия, неким вызовом истаблишменту. Но пафос Твардовского был: «На том стоим».

Повторяя гордый девиз Лютера, он впадал в грех нераскаянности, а это-то и считалось пущим злом. Куда простительнее было — «грешить и каяться, грешить и каяться». Упорствуя в своих понятиях, журнал разрушал принцип единомыслия и слепой идеологической покорности. Для охранителей важна была даже не столько суть дела, сколько незыблемость архитектуры литературного здания, фундамент которого составляла партийность, стены сложены из народности, а крышей служил социалистический реализм.

В этом подспудный смысл злоключений статьи Твардовского.

Цензурные вымарки в статье «По случаю юбилея»

«...Широтой и непринужденностью изложения располагают к себе путевые записки, например, ученого-историка С. Утченко или **литератора В. Некрасова**» (выделенное здесь и ниже изъято).

«Беллетристика, **подобная „Кавалеру Золотой звезды“**, занималась простодушным, чтобы не сказать резче, подмалевыванием жизни колхозного села...»

«...Это не единственный случай недопустимого в советской печати способа организации „голоса с места“, когда изготовленный на скорую руку „документ“ снабжается подписями часто хороших людей, не ведающих, что они вовлечены в недостойное дело. Так было с

„письмом земляков“ А. Яшина по поводу его отличного очерка „Вологодская свадьба“. „Земляки“ будто бы единодушно обвиняли писателя в „очернительстве“, в „нарочитом сгущении теневых сторон жизни вологодских колхозов“ и т. п. По простому расчету времени книжка „Нового мира“, где был напечатан очерк Яшина, не могла еще дойти до земляков, когда „письмо“ появилось в печати. А затем пришло совсем иное письмо односельчан писателя, заинтересовавшихся по газетным материалам всей этой историей, доставших журнал с очерком и теперь мягко упрекавших автора в некотором приукрашивании их жизни». (Вымарано целиком. Публикуется впервые.)

«...В ряду названных мною выше документально-мемуарных книг можно рассматривать и книгу Ильи Эренбурга, **знаменитого писателя**, автора многих романов и повестей...»

«Редакция видела и видит субъективные особенности и порой даже вызывающие несогласие оттенки и частности автобиографического рассказа И. Эренбурга.

Среда художественной интеллигенции — отечественной и европейской — с ее специфическими интересами — главная жизненная стихия, где складывались взгляды, мировоззрение писателя. В этом смысле воссозданная И. Эренбургом картина исторических событий ограничена своеобразием биографии автора. Все это так. Но вряд ли в истории мировой литературы книги мемуарного жанра когда-нибудь встречали единодушное одобрение и не вызывали возражений, осуждений и поправок со стороны современников описываемой в них эпохи. И. Эренбург справедливо оговаривается в своих воспоминаниях, что он пишет не историю эпохи, а лишь историю своей жизни в эту эпоху, хотя, конечно, ни одну из автобиографий нельзя отделить от биографии эпохи. Обязательства известной полноты и исторической правды отражения эпохи — неизбежные обстоятельства, определяющие глубину и значительность такой книги. Но можно ли предъявлять автору воспоминаний требования, чтобы он вспоминал то, чего не знает и не может помнить, или чтобы он забывал, опускал то, чего он забыть не может, не покривив душой? Редакция не считала себя вправе предъявить автору такие требования.

Количество читательских отзывов на опубликованные части книги И. Эренбурга, вероятно, не меньше, чем по поводу любого из его романов. Журнал не мог не иметь в виду этого большого читательского интереса к книге И. Эренбурга у нас и за рубежом. Наконец, надо отдать должное и мужеству, откровенности старого писателя, выступающего с такой „исповедью сына эпохи“, когда еще сама эта эпоха отнюдь не стала достоянием только истории,— она движется, развивается и все более глубоко познает себя в этом развитии». (Вымарано целиком. Публикуется впервые.)

«Или другой разительный пример: „Один день Ивана Денисовича“.

Огромный резонанс этого небольшого по объему произведения в широчайших читательских кругах страны и за рубежом, известные острые разноречия в оценке его критикой обязывают еще раз остановиться на нем, несмотря на то, что „Новый мир“ опубликовал уже две большие статьи на эту тему, которые представляются мне совершенно правильными в своих основных и главных положениях...»

«Усилия некоторой части критики, направленные к тому, чтобы объявить главного героя повести — Ивана Шухова — лишенным отличительных черт человека, сформированного советской эпохой, отпадают за полной их несостоятельностью. Человек труда, один из миллионов тех, кому принадлежит слава подвига пятилеток, победы в Великой Отечественной войне и самоотверженного трудового порыва в послевоенные годы, Иван Денисович — плоть от плоти и кровь от крови своего народа, творца всех ценностей и ответчика за свою историческую судьбу (...)

Выбором своего героя, человека труда, на чью долю так незаслуженно выпали бесчеловечные испытания, Солженицын с особой силой, как никто до него в литературе, выявляет антинародную сущность того сложного и трагического явления нашей истории, которое мы теперь называем периодом культа личности.

Но, помимо Ивана Денисовича, в солженицынском повествовании выявляются, живут и действуют, как живые, в непосредственном переплетении с переживаниями заглавного героя „Одного дня“ многие другие представители лагерного мира, обрисованные четким и экономным пером. Особая и знаменательная роль в повести принадлежит кавторангу Буйновскому.

Не следует забывать, что персонажи в художественном произведении располагаются несколько иначе, чем должностные лица в штатном расписании ведомства или учреждения. Буйновский не есть заместитель Шухова по общим вопросам, как и Тюрин не является при нем „заведующим“ хозяйственной частью и т. п. Фигура Буйновского в композиционном построении повести в целостном звучании этого произведения необходима, незаменима и недвусмысленно выразительна. Мы помним, как на бесчеловечной процедуре обыска перед выходом заключенных на работы раздается гневный, протестующий голос кавторанга: „Вы — не советские люди. Вы не знаете статьи такой-то, вы не имеете права...“

Разве это не есть смелый и самоотверженный протест, сознание своего гражданского и воинского достоинства, понятий чести, обязанностей офицера и коммуниста? Мне кажется, это начисто снимает все домыслы „недругов“ Ивана Денисовича относительно его мнимой „пассивности“ и неспособности к протесту и борьбе против лагерной администрации.

Почему нужно требовать, чтобы этот памятный нам порыв протеста был осуществлен именно Иваном Денисовичем, а никем иным в повести? Может быть, только потому, что мы слишком привыкли по старинке искать в одном произведении всего того, чего ждем от

литературы в целом, и одного из героев произведения считаем обязанным представить в своих поступках и характере все то, что может быть представлено другими людьми, окружающими его. А ведь слова, которые мы слышим из уст Буйновского, они в равной степени принадлежат и Шухову, и Тюрину, и всему многострадальному и бесправному скопищу человеческих душ за колючей проволокой. Они и до Буйновского там уже вырывались из чьей-нибудь груди и после еще будут звучать, вплоть до того рубежного часа, за которым идет нынешний новый период в жизни нашего общества». (Вымарано целиком. Публикуется впервые.)

Несомненно, что в литературном деле, как, скажем, и в практике сельского хозяйства, многое зависит от объективных условий: здесь есть свои урожайные и неурожайные годы, свои засухи, вымочки и даже градобития».

«Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую суровую и придирчивую, в пределах литературных понятий, критику. Мы считаем это нормальной жизнью в литературе. И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках, **как не избегали их, к примеру, в нашей критике идейно-художественных слабостей романов В. Кочетова, в выступлениях против мнимонаучных писаний Арнольдова и Разумного, в нашей неуступчивой защите А. Солженицына от нападок догматического толка. На том стоим»**.

Эти спокойные, рассудительные и, по сути, далекие от «крамолы» тексты вызывали в цензуре недоумение и ярость. В результате последовательного нажима, давлений, переговоров «на высшем уровне» статья была сильно изувечена. И все же она стала заметным событием литературной жизни. Твардовского-поэта еще недавно пытались отделить от журнала, считая его направление делом рук подозрительных «соредакторов». Теперь он поднимал забрало и сам вступал в поединок. Для нашего дрейфующего во льдах журнального судна это означало одно — выход в новую акваторию свирепых ураганов и штормов.

ЭПИГРАФ В КОНЦЕ КНИГИ
(Вместо заключения)

Итак, миновали первые два с половиной года моей работы в «Новом мире», и столько рядом прошло лиц, случилось событий, перемен! Столько разочарований, обольщений, надежд, иллюзий — тома рукописей, горы типографских версток, тысячи читательских писем... А впереди было еще пять долгих, быстролетных, счастливых, мучительных лет рядом с Твардовским и его товарищами. О них я еще должен буду рассказать, отряхнув пыль с тетрадок 1965—1970 годов. То были годы, общий фон которых можно было бы передать двумя словами: от оттепели к заморозкам.

Вспоминая о том времени, я твержу про себя одно стихотворение Твардовского:

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участья добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,—
Взялся за гуж — не говори: не дюж.

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

Обычно книгу начинают эпиграфом. Пусть эти строки, наперекор традиции, будут венчать ее.

30. XII. 1964

Сегодня А. Т. принес в редакцию пришедшие ему по почте стихи некоего Р. и пытался уверить, что это хорошо. Я с ним не согласился.

Получили статью Твардовского с машинки и возились, вычитывая и поправляя ее, до восьми вечера. «Небось знай, как мы сейчас сидим работаем, т а м сказали бы: „Что-то злоумышляют. Неспроста этот энтузиазм". Ведь в „Октябре" давно все огни погасили и разошлись по домам».

Твардовский вспомнил рассказ Маршака. Тот как-то сказал П. Н. Поспелову: «Так как Авель был убит и не оставил потомства, все мы, по-видимому, от Каина...» «Этот вопрос наукой еще не выяснен»,— пробурчал в ответ Поспелов.

Завтра Новый год. Что-то он принесет нам?

На Твардовского большое впечатление произвел чей-то рассказ об остроумной эпитафии Черчилля на уход Хрущева: «Он хотел перепрыгнуть пропасть в два приема».

Времена Хрущева кончились, а нашей новомировской ладье — плыть дальше...

СОДЕРЖАНИЕ

Лакшин В. Я.

Л248 «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и попутное (1953—1964).— М.: Кн. палата, 1991.— 269 с.— (Дневники. Мемуары. Свидетельства).
ISBN 5-7000-0201-9

Дневниковые записи доктора филологических наук В. Я. Лакшина, сделанные им в годы работы в редакции журнала «Новый мир», в годы тесного сотрудничества с А. Т. Твардовским, помогут читателям лучше понять обстановку тех лет в стране и, в частности, в сфере духовной жизни, в литературе.

Л $\frac{4702010201\text{-}013}{008(01)\text{-}91}$ — Без объявл. **ББК 84.Р7**

Литературно-художественное издание

Популярная библиотека

Дневники. Мемуары. Свидетельства

Лакшин Владимир Яковлевич

«НОВЫЙ МИР» ВО ВРЕМЕНА ХРУЩЕВА

Дневник и попутное (1953—1964)

В книге использованы фото
А. Конькова, Н. Кочнева, В. Мастюкова,
А. Устинова, Е. Рейна

Зав. редакцией Н. В. Ганиковская
Редактор И. М. Анисимова
Художественный редактор О. В. Романова
Технический редактор Т. И. Шеленкова
Корректор Л. В. Назарова

Сдано в набор 28.08.90. Подписано в печать 5.02.91. Формат 60 × 90/16. Бумага тип. № 2, 60 г. Гарнитура Т/Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,0 + 1,0. Усл. кр.-отт. 17,76 + 1,0. Уч.-изд. л. 18,95 + 0,75. Тираж 50 000 экз. Изд. № 301. Заказ № 1161. Цена 3 р.

Издательство «Книжная палата». 103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
103473 Москва, Краснопролетарская, 16.

Издательство «КНИЖНАЯ ПАЛАТА»

«ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА»-91

Нина Берберова

Железная женщина

Нина Берберова

Люди и ложи

Осип Мандельштам

Тридцатые годы
Стихи. Проза. Письма

Николай Нароков

Мнимые величины
Пятый угол

Сборник современной прозы
Анатолий Рыбаков

Страх

Эфраим Севела

Остановите самолет — я слезу!
Зуб мудрости

Детектив-4

Агата Кристи

Мышеловка

Сборник

Фантастика-4

Билл, герой Галактики

Сборник американской фантастики

«ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА»-90

Александр Солженицын

В круге первом

Александр Солженицын

Не стоит село без праведника

Сборник

Юрий Домбровский

Хранитель древности.
Факультет ненужных вещей

Федор Шаляпин

Страницы моей жизни

Виктор Некрасов

Маленькая печальная повесть

Сборник

Свидетельство Бориса Ямпольского

Сборник

Юлий Ким

Творческий вечер

Сборник

Владимир Войнович

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина

Григорий Медведев

Ядерный загар

Сборник

Фантастика-3

Станислав Лем

Сборник

Детектив-3

Большой налет

Сборник

В 1989—1990 годах вышли в свет книги В. Лакшина:

ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ. Воспоминания и портреты. М.: Московский рабочий, 1989. 448 с.

ПУТИ ЖУРНАЛЬНЫЕ. Из литературной полемики 60-х годов. М.: Советский писатель, 1990. 432 с.

ЗАКОН ПАЛАТЫ. Повесть. М.: Детская литература, 1990. 192 с.

Готовится к печати:

СУДЬБЫ: ОТ ПУШКИНА ДО БЛОКА. Телевизионные опыты. М.: Искусство, 1990.

3 р.

Владимир ЛАКШИН



Владимир Яковлевич Лакшин родился в Москве в 1933 году. В 1955 году окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова и позже аспирантуру по кафедре русской литературы. Три года преподавал в МГУ.

Первую рецензию В. Лакшин напечатал будучи студентом. С 1958 года начал печататься постоянно. До 1970 года работал в редакции журнала «Новый мир», застав и лучшие творческие годы журнала, когда его главным редактором был А. Т. Твардовский, и время цензурных преследований, травли в печати. Это нашло свое отражение в дневниковых записях, в размышлениях автора, в отрывках из публикаций тех лет, в свидетельствах и документах.

В. Я. Лакшин — автор книги «Толстой и Чехов» (1963), «Островский» (1975), «Биография книги» (1979), «Вторая встреча» (1984) и др., статей по советской, русской и зарубежной классической литературе. Книги и статьи Лакшина переводились на многие языки. В 1978—1986 годах по сценариям Лакшина и с его участием как ведущего Центрального телевидения демонстрировались фильмы о русских писателях-классиках, как, например, «Путешествие к Чехову».

В. Я. Лакшин — доктор филологических наук (1982), член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1989).